

1999

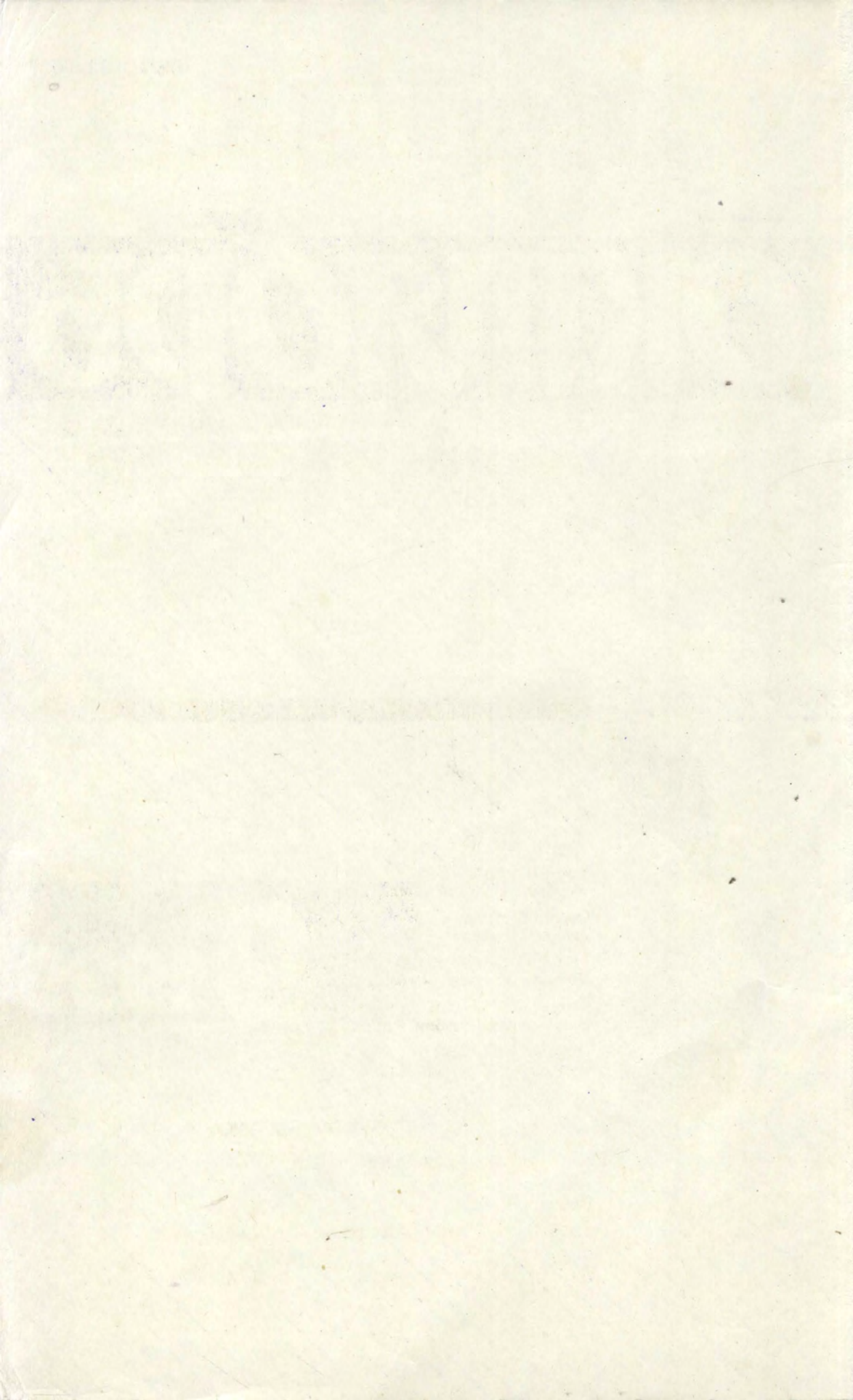
9

Октябрь

Октябрь

9 1999





# ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

9

1999

СЕНТЯБРЬ

В Н О М Е Р Е:

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Анатолий НАЙМАН. <b>Неприятный человек.</b> Роман Фрагмент Романа ..	<b>3</b>
Виталий ПУХАНОВ. <b>Мерцает, высится изъян...</b> Стихи .....	<b>68</b>
Сергей ЮРСКИЙ. <b>Западный экспресс.</b> Окончание .....	<b>72</b>
Татьяна РИЗДВЕНКО. <b>Ночь выныривает в утро...</b> Стихи .....	<b>98</b>
Леонид КОСТЮКОВ. <b>О счастливой любви.</b> Рассказ .....	<b>101</b>
Григорий ПЕТРОВ. <b>Родословное древо.</b> Рассказы .....	<b>112</b>

## ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

<i>Северное измерение</i> Константин КРАВЦОВ. <b>Цвет мерзлоты</b> .....	<b>134</b>
<i>Переписка по Цельсию и Фаренгейту</i> Андрей ГРИЦМАН. <b>Симпозион, или Пир искусств.</b> Русские художники в Париже .....	<b>142</b>

Георгий ФЕРЕ.	146
Гранд-опера ориенталь советик .....	146
<b>Год как век</b>	154
Рубрику ведет Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ .....	154

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ.	158
Педагогическое путешествие .....	158
Н. И. АЗАРОВА.	177
Пушкинский роман Льва Толстого .....	177
<b>В стиле реплики</b>	
Олег ПАВЛОВ.	187
О бедной «Nomenclatur'e» замолвите слово .....	187
<b>Мелочи жизни</b>	
Павел БАСИНСКИЙ.	189
Победители и побежденные .....	189
<b>В несколько строк</b>	
Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ .....	191

**Главный редактор**  
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

### Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

### Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Василь Быков, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Анатолий Курчаткин, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Олег Павлов, Людмила Сараскина, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин.

**Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3500 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.  
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.  
Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 1999. Электронная версия журнала [www.infoart.ru/magazine/October](http://www.infoart.ru/magazine/October)  
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.  
Редакция не имеет возможности рецензировать рукописи и возвращать их по почте.  
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».  
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Т. С. Трошина.

Сдано в набор 27.07.99. Подписано к печати 19.08.99. Формат 70x108<sup>1/16</sup>.  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.  
Тираж 8300 экз. Заказ № 1765. Цена 24 руб.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».  
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Анатолий НАЙМАН

---

## Неприятный человек

РОМАН ФРАГМЕНТ РОМАНА

Э то я; неприятный человек — это я. Сразу предупреждаю: ничего общего с Достоевским. Уж скорее с Толстым. А в целом — ни с кем ничего общего. Потому, собственно говоря, и неприятный.

Мне жить — нравится, а жизнь — нет. Ни вообще, как она сложилась, ни собственная, как она складывается. Человек, который всю жизнь твердит: «Мне жить — нравится, а жизнь — нет, ни вообще, ни собственная», — неприятный человек. Это мало кому по вкусу, когда говорят, что жизнь не та и не то и не так. И хорошо бы только это — всегда можно сказать: а ты-то кто? Ты-то больно хорош! Ничего собой не представляет, ничего не умеет, ничего-никого не любит, ничтожество, небось, и пустышка — понятное дело, что и вся жизнь не по нем. Но когда он *сам* признается, что всё, действительно, так: не представляет, не умеет, не любит — и при этом, а лучше сказать, после этого, прибавляет, что ему и жизнь-вообще, *вся* жизнь не нравится, то есть, согласившись, что да, он пустышка и ничтожество, по сути заявляет, что и вся жизнь — такая же, как его, что, иначе говоря, *все*, получается, такие же пустышки и ничтожества, то это *очень* неприятный человек. И, оглядываясь назад, я вижу, что гораздо чаще я бывал людям неприятен, нежели приятен. И чем дальше, тем больше людей заранее, до первых моих слов или действий, смотрели на меня как на неприятного человека — как будто я был отмечен, наподобие альбиноса: возможно, репутация впереди меня шла, а возможно, чутье им подсказывало. И я, как правило, это их представление о себе подтверждал: справедливо они так на меня смотрели.

Я сам — фигура неизвестная, переводчик информационных текстов, имени у меня нет, но еще в молодости меня описал один писатель. Описал под вымышленным именем, а только надо знать Ленинград: кто хоть краем уха слышал о писателе или обо мне, не говоря уж — были с одним из нас знакомы, — все знали, что это я. Он написал, что я — человек в туннеле, и рассказ назвал — «Человек из туннеля», рассказ был нашумевший, писатель заметный, и получил известность я как тип. Дескать, всё, что здесь и сейчас, — то мрак, мокреть и сквозняк, где-то сзади, где был вход в трубу, — точка света, где-то впереди — то ли такая же, то ли мерещится, а жизнь, деваться некуда, — вынужденное продвижение оттуда — туда, на ощупь, съезжившись и чихая. Ну и герой там кого-то в этом туннеле встречает, «на ощупь, съезжившись и чихая», сходится, расходится, и никто и ничто его не радует — ни одна минута.

Такой прямолинейный символизм, весь рассказ — посредственный, да еще и советский, прочитывался он и так, что в то время, как *мы*, народ, нормальные люди, жизни радуемся, он залезает в черную тесную трубу и даже, может быть, *предпочитает* залезть туда, где почернее, потеснее, подальше от нашей жизни. Однако вдруг дребедень эта прихлалась ко двору также и либералам, и весьма — как знаете, бывает: падает прожектор именно на такую дребедень, а не на такую

же из тысячи других, и все начинают что-то в ней видеть — раз сноп света *ее* выхватил. Раз выхватил — значит, не дребедень. Прочли так, что туннель — это внутренняя эмиграция, куда *мы*, другие, вот такие, как *он*, стоящие особняком и независимые, скрываемся и находим в себе силы брести во мраке, мокрети и сквозняке.

Строго говоря, он, может, и не про меня написал. Мы с ним были знакомы, на «ты», однако никак не сказать, что близки. Он был то, что называется умный, но — один из умных. Он понимал скрытый механизм многих вещей, толково о них говорил, понимал и говорил умнее других, но вещи были те же, что занимали других. *Своих, единственных* у него не было. Как умный человек, он умел занять позицию «и вашим, и нашим» — как вот, в рассказе. Так я о нем думал. Что *он* обо мне думал, не знаю — вполне возможно, то, что написал про туннель. Если так, то, по-моему, оба мы правы. К тому времени, как он это опубликовал, в газете напечатали фельетон про одного моего приятеля, после чего ни у кого уже не было сомнений, что тот Жан Вальжан из метафорической клоаки — я. Приятель принимал участие, я тогда этого и не знал, в подпольной «Хронике текущих событий». А заодно вел дневник, личный, кто что сказал и что он по этому поводу думает. У него сделали обыск и кое-какими дневниковыми записями воспользовались для фельетона. Одна запись была, что для меня — и дальше мое имя — ну пусть будет, положим, Даниил, — что для Даниила Такого-то современность — туннель и так далее. Фельетон назывался «Хроника текущей клеветы», и меня туда вставили, чтобы показать, каким сбродом мой приятель себя окружил. Вполне вероятно, что записал он это, уже прочитав рассказ, а может, я и в самом деле что-то в этом роде бормотал, так или иначе — вот он я. Проходит сто лет, приятель эмигрирует, становится большим профессором в маленьком американском колледже и публикует книжку мемуаров. Отрывки читают по «Свободе», в частности, про Даниила Такого-то, поминается в этой связи рассказ известного писателя, наделавший кое-какого шума в середине 60-х годов, и ко мне приходит «вторая слава»: это вы? — это я. В издательстве словарей, где служил; в беседе, где пенсию оформлял; в подъезде.

Прекрасно отдаю себе отчет, что уже то, как я говорю об этом писателе, «один из», «дребедень» и прочее, и о своем приятеле, «большой в маленьком» и прочее, сам тон — не без пренебрежительности, сама скорость тона, мол, «взгляни — и мимо» — наглядно свидетельствует, что я неприятный человек. Я ведь видел в обоих и привлекательные стороны, в первом — личное обаяние и талант, да тот же и ум, во втором — личное мужество и отзывчивость — и ими мог бы уравновесить, если не перевесить то, что выбрал об них сказать. Человек не неприятный знает, как это делать, он даже и позволяет себе начать, как я, специально для того, чтобы подвести к какому-нибудь событию, к какой-нибудь произнесенной ими фразе, эпизоду из их жизни, которые перевернут представление, составленное о них вначале с его же слов. Про писателя это могло бы быть, например, как он на дне рождения этого моего приятеля полвечера проносил в кресле его жену, вскинув кресло с ней на плечо и придерживая рукой, как корзину с виноградом, а еще лучше с цветами, и разговаривая со всеми, как будто ничего особенного, вообще ничего, никакой тяжести, в высшей степени естественно таскать справа над собой миловидную, поджавшую под себя ноги, хохочущую женщину, как, скажем, цилиндр на отлете перед тем, как его напялить на голову, эплет или бабочку. А могло бы быть про то, как в его романе герой, тоже, кстати сказать, неприятный человек, исключительно неприятный — если попросту, гад, которого все терпеть не могут, затевает коммерческую аферу, сталкивается с полу- и с прямыми уголовниками, получает нож под вздох и трое суток умирает в больнице, а все продолжают его ненавидеть, говоря, что это разыгранный спектакль, царापина, как миленький через три дня

выйдет, и самые последние еще убеждают в этом встреченного на улице знакомого, не зная, что он только что с его похорон. Стая псов, сказал писатель в интервью, продолжает висеть на кабане, когда он уже напоролся на рогатину. Про приятеля же моего можно вспомнить, как его на улице несколько раз избивали дружинники, как угрожали по телефону, перерезали телефон и как в Америке он организовал фонд помощи эмигрирующим диссидентам, небольшой, но многих в критическую минуту поддержавший.

Начать с того, что это прием накатанный, его нам навязала литература Просвещения, русская — в особенности. Так сказать, взгляните, люди: алкаш-алкаш, а душа золотая. Истинное-де сияние не на виду, не в царских чертогах, а под невзрачным покровом, где и не ждешь — например, в мужике, в Каратаеве, в Марее. Но с какой же стати! Может, в Каратаеве, который умеет спать на голой земле, и в Марее, который заскорузлым пальцем проводит мальчику по губам, — сама природа, да пусть даже и самое жизнь. Однако природа как в свое время распустится и разрастется над жизнью, над ее уродством столь же инстинктивно, что и над красотой, так в свое время и облетит и обнажит уродство еще более отталкивающее, красоту еще более мимолетно, и жизнь останется при своих. И где же тут *истинное* сияние? С сиянием — ладно, Бог с ним. Но ради чего-либо истинного, если уж по нему тоска, скорее имеет смысл обращаться не к простецам, выводимым на публику и объявляемым таковыми кем-то, у кого эта тоска, а к самим тоскующим. К, например, самим Достоевскому и Толстому — которые, не удержусь прибавить, были, как известно, один — человек тоже неприятный, а второй — хоть и бешеного, судя по всему, обаяния, но никак не сказать, что из *приятных*.

Оговорюсь, что пока эти простые натуры в руках Толстого и Достоевского, они действительно — Каратаев и Марей, бесспорные, настоящие и, возможно, в самом деле, с истинным сиянием внутри, но едва о них заговаривает кто-то, а это почему-то всегда тот не-неприятный человек, который умеет так объективно вывернуть картинку наизнанку и перебить впечатление нелепое лестным, — в ту же минуту оба норовят стать иконой. Становятся, однако, плакатом, в тоне говорящего появляется неуловимый сюсюк, в словах неуловимый дребезг, в воздухе начинают мерцать неуловимая фальшь и лицемерие. Потому, думаю, что если отбросить «пальцем по губам» — чего я, к слову, не большой любитель, — то останется «добро», а добро — норма. Если кто-то на улице споткнулся и растянулся, подаешь руку автоматически, а вот если стоишь и хочешь, и, только тот приподнимется, сбиваешь с ног, тогда и возникают мучительный интерес, и обжигающее чувство, и неотступный вопрос, что же ты за *ненормальный*.

Но суть конкретно *моего* возражения против такой игры с зеркалами, когда в первом дают отразиться глупо открытому рту, кривому прикусу и мрачной ухмылке, с тем чтобы под выгодным углом к этому только эффектной сыграло во втором изображение с мужественной осанкой, гордо поднятой головой и острым прищуром, заключается в несогласии ограничить число зеркал двумя или тремя, в общем, любым  $n$ , а не  $n+1$ . К примеру, кресло с женой моего приятеля в дальнейшем отразилось как минимум еще три раза: в его сочинениях и в его и моего приятеля судьбах. Герой одного его рассказа — рабочий парень, широкий и открытый, но также гуляка и буян — волею обстоятельств попадает в интеллигентскую компанию, где чувствует себя неуютно и, отчасти чтобы избавиться от неловкости, отчасти из удалого задора и внутренней свободы, взваливает на плечо кресло с сидящей в нем хозяйкой. Рассказ вышел в журнале через полгода после того дня рождения, так что нельзя сказать определенно, была ли та вечеринка толчком или экспериментальной проверкой появившегося или даже уже записанного замысла.

На том сборище жена приятеля, нахохотавшись, вдруг разрыдалась, но за ней вообще числилась небольшая истеричность. Подруги увели ее в другую комнату, там отпоили и отогрели, она вышла к гостям и снова села в кресло, только прежде отставила его в угол, забралась с ногами и так до самого конца просидела. В шали, прихлебывая из стакана коньяк и бросая пронзительные больные взгляды попеременно на писателя и на мужа. Муж делал вид, что ему хоть бы что, что такие эпизоды а-ля Скотт Фицджеральд — в природе их семейной жизни, хотя все знали, что жену, которую отбил у физика-атомщика, восходящей звезды, выездного, уже лауреата и так далее, с душераздирающим всех сторон, дракой и резанием вен, он боготворит, раболепствует перед ней, готов стоять, и иногда от нежности становится на колени, а она не только, как ожидалось бы, не вьет из него веревки, не ездит верхом, но ответно обожает его и за редкие нервные припадки вроде случившегося потом долго просит прощения. Но тут он к ней даже не подошел, зато подсел к девице в длинном тяжелом свитере и колготках, обыкновенных прозрачных колготках, начинавшихся там, где кончался свитер, стриженной под мальчика, тоже, как впоследствии выяснилось, правозащитнице, и они час и два о чем-то серьезно шептались.

Писатель несколько раз присаживался у кресла, в котором сидела жена, на корточки, шутил, и кто слышал, смеялись, но та смотрела мимо, только мгновениями вдруг взглядывая на него с испугом и тоской. Неожиданно муж пошел провожать девицу домой. Мы, как по команде, все стали собираться, писатель накинул наподобие крылатки на плечи плащ, шарф, пересек широкими шагами комнату, наклонился и сильно поцеловал жену приятеля в губы. История — никакая: театральная, выдуманная, чтобы разыграть роли, где-то виденные или вычитанные. *Была бы* никакая, если бы не продолжение — тоже, впрочем, не Бог весть какое. Через двадцать лет я сидел у приятеля и его жены дома в штате Пенсильвания, в лесном, величиной с наше село городишке при университетском кампусе. Днем приехал автобусом, прочел лекцию, в которой главное было — что про Россию и что по-английски: приятель, естественно, и устроил, триста долларов, «Гласность и безгласность», феноменологический подход. Пока ехали в машине от колледжа до дома, четыре минуты, он объяснил мне обстановку: у жены «проблема», пьет, с самого приезда сюда; и на втором этаже у них живет его аспирантка, снимает, и это тоже проблема, уже его, потому что — *сам понимаешь*. Впрочем, и первая, сказал он с кривой усмешкой, не ее, а тоже его — *она* сосет свое виски без проблем.

Что пьет, я бы догадался без предупреждения, и еще прежде шикарного ужина с лобстерами, который он собственноручно приготовил. Издали, когда мы подъезжали, а она ждала нас на крыльце, перемен не было заметно вообще никаких: такая же стройная, легкая, в чем-то просторном элегантно. В темных очках — хотя день был серый. Вблизи за темными очками проглянули тяжелые веки, равнодушные глаза, сухое, с тысячью словно бы татуированных морщинок и несколькими неуследимо где именно пролегающими трещинами, лицо, и вся она выглядела подсохшей и больше худой, чем стройной, больше задекорированной, чем элегантно. Мы обнялись, она спросила, что я буду пить, и, еще не дав ответить, сказала механическим голосом себе самой: «Я — бурбон». Втиснулась в угол дивана, подобрала под себя ноги, взяла со столика уже налитый стакан, стала потягивать, улыбаясь.

К ужину спустилась по лестнице аспирантка, хорошенькая, молоденькая, веселая, поцеловала ее, помогла подняться, подхватила, когда та пошатнулась. За столом говорили о гласности, хозяин, чуть выпили, начал, и все, как гуси: га-га-га — чем дальше, тем громче. Аспирантка пошутила: «Ви хэв тэйкн э *гласность* ту мач» — то есть перебрали мы — что с гласностью, что с *гласс*, выпивкой. Неожиданно жена проговорила резко: «Вы забываетесь, милочка! Если я



пью, это выстрадано — так же как гласность: им,— она показала на меня,— мной и вашим...» — она перевела взгляд на мужа. «...профессором»,— закончил он.— «...профессором или кем еще. Гласность не предмет для каламбуров». Ни аспирантка, ни он, ни, самое главное, она при этом не придали сцене значения ссоры, как будто просто пикировались привычно, а конфликта никакого нет. После ужина, за которым не стала пьяней, чем была, она опять спросила — в роли предупредительной хозяйки — чего мне налить на десерт, и опять сразу произнесла бесконтрольно: «Мне бурбон».

Профессор ушел в кабинет — «приготовиться к завтраму», как он сострил, имея в виду завалиться спать, аспирантка поднялась к себе, мы с бутылками перешли на веранду, и она понесла многочасовую изматывающую околесицу, посреди которой мне разрешалось задремывать и из которой вдруг проступали — то ли на границе ее опьянения и минутного протрезвления, то ли моего сна и пробуждения — островки чего-то разумного и узнаваемого. Там было, что аспирантка — его любовница, а первой любовницей стала диссидентка с того дня рождения; что он не просто невыносимо страдал и страдает, а стал мертвец, потому что крах всего, чем единственно он дорожил, сильнее страдания, но сейчас уже успел выработаться механизм привычки, делающий для него существование приемлемым. Для нее это был ее конец как имеющей судьбу и имя личности — и вот тут я не понял: она говорила путано, хотя ей-то картина, я видел, была совсем ясна. «Он пошел прожогать — ужасно, но когда тебя носят!.. Вернулся утром, но не в этом суть. Если поднимают на плечи и носят, то ты уже, всё, упала, и за это должна тоже носить, никуда не денешься. *Если честно*».

Утром приятель отвез меня в автобус, я сразу заснул, проснулся, когда въехали в Линкольнский туннель, и тут за несколько считанных: раз, два, три — секунд накатила с ревом туннеля и охватила меня, втянула меня в себя картина двадцатилетней давности — отражение той, у меня не было ни вот такого сомнения, которая стояла перед ней минувшей ночью. Я шел по Кировскому, из больницы — умирала старуха, мамина подруга, я знал ее с детства. Солнечный прохладный сентябрьский день. Она была француженка, учила меня языку, еще до войны, на пальцах, потому что русского не знала. Я должен был называть ее «мадмуазель» — казавшуюся мне толстой и старой уже тогда. Ее сажали в тридцать седьмом, но выпустили под пересменку Ежов-Берия. Посадили как следует уже с началом войны, вышла при Хрущеве, *со всеми*, ровно пятнадцать лет. Умирала от рака, который называла «врак». Перешел Скороходова, и из аптеки вышли писатель с женой.

Она была вся большая: большая спина, титьки, ноги, зычный голос, ходила в мужских ботинках, играла бой-бабу — выходило под мужика. Выглядела всегда свежей, физически чистой, только что из-под душа, никакой краски, светлые глаза — притягательная, должен сознаться, особа. «Покупали презервативы,— сказала она мне: мы были едва знакомы.— На всякий случай. Крепкие, как галоши. Ты куда идешь? Мы просто погулять вышли, давай тебя проводим». С первых шагов стала упражняться на ту же тему, все время чуть-чуть напоказ. «Третьего дня была в гостях у подруги, дочка посла, огромная квартира — и во всех комнатах лежат на тахте, на кушетке и курят роскошные югославы. Ленивые, молчаливые — как барсы. Осталась ночевать...» Писатель двусмысленно улыбался... «Наш ответ Чемберлену, — сказала она.— Потому что мой Казанова,— она хлопнула писателя по спине,— до того квалифицировался, что при мне звонил бабе, которую таскал на себе на какой-то пьянке... (Писатель вставил: он там был.) ... и сказал ей, чтобы она вдумалась в это таскание, что раз она на это согласилась, он имеет в виду — раз ей это было приятно, то если быть честной, не естественно ли довести дело до конца, придать необходимую и напрашивающуюся завершенность. Разумеется, это таскание ничего не стоит — хотя у него

и ссадина на плече, — но если перед собой не лукавить... Любишь кататься, люби и саночки. Тем более что в Москве есть один известный скульптор, про которого все знают, что цель любого романа для него — женщину поднять и ничего другого. И попросил, подлец, меня уйти на вечер из дому».

Помню, я подумал: что-то у них не в порядке, и как следует не в порядке — если дошли до групповых сеансов с использованием меня. Но что меня использовали, разозлило меня до крайности, разъярило, и я, отпустив скороговоркой «будьте здоровы», перешел проспект. Он засмеялся, она захохотала громко. Мадмуазель, когда я уходил, сказала: «Нет, в неважную странишку нас угораздило — во Франции цветы, Париж, клубника круглый год». Фраза, когда я с ними столкнулся, траурно пела во мне и сейчас опять сразу всплыла. Со всеми ее грассированными «эр» и виолончельными «эн». Не из-за него и не из-за нее, и не из-за них вместе странишка была неважная, но из-за них я понял поглубже, что старуха имела в виду.

И в туннеле на подъезде к Порт-Оторити понял, что имела в виду жена моего приятеля — большого профессора в маленьком университете, и каково ей было, и каково с тех пор, и даже отчасти, что она за человек. Может, не *понял*, может, надумал. Может, ничего тот дурацкий день рождения для нее не значил и сошлась бы она с писателем и спивалась бы, потому что истеричка и пьяница. Но раз есть сама *возможность* так надумать, то *для меня* — какая разница, осуществилась она в *действительности* или нет? Для меня — и тем самым для писателя. Истеричность истеричностью, но ведь вполне вероятно, что истеричность тут ни при чем: писатель был ей не друг-приятель со школьных времен, с которым в одной раздевалке на уроке физкультуры переодевались и который прежде уже сто раз тебя поднимал, и носил, и пихал, и, когда через турникет в метро проходил, то, чтобы не платить пятак, к спине животом вплотную прижимался. Ни в малой степени не друг, и если такому человеку, про которого к тому же известно, что он соблазнитель, разрешаешь все это проделать, с «хоп» в момент взваливания, с коротким подкидываньем для удобства, с двух — пяти — двенадцатиминутным проаживанием по комнате, уже, стало быть, вдвоем, *заедино*, — то, действительно, *если по-честному*, «всё, упала, и за это должна носить, никуда не денешься». Ну-ка, представьте-ка, что такое случается в той же комнате, в том же кресле, при таком же собрании людей, но на каких-нибудь семьдесят — восемьдесят лет раньше, — что оно значит и что потом следует? А какая в этом случае разница, если, предположим, жена приятеля по душевному складу была такая же, как ее бабушка, когда та была девушкой, а не как правозащитница или аспирантка, и подобное поведение значило *уже* падение, после которого падение окончательное существа дела не меняло. Так и так бесчестие, но *так* — хотя бы честно.

Чересчур много рассуждений. Не над чем рассуждать, мимолетный эпизод, а не получается с него слезть. Как будто он объясняет что-то другое, случившееся уже со мной... Словом, ко второму, «хорошему», отражению, на котором люди не неприятные и останавливаются, всегда можно подставить третье зеркало, в котором образ — опять наизнанку и не такой уж славный, и чтоб не ставить к третьему четвертого, не *прянее* и не *храбрее* ли тогда обойтись первым? Конечно, нечего говорить: я и приятеля, и писателя по первому, да и по второму и по третьему изображению определил поверхностно. Подпишусь хоть кровью под кафкинский несогласием с тем, чтобы лица проходных персонажей были видны, как пятна в иллюминаторах отплывающего Ноева ковчега. Но мы живем в толпе. Я встретил на улице трех подростков, детей друга, и в первый миг не мог понять, почему их так много, потом сообразил, что на них футболки с физиономиями любимой рок-группы, по пять на каждом, в общей сложности восемнадцать человек. Я включаю телевизор — и сразу опять нас те же, на глаз,

восемнадцать. Или сосед сверху — радио: и там не меньше восемнадцати. Мы реагируем не на человека, а на реакцию на него публики. Если бы про приятеля не говорили, а главное, он сам не давал о себе говорить как о борце за права человека и филантропе; если бы писатель писал и печатал своего «Человека из туннеля» и роман об интеллигентном аферисте и его не объявляли Сведенборгом и Свифтом в одном лице, а «Человека» и роман — откровением и новым словом, я бы реагировал на них, как они есть, вглядывался, может быть, более вдумчиво, отзывался более взвешенно, хотя, вероятно, и более скучно.

А так мне, чтобы увидеть их и обдумать, приходится проделать более или менее бессознательную операцию: сперва отделить от публики и поместить в другую среду, где гири верней и цены адекватней и тем самым уважительней к тому, что ложится на весы, а именно, в *человечество* — то есть видеть не столько их, думать не столько о них, сколько об их месте в человечестве. И тогда приятель оказывается в ряду не с теми, кто подписал письмо в чью-то защиту и прикнул к хельсинкской группе, а потом получил под этот статус беженца и сносное место на русском радио, а с Буковским и Амальриком, которые оттянули по нескольку сроков, и Габаем, который выбросился из окна, и Сахаровым. С Гарибальди и Шенье. А писатель — не с современниками, писавшими кто похуже, кто так же, как он, а с теми, кто кончали писать, как раз когда он родился, и никто не мешал ему состязаться с ними, как они с Чеховым и Блоком или как следующие — с этими, кто с Чеховым и Блоком.

Я не совсем со стороны говорю, я тогда тоже начинал, в одно время с ним — писать начинал, и лет десять продолжал. Я писал отдельный абзац, одну фразу, отдельную страницу. Можно это называть — стихи в прозе, тем более что иногда, правда, редко-редко, это и было стихотворение. В моем понимании, это была книга, роман не роман, однако цельная вещь. Я тогда еще не прочел у Вирджинии Вульф, но это то, что она говорила о прозе без груза деталей. Не навьюченной фактами, способной подняться над землей — не как стрела, а плавными кругами. В то же время привязанной ко всему, чем в повседневной жизни забавляется человеческая натура или чего не переносит. О прозе, передающей отношение ума к общепринятым идеям, его разговор в одиночестве с самим собой, передающей больше очертание, а не черты. Иначе говоря, подозрительно напоминающей поэзию. Я бросил писать, потому что, во-первых, все написал, две, как я это воспринимал, вещи, страниц по полтора, и жанр — как естественный мне жанр — себя изжил, а новый не напрашивался. Во-вторых, вдруг потоком пошли миниатюры, этюды, «крохотки», особенно в самиздате, и хочешь не хочешь мое писание теперь сопоставилось бы и с ними — с моей-то, высокомерной, точки зрения, как дробь и бисер — а я не хотел. Может, напечатай я это сразу, протолкни, как пробку в горлышко, какое-нибудь и поднялось бы новое желание письма, а с ним и замысел и манера. Но напечатать тогда можно было в лучшем случае «Человека из туннеля», а сейчас — не к месту и не ко времени, другие моды, и даже нет такого отдела в обществе «Мемориал», где бы попросить компенсацию за моральный ущерб.

Хотя это предположения пустые — как и объяснения, что, возможно, я перестал писать еще и потому, что считал, что к нашему поколению особые требования из-за особого его среди прочих родившихся в нашем столетии положения. Не «шестидесятничество» — потому что это дешевая концепция журналистов, и не «послесталинское» — потому что это значит не больше, а меньше, чем послереволюционное, или большого террора, или военное. Исключительность нашего была в том, что, кроме творчества, отпущенного на поколение как на всякое другое, нас догнал творческий заряд, выпущенный в никуда в 30-х и с тех пор никому не понадобившийся. Я хочу сказать, что, кроме сверстников, кроме, скажем, в литературе всего списка шестидесятников и среди них вот этого само-

го писателя, и Бродского Иосифа, и Венедикта Ерофеева, и Высоцкого, и всего списка поэтов во главе, пусть, с Евтушенко, и тех, кто в список не входит, нашему поколению даром достались Мандельштам и Цветаева, Хармс и Введенский, и Ходасевич, и Набоков — не «из неопубликованного и забытого», а только что открывшиеся — как еще одни сверстники.

Я был знаком с Пастернаком и был знаком с Ахматовой. Специально ездил знакомиться. Я никому об этом не говорил, потому что немедленно сказали бы насчет «великих и знаменитых» и насчет «лезет». Вернее, такие фразы сами выговариваются, автоматически. Я это слышал и про Наймана, и про Бобышева, и про Бродского — в связи с Ахматовой. И про Ивинскую, и про разных московских людей — пастернаковских. Я даже расписался в ахматовском дневнике, у нее была такая толстая книжка под обложкой «Тысяча и одна ночь», но с белыми страницами, и она попросила меня записать там мое имя. Мое имя, между прочим, действительно Даниил, а не «пусть будет Даниил», как я из себя выдавал, когда вспоминал про фельетон «Хроника текущей клеветы». А фамилия, я решил, когда прочел тогда свою собственную фамилию в газете, прописанную всеми буквами, пусть будет Такой-то. Не могли, подумал, обойтись инициалом, так хоть бы отделались Таким-то — и тут же сказал себе, что если когда-нибудь что-то напечатаю, то под этим псевдонимом, не то чех, не то японец. И ею в «Тысяче и одной ночи» подписался. Ахматова взглянула, захлопнула книгу и ничего не спросила.

А пошел я к ней и к Пастернаку именно потому, что они были «великие» — хотелось мне ощутить, что это такое. Что-то и ощутил. Я приехал в Комарово электричкой и в Переделкино электричкой, пришел и постучался в дверь. Как найти Ахматову, спросил у Наймана, он с ней, как сказал один мальчик, у которого была коллекция джаза и я зааживал к нему послушать, «покорешился» больше остальных: что-то на пару с ней переводил, что-то редактировал. Это как раз и было не по мне. Я им всем отдавал должное, но *величины* не чувствовал. Я их всех мельком знал, отдаленно: они были «поэты», я «технар», так и держался, а что я писал, ни в каком их участии, ни в просмотре, ни в оценке не нуждалось. То, что они могли ей позвонить, пить с ней чай и коньяк, говорить о ней «Анна Андреевна», разрушало во мне чувство гармонии, а правду сказать, так и разоряло самое гармонично, как, положим, не в обиду им и ей будь сказано, ласточки в одной компании со страусом. Из их Анны Андреевны, чая и коньяка получалась старая дама, их знакомая старая дама, а не Ахматова. Найман сказал: хочешь приведу тебя? Да нет, сам найду дорогу. Как пройти к Пастернаку, мне в Переделкине объяснили уже на платформе.

Что я и у той, и у другого ощутил «великого», было не столько величие, сколько то, что они явственно не подлежали измерению нашим масштабам. Они не избегали «мелкого», но оно всегда было лишь частью некоего *собирательного* «мелкого», которое, объединяя в себе *всю* мелочь мира, оказывалось, естественно, крупным, как любое «всё» в этом мире. Что же до «крупного» в них, то заведомая впечатляющая крупность их фактуры: внешности, поведения, манеры говорить — была наглядным проявлением самой их структуры, обиняками дающей знать, что она крупнее всех возможных для нее проявлений. В обоих была непричастность тому, чему, я инстинктивно знал и хотел, не следует быть причастным, и причастность тому, чему быть причастным можно только мечтать. И впервые я ни минуты не чувствовал, что неприятен ни ей, ни ему, просто не возникало самой этой плоскости отношений, хотя оба вскользь в похожих словах дали понять, что заметили во мне это. И там, и там — после вопроса, пишу ли я. Оба раза я ответил «нет», и она после паузы, которую при желании можно было принять за переход к новой теме, но можно и за продолжение разговора, сказала, что никто не знает, как складываются симпатии и антипатии, поче-

му одних, будь они само благородство и подлинность, не любят, а других, само лицемерие и злокачественность, обожают. Гумилев и Мандельштам, привела она пример первых — вторых не назвала. Пастернак, без всякой паузы, сказал: «Меня всю жизнь хотели носить на руках, и часто носили. Цветаеву всегда только шпыняли и физически пинали. Перед смертью призадумался, что хуже». Думаю, оба хотели ободрить меня, но главное, продемонстрировать, если не ввести меня в измерение жизни, в котором приязнь и неприязнь лишь следствия чего-то куда более значительного и необходимого. Ободрение мне было не нужно, я показал это безразличным молчанием, они и это заметили, и это, понимая и не снижая сочувствием, пропустили.

Что мешало нашему писателю примериваться — не ставя, разумеется, себе это целью, а как проходя мимо витрины и случайно ловя свое отражение — к ним? Ведь и текущая его цена, даже упав, оказалась бы тогда достойнее. И тогда не козырял бы он, точнее, когда за него другие козыряли, не помалкивал бы, что да, было дело, не выпускали его два года за границу после того, как сказал однажды в Польше в Ягеллонском университете, что Галич острый политический шансонье, а Высоцкому никак не дают заслуженного артиста республики, хотя кто, как не он, настоящий народный Союза. Могло бы ведь стыдно стать — правда? — перед... всем известно, перед кем — чего жевать.

Что во мне, действительно, малопрятно, это что я так ли, эдак ли обязательно дам ему об этом знать. Ему и не ему — любому: кого касается. Что я вот так вот думаю. Не за глаза, естественно, а в глаза. Не впрямую, естественно, что же, дескать, ты эту убогую пену про за границу и про заслуженного гонишь и других подталкиваешь гнать, когда таких! людей в пыль растирали и под асфальт закатывали, что же ты их этим унижаешь — а *неупоминанием*? Неучастием, неупоминанием, молчанием, когда о чем-нибудь таком речь заходит. Не мое, мол, дело. И что, хорошо это? Знаю не хуже всякого другого, что молчу тем самым — с осуждением, не участвую — с осуждением. А какой выбор? Сочувствовать, что ему поездку в Париж, где цветы и клубника круглый год, закрыли? Уважать его польскую смелость и ценить его прозу?

Ладно, предположим, заставлю себя сочувствовать, уважать, как говорится, *по-человечески* — потому что, в самом же деле, свинство и обида за день до отлета объявлять «вы не едете», и про Галича ведь мог уклончивей сказать, и про Высоцкого правда, и пишет лихо. Но считать-то буду по-прежнему — поскольку, кроме как по-человечески *снисходительно*, не могу не думать по-человечески *требовательно*: к себе! к себе! И если скажу: вот и думай о себе требовательно, а его оставь в покое, то в это, по причине глубочайшего моего личного плюс от праотца унаследованного несовершенства, непременно хоть сквознячком, хоть тенью, а ввинтится пренебрежение и высокомерие, и всё вместе просто и в первую очередь приведет к облегчению себе жизни — за которым стоит снижение *к себе* требований.

Ничего, ни-че-го хорошего в том, что я всем этим делюсь с кем-то, кому мои записи могут попасться на глаза, не говоря уже если их напечатают, нет. Писатель еще жив, и приятель, и его жена, и мелькающие в окнах ковчега диссидентка и аспирантка, и что в таком случае я есть, как не неприятный человек? Сказать, записывая в дневник, раз не можешь не записывать. А дневник — не то же самое? Во-первых, кто говорит: после моей смерти уничтожить все, что я написал, — не может не знать, а возможно, и не признаваясь себе самому — или признаваясь *только* себе, — рассчитывает, что все будет сохранено, возможно, даже тщательно, возможно, даже опубликовано. Конверт с надписью Блока «после моей смерти сжечь» хранится в литературном музее вместе с описью содержимого: локон Саши, брошка Любы, записка мамы и т. д. То есть даже локон, сохранение которого до конца жизни хотя бы оправдано, и тот публикует-



ся. Но я не Блок и я холостяк, и, верней всего, уйдут эти листки бумаги на свалку вместе с моими ношенными носками. Но если допустить, что за гробом всё — в сколько-то мыслимой, а в целом немислимой форме — продолжается, то какая разница, попадет это в архив или в контейнер для помоечной машины: все равно я — это — написал и я — так — думаю? А не допустить нельзя. А допустить — пусть наусловнейше — уже значит признать.

Так что, что я неприятный — плевать, но это следствие того, что я человек недовольный: собой и — через себя — не-собой, и вот с этим что делать?! И еще. Я ведь и себе неприятен. Я себе каждую минуту, с утра до ночи и когда среди ночи просыпаюсь, больше всех, кого знаю, и всех, о ком просто подумаю, неприятен. И вот с этим как жить?!

Неприятному человеку живется не сладко, я таких, даже если бы в зеркало не гляделся, за столетия навиделся с добром. Я не о профессионалах сейчас говорю, которые своей «вредностью» дорожат, торгуют и на выручку с нее себе шубу шьют. Эти среди людей приятных — что-то вроде ванной комнаты среди гостиных и спален: мы-де не диваны и буфеты, а унитаза, место каканья и писанья, и всегда будем смущать ваше великолепие и уют звуком сточной струи. Но принадлежат они квартире совершенно так же, как прочая мебель и помещения, стараются выглядеть им под стать, тяготеют к финским, к голубым, с бархатным стульчаком, к освещенным дезодорантами. Неприятный человек одинаково неприятен и им — ну хотя бы за такие сравнения. Мой однокурсник — а учился я в университете, на химическом — однажды взял меня в Дом кино: я шел мимо по Толмачева, а он вылезал из машины, говорит, пошли на просмотр «Андрея Рублева». Он был у нас комсорг, красивый парень, всегда улыбался, высокий, играл в волейбол за факультет, поступил, само собой, в аспирантуру, а оттуда — и это уже никак не само собой — на год уехал стажироваться в ЭмАй-Ти, в Бостон, в Америку. Тогда это было все равно что получить чин майора госбезопасности и прямо в мундире выйти на Невский. Вернулся аж через три года, улыбался еще легче, но по-другому, не так обаятельно. Стал старшим инструктором по науке и культуре в горкоме комсомола, однако вот, с человеческим лицом: мог такого, как я, пригласить на «Андрея Рублева» и говорил иронично про все, даже про то, что в старшем инструкторе вызывать иронию не должно, я бы сказал, *чересчур* про все.

Весь ленинградский бомонд, сияют люстры, торгуют коньяком, я его угостил, сам выпил и в приятном состоянии тела и духа погрузился в мягкое кресло, в теплоту и темноту. И, этого состояния не утратив, вышел через два, или три, или сколько там, часа из зала, под люстры и звон стеклянных бокалов и пошел прямо к столику, за которым сидел и улыбался однокурсник, а с ним и еще один, которого я помнил в лицо, но не по имени, и еще двое с филологического, которых нельзя было не знать, потому что один уже выпустил две книжки стихов, изящных, душевных, исполненных, как было помечено на контртитутле, светлой грусти, и это в такое враждебное изяществу, душевности и грусти, даже светлой, время, так что его не только полагалось знать, но и любить; а второй был просто славный малый, веселый, нахальный, болтавший на разных языках, единственный в то время по-настоящему *элегантный* тип, про него раз в год-полтора появлялись в городской газете фельетоны «Тля» и «Накись», один даже с требованием лишить его имени Феликс, нося которое он бросает тень на славную память наркома Дзержинского, и я с ним дружил. Я подошел и сказал — с умильным выражением лица и ко всем выказывая расположение, но и без притворства весело: «Ребята, а фильм-то — *того*; точнее даже — *не того*». И вдруг мой улыбающийся одноклассник, мой ироничный американец налился кровью и почти закричал: «Ты кто такой, чтобы так говорить?! Ты понимаешь разницу меж-

ду тобой и Андреем?!» — он так назвал Тарковского, Андреем, по принадлежности к общему кругу. Произнес с полуискренним, полуделанным пафосом остальные фразы, не дающие эту диссидентски им разыгрываемую карту в обиду, а я их прослушал, наклонив голову набок, и сказал смиренно — полуискренне, полуделанно: «Простите, ребята, ошибся столиком».

Вскоре мы опять столкнулись, там же, на этот раз перед просмотром «Восьми с половиной». Меня туда с собой протаскивали итальянцы, инженеры, которых я днем водил по нашему заводу. Милиция встречала уже на подходе, разве что конной не было, пропускали только по билетам, а он хотел, как обычно, по обкомовскому удостоверению, но контролеры, надо думать, получили особо строгие инструкции, оно не действовало, и, когда я подходил, он в столпотворении у дверей говорил железным голосом людей из Смольного: «В конце концов есть здесь советская власть или нет?!» Обернулся, увидел меня — и не стал улыбаться.

А потом, а потом, по окончании одной жизни и в начале короткой следующей, в аккурат когда я летел в Америку к приятелю-диссиденту читать лекцию в его маленьком университете и уже протиснулся на свое место в самолете и смотрел в окно, подъехала к трапу черная «Волга», и все тот же, с поправкой на четверть века, он поднялся в салон для избранных, и на дозаправочном аэродроме в Гандере, где нет бедных и богатых, я имею в виду, ни бизнес-класса, ни экономического, а царит канадское крестьянское равенство и братство, опять нас свело, он в меня взгляделся, улыбнулся, но уже и не необаятельно, а серьезно, очень серьезно, как, видимо, только и мог теперь улыбаться, и сказал: «А “Зеркало” — тоже *того*, точнее, *не того*?» А я ответил: «Зеркало — совсем. Хотя я его не видел». — «Врешь. Снобируешь». — «Ни то, ни то. Правда — не видел. Но слышал. И я скажу тебе, какая разница между мной и *Андреем*. Я могу вместе с Бергманом и Феллини этот фильм сесть смотреть, чтобы вместе с ними через десять минут выйти из зала, а *Андрей* не может, не осмелится». Он секунд двадцать помолчал, на меня глядя, и сказал: «Какой же ты, Данила, неприятный человек». Прибавил: «Кстати, как раз Бергман и Феллини из зала не выходили, а смотрели во все глаза». И мы разошлись в разные стороны.

Так что неприятному — по-настоящему, как я, а не как он, неприятному — не сладко живется, не весело. Его вытесняют к краю зоны человеческого общения, а под конец и совсем за край выталкивают — умирать одному. И не только неглупые и небездарные инструктора обкома, а и умные и великолепные Бергман с Феллини. Но без этого несладкого и невеселого образа жизни не случилось бы у него минут, дней и целых месяцев сладости восхитительной и веселья, несравнимого с общепринятым. В конце концов, он сам это выбирает, не хотел бы — так и подлачился, согласился, не носился бы со своим строгим вкусом и высокой требовательностью. Небось, как миленький, ведь сидел и смотрел, не шевелясь, «Рублева», и «Зеркало», не шевелясь, бы смотрел. И хотя все-таки нет: и на «Рублеве» шевелился и головой вертел, и с «Зеркала», на которое уже после гандерского разговора собрался, с середины ушел — а не хуже других понимал, что вполне кино добротное, и с талантом, и с тонкостью, и побольше бы таких кин, и вполне мог бы именно так о нем говорить и без подлаживания, а о подражательстве и расчетливой двойной игре с советской властью промолчать, потому что подражательство — допустимое, а игра, в общем, чепуха в сравнении с судьбой в целом и особенно на фоне умирания от рака, но промолчи, не скажи, и станет от нескáзанного чуть-чуть подташнивать, и все, что потом будешь говорить, про что бы ни говорил, пойдет произноситься с запашком этой тошнотки, пока в каком-нибудь излишне горячем монологе не прорвется все-таки со всем застрявшим с тех пор в горле.

Так что на вытеснение сам идешь, по доброй воле и в трезвом уме. Умирать же тем более так и так в одиночку. А что чем дальше, тем меньше становится человечков, с кем слово сказать, и только собирается в раковине завтрачная и обеденная посуда, которую после вечернего чая с бутербродом с яблочным джемом одним разом моешь и идешь чистить зубы и чистишь тем тщательней, чем меньше понимаешь зачем, и пять раз проходишь по периметру вокруг своего девятиэтажного десятиподъездного дома, по черному пустому двору и по ночной улице с шатающейся вдаль и все ближе, ближе тенью ночного ископаемого, и опять по двору и опять по улице, уже без тени, после пятого, а не четвертого и не шестого, круга поднимаешься в гулком лифте,ходишь в квартиру, из которой как будто не только пятнадцать минут назад, но и никогда не выходил, растеливаешь постель, которую не понимаешь, зачем утром застилал, лежишься почитать, подумать, хотя за день этого же самого и надумался, и начитался, заснуть, через два часа проснуться, подумать, почитать, заснуть теперь до света, а со светом вылезает из-под одеяла и к чему-то бреешься и варишь яйцо всмятку вместо того, чтобы лежать неподвижно, пока уйдут все силы, расплзутся все ткани, распадутся молекулы, или еще как-нибудь, даже встав, эту дурную бесконечность остановить; что все это требует некоторых усилий и мужества — так ведь всего лишь *некоторые* и, в общем, не великим трудом достижимых. Зато в награду — знаешь несомненно, что ты — Даниил Такой-то, а не Другой, даже не *Такойто*, и что Даниил Такой-то — это точно ты. А что немного раньше времени из общей жизни вытеснен, так ведь вытеснен туда, куда и все будут вытеснены, включая вытесняющих, и ничего худого в том, чтобы немного привыкать, не вижу — немного закаляться, как уже в самом конце августа и, пока духу хватит, в сентябре купаясь, готовиться к холодам.

И ничего исключительного в этом нет. Мой отец был человек независимый, но как раз приятный — в отличие от меня мягкий, беспристрастный, справедливый. И что? Людей от себя, как я, не отталкивал, а тоже не больно-то много вокруг него было, и все одиночные, никак не сказать, что он в жизни *участвовал*, что его в нее *допускали*. А поскольку мне ни терять, ни приобретать уже нечего и ни лучше, ни хуже от того, что выскажу, что насчет этого думаю, ни я не стану, ни мне не станет, то признаюсь, что всегда считал, что эта самая «жизнь», в которой участвуют, допускают и вытесняют, это наименование узурпировала без всякого на то права, а точнее, по праву силы, потому что так ее назвали люди, состоящие в могущественной негласной корпорации, устав которой заключается в двух пунктах: каждый ее член должен выражать общее мнение; и каждый ее член должен решительно противодействовать любой угрозе этому мнению. Имя корпорации, вы думаете, истеблишмент? Не обязательно. Истеблишмент, скорее, президиум корпорации, а сама она, как ни печально и как ни смешно, — собственно мироустройство. Миродержавие, как когда-то до нас говорили. И состоят в ней на равных грубый тиран во главе государства, с черепом, насаженным непосредственно на желудок, — и его воспитанный на новой французской философии презрительный критик, а ее капитал не столько власть, сколько принадлежность к власти, к, так сказать, субстанции власти, в чем бы она ни выражалась, в командовании армией или объявлении зажеванного лозунга новой идеей.

Общее же мнение, из-за которого и весь сыр-бор, не формулируется, будучи подвижным, а узнается симпатической нервной системой, как пароль, меняющийся каждые полторы минуты, или полтора месяца, или полтора десятилетия. Исходит оно из исторически предшествующего и остается в согласии с ним. Различные отделения этого союза, партийные ячейки и дружеские компании охотно расплевались бы друг с другом, считая себя, всякое, толковей, или авторитетней, или изысканней другого. Но, инстинктивно зная, что это поведет к дальней-

шему расплевыванию, уже внутри группы, и каждый окажется перед лицом не соратников, заслоняющих его, как и он их, от чужих и чужого, не корпоративной, умысленной, «так называемой», а собственной, то есть единственно реальной, то есть *единственной*, жизни, с неизбежными в ней пустотой, бессилием, отчаянием, с которыми надо справляться в одиночку, самому по себе, и по этой причине стать неприятным для других и обнаружить для себя их неприятность — еще плотнее сбиваются в стаю. Из чего следует, что общее мнение не может не быть усредненным, то есть посредственным, касается ли оно вещей посредственных, или совсем убогих, или из ряда вон выходящих.

Так что, по совести говоря, я, например, вытеснен из того, про что еще надо спросить, хотел ли бы я там оставаться. В том же, в чем действительно хотел, всегда оставался и по сю пору остаюсь и вовсе не как пес на луну вою. А бывали периоды и вовсе признания и общего расположения. Ребенком — не помню, а в школе не то чтобы меня любили, но определенно не не любили. На заводе. На заводе, между прочим, началась моя переводческая карьера, на пустом месте, даже хуже, чем на пустом, потому там я вызывал неприязнь не личную, а принадлежность к чужой, подозрительной, чтобы не сказать — враждебной, среде, именем Даниил через два «и», оборотами речи, открытым смотрением в глаза говорящему.

Завод — сильно сказано: заводик. Семь цехов, около тыщи народу. Я был начальником смены в цехе стекловолокна, экспериментальном. Непрерывное производство, что значит непрерывная неделя в четыре смены по скользящему графику. Организм за скольжением не успевает, работа на износ, сплошной джет-лэг. Особенно в ночную, с одиннадцати вечера до семи утра, когда неодолимо засыпаешь, упершись лбом в край стола, и просыпаешься с болью всей верхней челюсти, на которую во сне, отвисая, налегает нижняя. Крутится алюминиевый барабан, над ним тележка со стеклянными шариками, они плаваются, сквозь сито dna вытекают тонкие нити, тележка медленно едет вдоль барабана, за ней корытце с эпоксидной смолой, нити наматываются на поверхность, через пульверизатор распыляется смола, ложится на них. Так — много раз туда и обратно, потом я выключаю мотор, тетка в задубевшем фартуке ножницами разрезает по горизонтальному шву барабана стекловолокно, лист его метра четыре на четыре съезжает на пол, начинается самый захватывающий этап — мытье барабана для следующей намотки: его моют спиртом. Откуда-то со второго и с третьего яруса спускаются аппаратчики, два, три, четыре, из подсобки приходят два слесаря, все уже выпивши: Даниил Батюшкович, неимоверные натёки, меньше, чем четырьмя литрами не обойдемся. Одним! Тремя. Двумя! Ладно, давайте. Отпираю железный сундук, отпираю стоящий в нем железный бак, зачерпываю литровым ковшом спирт, запираю. Давайте мы ковш сполоснем.

Ради этого и работаем, из-за этого и план выполняем. Не от тяжести жизни пила моя смена, и все смены, и все цеха и заводы, и домоуправления и машинно-тракторные станции и таксопарки, и лесхозы, и хирургические отделения больниц — и не для веселья. Пили — как дышали. Как по земле ходили — усилием ножных мышц, так и пили — усилием глотательных мышц горла. Водка не бог, но и не средство, водка — религия. Церковь веры возвращает жизнь к норме, через отчую к праотчей и райской: Иисус — сын «Сифов, Адамов... Божий». Церковь опьянения — к человеческой; из рая изгнанной, но человеческой. Человек не может принять того, что против естества, но может привыкнуть. Привычка — полудобровольное рабство, и, даже совсем отупев, душа бессознательно хранит память о своей свободе, сифовой, адамовой. Противоестественно включать огромный металлический цилиндр, чтобы он, грохоча, крутился бешено и на него лилось жидкое стекло температурой в тысячу триста градусов и в воздух прыскала ядовитая смола. Да просто не спать ночью — противоестест-

венно, тем более — спать под это. Но собираются двое или трое, и начинается служба, по заведенному обряду, и есть доктрина: «Ну, будем!», и догматика изощренная разработана. При трезвом уме и твердой памяти сознание обнаруживает себя в расфокусированном мире, в грязном лязгающем бараке, под безжизненным иссушающим зрением полумраком, в вонючем отравном эфире, перед безобразно, невыносимо уродливой, бешено вертящейся колодой. Но с началом всеночной, она же обедня, душа наводится на резкость и узнает цех, электрические лампочки, барабан, воздух, ночь — поганые, конечно, однако не настолько зловещие, чтобы малодушно идти к ним в рабство, поскольку это всего лишь цех, лампочки и идиотский барабан, который можно аннигилировать одним ржавым гвоздем, если со смехом небрежно бросить его в мотор.

В церкви веры вера, все знают, не чистая, заварена на быте и суевериях; в церкви водки вся ее загрязненность, сивушные масла, одеколонные и дизенсектидные эссенции, головная боль, рвота и гипертония так же работают на главный результат — мерянье жуткой реальности масштабами Эдема, потерянного, но не отнявшего у души свою завалившуюся в прапамять матрицу, — как сам спиритус вини, самый дистиллированный. Дистиллированный, без примесей, все знают, как раз хуже неотфильтрованной, мерцающей тяжелыми радикалами, подкрашенной техническим пигментом водки и ее аптечно-галантерейных заменителей — как кабинетная схоластика не идет в сравнение с живой верой, разогретой передаваемыми через правое, и не дай Бог через левое, плечо свечками «всем святым» с прошением вывести мужика из запоя, а нет, так в одночасье ему захлебнуться.

В утреннюю смену и в дневную полагался обеденный перерыв, и мои аппаратчики и слесаря всегда меня приглашали к себе в раздевалку, где к этому времени доминошный столик уже был накрыт газетой и на нем стояли стаканы с уже разлитой жидкостью. Их не замечали — как куверты, безлично расставленные в ресторане до появления посетителей и без непосредственной связи с ними: нулевой цикл. В середину складывали принесенные из дома бутерброды, крутые яйца, яблоки. Не было ни разу, чтобы я не отказался, и не было ни разу, чтобы кто-нибудь не спросил меня с этикетной вежливостью и разыгранной заинтересованностью, что со мной, если не секрет; почему это я так. Так же этикетно я указывал себе на грудь и произносил «желудок» или «сердце», потому что в эту минуту действительно появлялось легкое недомогание под ложечкой, где желудок и сердце болтаются в такой близости друг от друга, что я имел право их не различить. «Мне доктор один сказал, — сразу же вступал кто-то, — что если желудок, то пять недель натошак сто грамм, и забудешь, что он у тебя есть». Шесть недель, но через день, требовалось, чтобы забыть про сердце. Шесть недель, я извиняюсь, Даниил Батюшкович, чтобы это самое, чтобы работал бесперебойно. Импотенция, подсказывал сосед. Да, да — чтобы работал без импотенции. Полгода, и нет рака. От гангрены — десять дней, максимум двенадцать. Извиняюсь, трепак: одному говорил один доктор, что может сам собой рассосаться — если, конечно, регулярно, по стакану, причем все равно, утром или вечером, только чтобы каждые двадцать четыре часа.

Они пили технический спирт. Разбавляли под краном, он теплел. Они понимали, что интеллигенты пьют по-другому, даже говорили: «Может, вам в мензурочку налить? Чтобы привычнее», — и всегда кто-нибудь сразу прибавлял: «Они привыкли к магазинной. А, между прочим, такая лучше магазинной. Чище. Пахнет, но верней. Запах, он, кстати, подтверждает». Того, что я давал, им, естественно, не хватало. Они откатывали в подсобку баки с бакелитовым лаком, который шел на пропитку бумаги для слоистых пластиков. Сыпали в коричнево-черную смолу соль, поваренную, два-три пакета. Сгустки медленно, заворачивающе оседали на дно, сверху оставалась темная жижа, ее можно было пить,



называлось «Поль Робсон»: такой приезжал из Америки прогрессивный негр, пел басом «Полюшко-поле». Во все времена года они ходили в легких черных спецовках из бумазеи, что в цеху, что по территории завода — из снобизма, рабочая аристократия. В несильный мороз замерз один из двух моих слесарей, вышел ночью на двор, упал, заснул, ооченел. Назавтра после похорон в середине смены в дверь ворвался директор завода, самолично разобраться с обстановкой, в которой такое могло случиться. Как на грех, второй слесарь был не просто пьян, а на подступах к белой горячке, что-то ему примстилось, он парадным шагом прогрохал по стальным плитам, которыми цех был покрыт для легкого доступа к подземным трубам, стал как вкопанный, с остановившимися глазами, в двух шагах от директора, резко отдал ему честь, отчего не удержался на ногах и с тем же грохотом упал на спину. Сквозь директорский матерный рев я разобрал, что в три дня должен найти средство, добавку в спирт, которая сделает его непригодным для питья.

Поди, сделай религию, притом народную, стихийную, победную, непригодной для обряда. Я предложил фенолфталеин, сильное слабительное — его после целодневной беготни и очереди в сортир, заразивших, как утверждали остряки из заводоуправления, и директора, велено было отменить. Нашатырь поначалу действовал эффективней, шибало в нос так, что проглотить было физически невозможно, но дня через два мои ломоносовы научились ставить тазики со смесью в термостат, устанавливая температуру, при которой спирт нашатырный испарялся, а этиловый держался. Попахивал, конечно, но не рвотно.

Жизнь вернулась к своим истокам, но директор запомнил меня и однажды позвонил, не найду ли я кого перевести с английского техническую документацию и каталоги: его посылали в командировку в Лондон. Я сказал, что сам могу, он снял меня со смены и на неделю посадил за столик в углу своего кабинета. Я к тому же еще печатал на машинке, он это сочетание талантов оценил. После Англии его отправили в Лион, он опять меня вызвал, попросил свести с кем-нибудь знающим французский. На мои слова, что могу и с французского, он ответил довольно грубо, что мы с ним не приятели для «шуток и юмора», знаешь английский, вот и переводы с английского, а это французский. Кажется, я так никогда окончательно его и не убедил, что не вожу за нос, перевода с обоих, — даже когда он велел убрать из кладовки рядом с лабораторией предназначенные для праздничных демонстраций флаги и транспаранты, повесить на ней табличку «Отдел технической информации» и приказом перевел меня из начальников смены в начальники этого отдела.

Кроме стола, двух стульев и фанерных стеллажей, я перетащил в свой «отдел» из технического один из двух стоявших там клеенчатых диванов. С утренних недосыпов и после обеда я спал на нем, гася свет, запираясь на ключ и не открывая на стук. В кладовке было окошко, маленькое, у самого потолка, весь день горела лампочка под белым казенным колпаком. Из лаборатории ко мне стала приходиться девица, флиртовала, но и нормально тоже разговаривала. Однажды принесла карниз и занавески, я повесил на стену с окошком и держал закрытыми: за закрытыми могло быть хоть и настоящее окно, хоть и с пейзажем. Я позвал заводского художника — он оформлял стенды, рисовал схемы, писал объявления, лозунги — намалевать обманку, на его вкус. Он сделал прелестно: подоконник, на нем, стоя на полу спиной к нам, головой на улицу, полулежит, поджав под себя локти, женская фигура, видная нам, стало быть, только попкой в обтягивающей серой юбке и ногами в чулках со швом, от нее справа натюрморт, селедка в кольцах лука на промасленной бумаге, квашеная капуста в банке, соленый огурец, две головки чеснока, все это перед огромной, как те, что стоят в лаборатории, бутылью с синей надписью  $C_2H_5OH$ , но повернутой от нас, то есть читающейся как в зеркале; а на улице замок, частью видимый сквозь бу-

тыль, на зеленом склоне, под голубым небом с белым облачком и малюсеньким аэропланом в углу. Он был пьяница, но в старом смысле слова, что называется — попивал, очаровательный человек, с глазами улыбающимися и одновременно извиняющимися за улыбку, с губами, как будто приоткрывающимися, чтобы что-то сказать, хотя, кроме междометий, правда, очень всегда выразительных, я от него ничего не слышал. Лет на десять старше меня, отсидевший. Звали Кеша, Иннокентий, так детей называли еще в нэп, до самой коллективизации; я знал четырех Кеш. А фамилия немыслимая — Жидяев, никого не оставляла равнодушным.

Он водился с одним малым из Института пластмасс, приходил на завод новую линию налаживать, каких-то секретных труб огнеупорных. Довольно угрюмый тип, элегантный, в длинном прямом пальто, на голове серая борсолино, прихрамывал — я сперва думал, для интересности, как Грушницкий. Он уже у нас работал, еще до меня, год, учеником в слесарном цеху — вероятно, ради производственного стажа перед университетом. Однажды запустил станок, не заметил, что гаечный ключ на валу, тот пролетел метров пятьдесят аккурат в Кешину каморку, все разворотил. Кеша выскочил, этот к нему идет как ни в чем не бывало за своим инструментом, народ вокруг сразу с подначкой, «вам не подражаться, нам не посмотреть», они, инстинктивно, за грудки, а тут начальник цеха: «Что такое?» — да вот, два *жидяева* подрались. Хотя оба вполне славянских были кровей. Просто нормальный рефлекс русского человека на интеллигентную физиономию. А потом, когда этот уже начальником появился, в шляпе и башмаках на каучуковой подошве, они друг к другу как-то мгновенно прилипли и в обед в заводской столовке всегда за одним столиком бу-бу-бу. То есть этот — бу-бу-бу, а Кеша — ей-ей! а то! вот то-то!

Кеша отличал ту самую лаборантку, которая меня отличила. Глядел на нее с умилением, соорудил раздвижной штатив для пробирок и колб, обил латунью, проталкивал ее, когда после смены набиралось на остановке людей на несколько автобусов, вперед себя. На нее вообще мужики поглядывали, она вела себя свободно и так, что нельзя было понять, от наивности и чистоты или от распушенности. Неопределенность притягательная, и я с ней, конечно, этим наблюдением незамедлительно поделился. Я, кстати, допускаю, что и дружбу со мной она завела, чтобы тону этого притяжения поддержать: дескать, а действует ли на тебя моя непонятная какой природы свободная манера? Я и об этом ей доложил. И она первая из всех заводских меня невзлюбила. Она приходила пококетничать, может быть, даже рискованно, может быть, даже сойтись со мной, а вовсе не откровенничать и тем более не выслушивать чьих-то откровений о себе самой.

Мне это было ни к чему, мне и то, во что я это перевел, разговаривая с ней, как и о чем сам хотел, было не нужно, но так по крайней мере в наших отношениях появлялось содержание, появлялись, другими словами, отношения. Я с юности, с отрочества изнывал от встреч и дружб, которые были просто времяпрепровождением, хотя бы и с самыми симпатичными людьми. Я предпочитал неприязненные связи никаким, минус — нулю. Как-то раз, когда она раскрыла занавески и, пальцем медленно обводя по контуру нарисованные на стене ягодицы, спросила, как бы я себя повел, если бы однажды вошел, а все это настоящее, или, еще лучше, день изо дня сидел за столом, зная, что у меня за спиной высывается в окно — без движения, без звука и, главное, без лица — такая фигура, я сказал, что, даже вождедея, не стал бы совокупляться с кем-то, кто является лишь предметом совокупления и ничем иным, так как может быть заменен равноценным, то есть любым другим. Я намеренно сказал юридически-медицинское «совокупляться» и «предмет», в мужском роде, и прибавил, что если в ее вопросе было что-то личное, то мой ответ распространяется и на нее. Она проговорила, почти испуганно: «Вы что, обалдели?» — и вышла из комнаты.

Но через день опять пришла, сказала: «Скучно. Да и занятно». Поболтала, потом, как бы между прочим, спросила, почему я к ней так отношусь. Как «так»? Ну, не дружески; дружить-то можно. Я сказал ей, что есть такая писательница, Агата Кристи, и у нее есть героиня, мисс Марпл, которая, когда происходит убийство, отгадывает, кто убийца, а кто нет, по внешнему сходству подозреваемых с кем-то, кого она хорошо знает. С почтальоном, который обходит ключющего крошки голубя, чтобы не спугнуть, или с мясником, которому ничего не стоит нарезать теленка и барашка. И хотя я не мисс Марпл, но в ней, лаборантке, кареглазой шатенке, проглядывает облик Марии Тюдор с портрета в чепце и со стоячим воротником: такой же большой лоб, идеально прямая линия бровей, но с мясистыми крыльями, скулы и рот, закрытый так же, как открыты глаза. А ведь она отправляла под топор протестантов сотнями, а? «А» я прибавил, чтобы показать, что говорю не всерьез, — да не всерьез и говорил, тоже болтал. Посмеялась, еще пощебетала и ушла. А к концу дня поймала меня в коридоре и сказала: «Прочла в Советской Энциклопедии про Марию Тюдор. Вы не потому вредный, что меня с ней сравниваете, а что лезете, куда вас не просят. Почему вы с женой, видать, и разошлись».

Понятно, что заводским бабам это было известно. Когда зачисляли, в анкете у меня стояло «женат», а через год зашел к кадровичке, показал паспорт, и она переписала на «холост». Первая жена, все знают, не в счет, проба. Любовь началась, когда я был на четвертом курсе, в конце пятого летом расписались, а зимой уже подали на развод. Я еще со школы ходил в Манеж, занимался гладким бегом, сотка, двести, четыреста — по юношам показывал четвертое-пятое время в городе. В те дни спорт был еще довольно натуральным, технические ухищрения довольно примитивными: дорожка засыпалась «гарью», шлаком, да в подошву тапок вклепывались шипы. Физкультуру в школе вел сутулый, без шеи, еврей, известный до войны баскетболист. Чтобы приструнить нас — потому что он все время, мурлыча, улыбался чему-то себе под нос, и никто его не боялся — он в начале каждого урока выходил с мячом на линию штрафного, убирал мяч за спину и через голову забрасывал в кольцо. В баскетбол тогда лучше играли маленькие, метр семьдесят — восемьдесят, быстрые, резкие, ставка делалась на точный бросок, а не дотягивание руками до щита. Звездой сборной Союза был коротышка Алачачян; над Ахтаевым в два тридцать ростом ржали, как над монстром, бородатой женщиной. Физкультурник подошел ко мне в восьмом классе и пробормотал: «Ты бы, это — пошел попрыгал. В “Трудрезервы”», — зал «Трудовых резервов» был через дом от школы. Когда я туда явился, оказалось, что прыгунов в высоту тренирует он же самый и что к нему ходит не больше, не меньше как чемпион города. Через месяц он со своей улыбкой и полувзвукотом сказал, что у меня, это, есть разбег, но нет, извини, левитации и чтобы я попробовал бегать. Я стал ездить на Выборгскую на «Буревестник», а зимой в «Зимний стадион», бывший Манеж.

Всякий спорт — конюшня, и мне нравилось, что он этого родства не хочет скрывать. Надо было все время бежать, уставать, шумно дышать, раздувались ноздри, несло потом. Заходили, как в стойла, в душевые кабинки, тянулись, как к стойлам, каждый к своему шкафчику. Посередине тренировались футболисты, с потолка, отделяя их поле от беговых дорожек, свисала по периметру сетка. От сильных ударов мяча взметывался край, часто выплескивался нам под ноги, мы в своих шиповках падали, как подкошенные косули в тенета, сдирали кожу на коленях. У виража был сектор прыгунов, в том числе и с шестом, там тренировался чемпион Грузии, числившийся аспирантом в институте Лесгафта. Он был неправдоподобно красив, ко всем приветлив, окружен обожанием. Ходил по Невскому с четырехметровым бамбуковым шестом в чехле, поминутно кем-

нибудь останавливаемый, девицы выстраивались шеренгой на пути. Он вел подростковую группу, тренерство шло в зачет его учебной практики, я попал к нему, когда пришел в Манеж. Что бы мы ни делали, он говорил только: молодец, слушай! — с восторгом. Я пару раз спросил, не будет ли ко мне каких-то замечаний, нет ли советов, он ответил одно и то же: «Э-э, подумай своей головой, бежишь не быстро, прибежишь не скоро», — слово в слово, как афоризм.

Он женился, когда я был на первом курсе. Перед Седьмым ноября в Манеж привели несколько сотен гимнасток: неожиданно грянул мороз, а им на праздник надо было выступать на Дворцовой площади. Когда репетиция кончилась, одна отделилась, подошла к яме шестовиков и, только он начал разбег, с улыбочкой легла на маты, раскинув руки и ноги. Он затормозил, началась буза: что тебе надо, *сумасшедшая?* Она полежала-полежала и, глядя в потолок, выпустила вразяжку: «А слабо прыгнуть?» Так они познакомились — и так я с ней познакомился. Она была моего возраста, серая, как из деревни, книг не читала отродясь, кино смотрела только «Свинарка и пастух» и про Тарзана, работала буфетчицей в пирожковой и ходила на танцы в «Большевичку». Пела дурным голосом романс неизвестного происхождения «Утони в моих серых глазах, припади к белоснежному стану», под гитару, струны которой перебирала, напряженно вглядываясь в гриф. Но житейского ума была острога, веселого, манеры держаться — дразнящей, обращения с людьми — обольстительного. И хорошенькая — со своими серыми глазами, пышным ртом, высокой шейкой и белоснежным станом — как говорил чемпион Грузии, *нессусветно!* Вот на ней я и был женат.

Чемпион стал попивать — стиль сохраняя грузинский, но с безоглядностью уже русской. Ни с каким шестом он больше не прыгал, только тренировал, начинающих. Стал погуливать, она переехала к сестре, а потом ко мне. Я ей говорил: «Ты чего некультурная такая?» — А в этом самый и смак. — «О чем я с тобой разговаривать буду?» — А мы не будем разговаривать... Я предложил учить ее английскому, она сказала: а я тебя танцевать. Все было честь по чести: мы читали с ней «Паутину Шарлотты», минимум две страницы в день, потом она ловила по приемнику рок-н-ролл, если не было — джаз, что-нибудь эдакое выкаблучивала, я за ней. Я предупредил, что не дам при мне брать в руки гитару, если она не станет играть как следует, купил самоучитель. Она на глазах схватывала — и язык, и аккорды, стала складывать кошмарные фразы по-английски: «май сёрд — ёр хэд но вёрд», мой меч — твоя голова с плеч, а «но вёрд», потому что естественно, что если уж с плеч, то не жди от головы ни слова. Иногда на этом языке заговаривала со мной, но чаще всего тянуло ее на рифму: «ай коллд бадди май белавд, бат хи онли лафд энд лафд» — имелось в виду, что она звала парня любимый, а он только смеялся и смеялся.

А по-русски стала сочинять целые песенки: помычит под нос, щипнет струнку и что-то запишет. Потому сегодня голосок мой звёнок, что когда-то-некогда я была ребенок. Во втором куплете — потому мой волосок шелковист и тонок, в третьем — потому губами я чмокаю спросонок, и всё — что когда-то-некогда я была ребенок. Мне ужасно нравилось: и когда-то-некогда, и, особым образом, голосок, волосок и чмокаю, потому что я один знаю, особым образом, что конкретно это такое. Понятно, что тронуло неадекватно, небось, не Цветаева, и когда она первый раз спела и спросила: ну как? — я говорю: не Цветаева, но трогательно. Я думал чуть-чуть помолчать и прибавить, уже от души, что, на самом-то деле, сердце тает, чудно, — а она колокол подтянула и за миг до окончания моей паузы вдруг произнесла голосом чужим, холодным: «Трогательно — *мудохательно*. Пойду чай поставлю».

Ну, так — так так. Сел читать, позвала к чаю, пьем, молчим, она ложкой в чашке крутит, крутит, потом быстро вынимает и горячую мне прижимает изо

всей силы к запястью. Я вскрикиваю, она с хохотом вопит: то-то же!, вскакивает, щиплет меня, грудь, плечи, живот, как обезьяна, не защититься, оба валимся на пол, все это на кухне, на нас падают ковшик, дуршлаг, алюминиевая миска, мы визжим, задыхаемся от смеха, сплетаемся в объятиях — ровно таких же и ровно с тем же восторгом, из-за которых и поженились. Она меня ждала в проходной Манежа, привела к сестре, у той был гость, эта сказала: кыш сию минуту!, и они ушли. А мы стали не просто обниматься, а ломать и гнуть друг друга, пока не свалились, и так же на нас что-то посыпалось со стены, платяная щетка, соломенная шляпа, бадминтоновая ракетка. Это я первый сказал, ни с чего, от объятий и восторга: «Давай поженимся», она ответила: «А то нет?» Ты чего некультурная такая? А в этом самый и смак. О чем я с тобой разговаривать буду? А мы не будем разговаривать.

Мы сняли квартиру — она сняла, у меня денег никаких не было. Она мне объяснила: а зачем тебе умные бабы? Ты все равно умнее всех на свете. Они за тобой будут только повторять, да еще навыверт, ты им семью-восемь, а они: нет, восемь-семь — только раздражать будут. А так-то я лучше всех... И сейчас я ей это повторял — что всего их ума, когда Ньютон какой-нибудь, полжизни поломал голову, им говорит, что  $e$  равно эм-вэ-квадрат-пополам, только и хватает сказать: а по-моему, не пополам, а деленное на три. Мол, уж как Ньютон-то говорит, они всегда скажут. А что когда-то-некогда я была ребенок, это одна она может, это и есть самый-рассамый эм-вэ-квадрат-пополам, только она в миллион раз лучше Ньютона, потому что от эм-вэ-квадрат сердце не тает, а от когда-то-некогда — как свечка, особенно когда это *ее* голосок и волосок и спросонок, как я их понимаю и знаю. Почему я и разговариваю охотнее с женщинами, чем с мужчинами, и не я один, а, например, и Бердяев, который мне этим дороже всех своих идей об оправдании человека через творчество, — конечно, когда это такие женщины, как она, а не как те. И не как Цветаева, которая в определенном смысле тот же Ньютон, я бы на ней никогда не женился, как и на Ньютоне и на Бердяеве. А ее песня мне понравилась ужасно, уж-жасно, и я уже открывал рот, чтобы это сказать, когда она открыла свой и выкатила свое грубое слово на эм.

А зря, сказала она, ты так долго разевал свой. Потом поводила глазами по стене, губами почмокала, как на пробу, и наконец продолжила: и зря ты так на эту Цветаеву — и на этих тетенок, которым не с кем больше время проводить, как только с Ньютоном. Обязательно у тебя кто-то почему-то должен не годиться. «А кто мне говорил про семью-восемь восемь-семь?» — Не понимаешь? это я, чтобы ты на физкультурнице и буфетчице женился. А им надо показать, что они не физкультурницы, не буфетчицы, потому что, думают, так их замуж не возьмут, а тоже хочется, и правильно думают — на меня любой упадет, я и в язычке своем уверена, и попке цену знаю, и коленкам, а у них все это середина на половинку, и мозгов не прибавишь. А у кого мозгов, как у этой Цветаевой, так оказывается, что мужики — сплошной куриный помет. «Он бы на ней не женился». А она, думаешь, за тебя бы вышла? Ты бы ведь с ней, небось, тоже по честности разговаривал: люблю вас за ваш редкий талант, а красоты давайте не касаться. — «Небось удержался бы». — Со мной не удерживался — поднимал меня до себя. — «Что делать, если ты до сих пор “Илиаду” не читала?» — Я «Руслана и Людмилу» прочла, сама, без тебя. — «А про “Илиаду” не правда?» — Правда, правда — только лучше бы ты почаще врал.

Так наш маятник качался, от ласки к ссоре и назад. Но все равно, ход часов был ровный, и большим покоем и большим уютот, чем когда мы, касаясь иногда виском виска, сидели на тахте над книгой о счастье несчастного поросенка и уникальности его обыденной жизни, меня потом уже никогда не окутывало. Мы решили, что пора ей пойти на нормальные английские курсы. Немедленно она их нашла, разговорные, при «Интуристе», куда попасть было невозможно, но



она, конечно, попала. Одновременно записалась в «Клуб авторской песни», к ним приезжал Окуджава, она перед ним пела, он оценил и, по ее наблюдениям, положил на нее глаз. На зимние каникулы она купила путевку в дом отдыха работников «Интуриста», под Зеленогорском. Вернулась другая, с чужими или фальшиво имитирующими прежние интонациями, с не попадающим на меня взглядом. Ой, так было весело, я про тебя все время рассказывала, все тебя ждали, ты чего не приехал?, услышал бы про меня *притчу*, про меня сочинили *притчу*, в стихах, весь дом отдыха выучил наизусть, настоящая *притча*.

На третий день не выдержала, стала лицом мне в лицо, произнесла человеческим тоном: чё ты молчишь и чё улыбаешься? Видно, что вру? А и даже если вру, чего улыбаться?.. Я сказал: *притча*, надо говорить *притча*... Ах, вот что. А знаешь, давай лучше разойдемся, разведемся и разделимся: тебе все твое, а мне все остальное... Да и я чувствую, что пора... Ну, и кыш отсюда...

Первый брак — пробный, это так, но второго у меня не было, и весь мой опыт — оттуда. От нее. Я, естественно, потом еще сходил с женщинами. «Естественно» не потому, что так надо или тем более хорошо, а потому что со времени пещеры, а не хотите пещеры, пусть с садов Семирамиды в солнечном Вавилоне, с любого, в общем, времени, когда люди жили вместе, сходить к нашему брату с ихней сестрой — естественно, хотя я и крещеный, и в церковь хожу, и в Бога, как могу, верю, и знаю и искренне исповедую, что так не надо и не хорошо. Но органично, природно, натурально — это, если ты не софист, нечего обсуждать, тем паче исповедовать. А что естественное может быть не хорошо, а хорошее — не естественно, никто давно не спорит — потому жить и трудно. Среди моих, не знаю, как сказать: подруг? возлюбленных? сожительниц? — были и лучше ее, но ни с одной и призрака супружества не возникало, а с ней — меньше года! — двадцатидвухлетние! — мы были, смешно сказать, муж и жена. Даниил и Лидия. Лика.

Поэтому когда лаборанточка огрызнулась, что, наверно, мы из-за моей вредности с женой разошлись, меня укололо не «вредность» и не «разошлись», а «жена»: *сладко* укололо. Я даже симпатию к *так* съязвившей почувствовал — как взрослый, дождавшийся, что малыш, который никак не схватывал порядка чисел, наконец сосчитал от начала: один, и только потом уже два-три-четыре. Ей это как будто передалось, откидыванье на спинку дивана с демонстрацией надколенных зон сократилось до среднестатистического — как и нацеленность разговора на скользкую двусмысленность. Заходить в мой храм технической информации она стала реже, зато с первого дня, как появился заводской автобус, всегда садилась рядом. Вообще говоря, автобус был ей не по чину, он был куплен из директорского фонда для того, чтобы утром забирать, а вечером развозить по домам *инженерно-технических работников*, да и то не всех, а *командный состав*, по списку, составленному самим директором, но ее имя без объяснения, как и почему, в нем оказалось.

Я жил на Ракова — дядя, мамин брат, после смерти моего отца переехал к нам, а я в его вырезанную капитальным ремонтом из могучей коммуналки однокомнатную квартиру, роскошь по тем временам царская! — и выходил на Невском у «Пассажа» — и она тоже, хотя жила за Невой; говорила, что чтобы пройти по центру. Однажды весной я вывалился из духоты и тесноты и клубка физиономий, налипших на сетчатку за целый день и всё множество дней и этим утверждавших, что они одни только и есть, — в какой-то невысказанный лиловый, парижский, прохладный свет, в толпу с расстегнутыми пальто, с громкой речью и потому кажущуюся свободно жестикулирующей и смеющейся, в поток тех, кто волочил ноги от трамвая к дому, от дома к магазину, из магазина на автобус, но все выглядели фланерами. Настоящим фланером был один, тот нахальный и элегантный мой и еще половины города знакомый Феликс, про которого публи-

ковались идеологические фельетоны, и на него, единственного уже в плаще, в длинном черном плаще и с трубкой в зубах, прогуливавшегося по кишасей народом панели, как по аллее парка, глаза по сторонам с любопытством, несравнимо более одобрительным, чем то, с каким глазели на него, я, шагнув со ступеньки, и налетел. От неожиданности столкновения мы приобнялись и воодушевление выразили с преувеличенной горячностью, и тут сзади моя, кто? — подруга, соседка, спутница, землячка — проговорила прелестным голоском: «А меня вы не узнаете?» Он к ней подался, развел, словно бы в изумлении и одновременно извиняясь за ненарочитую невнимательность, руки и воскликнул: «Алка!». «Римма», — сказала она сухо. «Римка!» — с той же радостью подхватил он, но по тому, как скользнул по мне ее взгляд, я понял, что никогда она мне этого не забудет.

Окажись я просто свидетелем — *ничего такого*, ну, одноразовый маленький конфуз. Но то, как я себя с ней поставил и что, а главное, как, прежде успел ей высказать, переводило меня чуть ли не в сценаристы и режиссеры этого эпизода, а эпизод — в иллюстрацию моей правоты. Хуже, гораздо хуже: в наглядное и неопровержимое подтверждение того к ней отношения, которое она хоть и видела, но до сих пор еще могла считать не отношением, а стечением фактов и речей, через которые я его демонстрировал, но не обязательно имел. Например, мог объявлять, что она для меня на одно лицо с другими девицами, столь же доступными, и потому заведомо мною отвергается, а в действительности делать это ради придания интереса и остроты нашему более или менее обыденному знакомству, чтобы тем вернее в конце концов сблизиться. А не ради этого, так просто капризная или рисуясь. Но то, что не мне, а самому миру, в самом деле, все равно, Алка она или Римка, придавало моему поведению и словам объективность и статус приговора.

Она зашагала в сторону Адмиралтейства, мы с милым, веселым *Тлей и Накипью* еще немного постояли поболтали. Он глазами продолжал следить за толпой, оттуда с ним здоровались, он помахивал в ответ рукой, под конец к нему подошел приятель, я его в лицо знал, в нескольких домах от меня жил. Независимого вида, а что такое «независимого»? — *не интересующегося другими*. Ходил, глядя перед собой, и в сочетании с размытой, ни для кого конкретно приветливостью, которая блуждала по лицу, это давало впечатление самоуглубленности — или надменности. Сказал, представляясь: Митя, очень приятно — я мгновенно ответил: это мне должно быть приятно, что вы Митя, — он посмотрел на меня внимательно, немного ошарашенно. Мы учились в разных школах, но откуда-то было известно, что его отец — медицинский генерал и одновременно энкавэдэшный. Он был убит случайными грабителями, но стиль жизни, видимо, остался прежним: однажды я видел, как этот Митя с матерью усаживались в роскошный ЗИС, в котором их ждали довольные, уверенные в себе мужчины, а класса с девятого он стал жить с актрисой, я встречал их на улице регулярно, в красивых пальто и шарфах вокруг шеи, и опять-таки у меня на глазах пару раз они выходили из подъезда и садились в заказанное такси.

Энкавэдэшность отца вовсе не выглядела для меня в те дни иудиным или пилатовым клеймом, и открытая связь школьника со взрослой, как тогда казалось, женщиной не вызвала нравственного протеста. То, что отец генерал, а она холеная актриса, — вот что возбуждало легкий нервный жар в крови, неосознанную отчужденность и противостояние. Классовое чувство. Но, как подумал я годы спустя, принадлежность классу определялась не по принципу обделенности и благополучия, а по инстинктивному принятию или инстинктивному отталкиванию от самого этого принципа. Благополучие было привлекательным, обделенность раздражала, и если бы меня спросили: хочешь избавиться от убогой одежды, однообразной еды, коммуналки, от запрета, налагаемого скудостью

средств на естественные и достаточно ограниченные желания юности? — я бы с опережением выпалил: да. А хочешь благополучия? — и я бы замешкался, стал уточнять, что имеется в виду, оговаривать условия. Скучность средств подтверждает принцип недостижимости полноты, достаток — ее *частичную* достижимость, против чего восстают и разум, и душа, знающие, что в полноте нет части. Благополучие предполагает устойчивость, стало быть, сведение риска жизни до минимума, с этим разум согласен, и тут душа бунтует уже и против него. Вот почему я ответил Мите с вызовом. Признаю, что с дурацким.

Директор зашел посмотреть, как выглядит мой кабинет — *его* отдел технической информации. Увидел за занавесками пейзаж с натюрмортом — это что такое! Я сказал: можно закрасить. Вот и закрась! Ты что себе думаешь, это бордель или советский завод? Выговор тебе в приказе!.. Хлопнул дверью, вечером пришел опять, сел на диван, сказал сбавленным голосом: я вот зачем у тебя был. Ты веди-ка себя поаккуратней. С этим босяком, — кивнул на занавески, — водишься: держись от них подальше, от него и от его дружка хромого в модной шляпе. Чтобы тобой не заинтересовались как следует. Больше ничего говорить не буду. А задницу на подоконнике, я подумал, можешь оставить, придут из-за кордона, пусть посмеются — и, что у нас свобода, увидят... Недели через две я принес ему очередной перевод, он был мрачен, груб; когда я выходил, из-за стола проскрежетал: беспокоились о тебе, доигрался, замажь художество... И на следующем моем шаге к двери: не замазывай. И вообще: пошли вы все из Житомира в Пензу.

Может, Англия с Францией коммунистическую цельность его души расшатали — а может, и я. Он был партийный выдвиженец, неотесанный, на стадии, когда я пришел на завод, булыжника — оружия пролетариата. После обеих загранич в первый день появлялся на заводе не только в костюме и пальто чужого кроя, но с чужим налетом на отечественной физиономии, веселый, мог, здороваясь, улыбнуться. Уже к вечеру темнел изнутри, припухал, набухал, делался потным, сальным, одышливым — и запивал на неделю. Со мной хоть и держался на дистанции, но с некоторого времени стал подыскивать слова, дававшиеся с натугой, зато отвечавшие — так я себе объяснял — незнакомому слою и манере жизни, которые я, по его мнению, собой представлял. Где читают и по-английски и по-французски, где вообще *читают* — книги, не имеющие отношения к доступной ему житейской практике, и говорят с учетом прочитанного. Один мой одноклассник, которому я во всех классах давал списывать, пошел в театральные осветители и приглашал меня — никак не в благодарность, а сперва, наоборот, покровительственно, потом по привычке — на прогоны перед премьерой, дневные. Однажды к слову я спросил директора, не интересует ли его — такая есть книга «Идиот», писателя Достоевского, и по ней поставили спектакль. Он взглянул на меня недоверчиво и дико, я оставался серьезен, спокоен, он не ответил, но к концу дня позвонил по внутреннему телефону и сказал: «Что ж, составлю тебе компанию». В театре он продержался первые десять минут, а потом пришел в сильное волнение, не мог найти себе места, вдруг замирал, тяжело дышал. Спектакль мы не обсуждали, просто разъехались по домам, но, встретив меня через несколько дней в коридоре, он сказал, усмехнувшись: «Сто тысяч в печку — не хухры-мухры».

Прогон был воскресный, я предложил ему пойти и на следующий, «Обыкновенной истории», но заметил, что это в будний день. Он хохотнул: «Я у начальства отпущусь, а ты — не знаю». Походы в театр, как и специфика наших рабочих отношений, когда я сам назначал срок очередного перевода и сам определял, в публичке ли, а то и дома буду заниматься или на заводе, а во время его переговоров с иностранцами мог сказать, если он забывал техническую характеристику, «не беспокойтесь» или «я исправил», если он задним числом вспоми-

нал, что ошибся,— не изменили ничего ни в мере субординации, ни в характере, но сделали ее более человеческой. Раз в месяц-полтора он говорил: «Тревожись о тебе опять»,— без продолжения, просто так. На какой-то раз я спросил: а вы? — А я успокаивал...

В середине зимы он зашел и сказал: «Оставь мне ключи, хочу после работы доклад пописать — чтобы никто не мешал». Через несколько дней просто: ключи дашь? — а потом уже без слов, входил, протягивал руку, я вкладывал связку. Недели три спустя вызвал меня с планом выставки для Дома техники, задавал вопросы, поподавал советы, вдруг спросил: «*Кстати*, как тебе Римма такая из лаборатории? Она еще за тобой бегала». «Душевно — вызывает симпатию, а чтобы бегала, не помню». «А на внешность?» «А на внешность — внешность вызывает уважение. На внешность — есть такая писательница, Агата Кристи, а у нее героиня, мисс Марпл, определяет, кто преступник, а кто невиновный, по сходству со своими знакомыми. С учителем, который бил детей, или с лавочником, который, когда продавал детям конфеты, добавлял горсть от себя. Римма, между прочим, вылитая Мария Тюдор, бровями, носом, щечками. Мне нравится — хотя называлась Кровавой».

Он ничего не сказал, а в конце недели пришел, оперся пальцами о ребро стола и проговорил: «Ты подыскивай себе работу где-нибудь. Что трех лет по распределению не выслужил, хер с ним, я устрою. Найди место по себе — хотя где по тебе место? Ты парень неплохой, но не хороший, понимаешь? Образованный, с башкой, а вроде недоделанный. Или *переделанный* — не знаю. Мне-то наплевать, а среди кого тебе жить, тем не нравится. Мне лично ты не мешаешь, а только чувствую, что хватит, достаточно уже тебя. Характеристику дам — хоть в академики иди; скажи только куда. Жаль, конечно — с тобой интереснее. И тебя жаль. Звони, если надо будет чего-нибудь».

Места я даже не искал, само приплыло, издательство словарей. Я-то думал подольше без повода поболтаться, засыпать, когда хочу, валяться в постели, гулять среди бела дня. Гуляя, почти сразу наткнулся на Лику, она стала работать в «Интуристе», я уже знал об этом. Говорит: жить-то тебе на что-то нужно — хочешь, мне один дьякон предложил переводить всякую муру для ихней энциклопедии; копейки, но тебе много и не надо... Она переменилась, источала неколебимую уверенность в себе, сделалась лощеной, заметней на улице — как бы вошла в некий клуб женщин, о которых улице должно быть известно, что они в этом клубе. Из-за этого стала, правда, стертей. Вслух я сказал: на вид ты переменилась к лучшему. «Знаю, знаю: один граф из Рима звал меня *донна ди классо*. Приехал по люксу, я обслуживала. Пел мне в номере серенаду Шуберта. *Причту* не сочинял, врать не буду». И растворилась за крутящейся дверью «Европейской» — в каракулевой кубаночке, в кожаных чулках на низком каблуке.

Переводить надо было английский богословский словарь — для библиотеки духовной семинарии. Пять рублей машинописная страница. Мелкий шрифт, еще два мелких шрифта, когда лезешь за словом в англо-русский, все разные, поламливает глаза. Только сдал первую порцию, предприятие перешло под опеку «Науки», а оттуда — «Советской энциклопедии». Меня взяли в штат, официально три дня в неделю библиотечных. Это было куда важнее величины зарплаты, вожделенные библиотечные дни, бальзам свободы. Я встретил однокурсника, он служил в НИИ, один библиотечный день, я сказал в шутку в студенческой манере: с утра в Публичке? Он подхватил, сделал испуганное лицо: ты что! с утра лежу на диване, чтобы не расплескать знаний.

Контора была маленькая, главная находилась в Москве, а у нас — заведующий и шесть редакторов-переводчиков, две проходные комнаты — его и общая, — соседствующие по коридору с другими такими же московскими филиала-

ми. Заведующий участия в жизни не принимал, он знал редкий язык, малайский, и больше никакого — работал в торгпредстве на Суматре и был выслан как шпион. Входя к себе, запирался на ключ; выходя, попахивал коньяком и этого не стеснялся. Один раз, когда я его спросил, что делать с пришедшим по почте португальским ботаническим словарем, сказал: «Вы уверены, что это португальский?» Прочитывая наши статьи, говорил «майонез получился» или «майонеза не получилось». Он попался мне на улице, всегда один и с таким же отрешенным видом. Единственный случай, когда он со мной заговорил, — в ресторане «Приморский» на Петроградской, я зашел туда с Ликой после изнурительной прогулки, а он сидел за бутылкой, явно не первой, с двумя известными фарцовщиками — подошел, церемонно приложился ею к руке и сказал, чтобы я не обращал на него внимания, то есть, что он такой на работе: для него это отстойник, надо переждать, ему сорок лет и его опять пошлют, туда или на Малакку, как журналиста.

Остальные были четыре женщины за сорок и Кирилл Сергеич — как следует за пятьдесят, мы с ним подружились. Он был художник, а языки знал с детства — благополучная петербургская семья, детей учили языкам. Он жил у консерватории, в просторной комнате, в коммунальной квартире, когда-то принадлежавшей отцу. Стены сплошь покрывала живопись — масло и акварели, его и дареные, и фотографии, старые и даже дагерротипы: над всеми — крупная — отца, знаменитого маринского баритона. Когда наши присутственные дни совпадали, я иногда провозжал его до дому, он всегда приглашал, я иногда заходил, у него никогда не было еды, только чай, мы могли выпить по два, по три чайника. Он говорил: единственное, что меня соединяет с человечеством, это уборная. Разумеется, я и там с ним не встречаюсь, но нахожу следы. Хотя именно там оно навсегда отделило меня от единственного, за что я его так любил: от моих сестер и братьев, и мамы, и боготворимого нами всеми папы. Я не шутя говорю, он был самый прекрасный из людей, которых я встретил за жизнь. На ощупь щекочуще-шершавый — ворс английского сукна; щекочуще-жаркий на слух, дурманяще-свежий, как протопленная печка, на нюх — грим, вазелин и английский одеколон; мягкий и чистый, как хлеб, на вкус. Огромный, не похожий ни на один из своих портретов или похожий, как может быть похож на фотографию лес или луг. Я до сих пор вдыхаю какой-нибудь заблудившийся его флюид в неожиданном углу квартиры — но не в уборной, не в уборной. В уборной я вдыхаю то, что соединяет меня с голодом, больницей, обыском, блокадой, с очередью, общим вагоном, пересыльной тюрьмой. Короче, как я и сказал, с человечеством. Это необходимо, чтобы жить. А то забудешь, где ты кончаешься и где начинается оно. Вы чему улыбаетесь?

Я улыбался моей любимой уборной, в большом густом саду мамино дяди. Он жил в крошечном латышском городке, и меня после войны послали туда подкормиться. Уборная пахла деревом, а не дерьмом, потом сыроватостью — я бы сказал: сухо пахла сыроватостью, сладковато-кисловатой сыроватостью без примеси меркаптана и сероводорода. Ручка была выломана, я глядел в дырку на зелень, два бледно-алых тюльпана на переднем плане, землю грядку у изгороди, вырез неба. Все вместе было портретом дяди, старого, тихого, ласкового, который, когда ехал в Ригу, приходил на станцию за полтора часа до поезда, с маленькой подушечкой-«думкой» в саквояже, и дремал на лавке. Он вскоре продал этот дом — за неделю до сталинской денежной реформы, в одну минуту сделавшей полученные им тысячи сотнями и в течение месяца сотни комком рублей.

Кирилл Сергеич сказал: только так! Я вам говорю, это портрет человечества. Я имею в виду вашего дядю, я имею в виду его прекрасный сортир. Продажа дома нет, а вот потеря дома да, *связала* его с человечеством, с которым до того он был связан только уборной, потому что она — та исключительно личная,

лично интимная собственность, которая везде и у всех, в пристанционной будке, придорожной ямке, лагерном бараке и публичном доме. На оставшиеся рубли он мог бы купить в лучшем случае свою бывшую уборную — более уютную, чем перечисленные, но ведь ее, ее, голубушку. Так можно всю жизнь прожить вдали от жизни, пока в один день, через какую-нибудь реформу, не приобщишься. Через реформу смерти, например, — ведущую все к той же выгребной яме.

В молодости он зарабатывал себе и кому мог на жизнь тем, что иллюстрировал детские книжки. Дружил с Введенским и Хармсом, они работали на издательство для детей, на Маршака. Маршак старался не приобщаться, страдал от нездоровья, плохих известий, чужой неумелости и неодаренности, но от отправления естественных потребностей гурьбой и гуртом, как те, — никогда. Жаловался Чуковскому: «Очень плохо сплю. Пища во рту остается. Как вечером ел котлету, так с котлетой во рту и просыпаюсь». Тот его обыгрывал: «А я уж не помню, когда и спал». «Что ж, многим литература нелегко дается». Введенский зашел к Кириллу попросить взаймы: «Встретил сегодня Маршака. Мне показалось, он ничего, можно ему правду сказать». «И что сказали?» «Что он подлец»... Я сразу спросил: а тот?.. Да при чем тут тот? Что он — этого не знал? Введенский сказал, чтобы лишний раз увидеть самого себя в другом списке, особом, не в том, где Маршак. «Можно правду сказать»: не про Маршака же — а вообще правду, про все. Иногда надо — просто чтобы не *не сказать*.

Мне это было знакомо, но я не различал, когда *иногда*. Я готов был *всегда*. В ресторан тогда забрели мы с Ликой доругиваться. Днем позвонила: заходи за мной, пройдемся. Я в это время связался с женщиной, которую не любил и она мне даже не нравилась, но как-то потянулось одно от другого и по инерции продолжалось. Первый знак, совсем, впрочем, невинный, сделала она, проходила мимо моего столика в библиотеке, а я, кроме книг, всегда еще брал с открытого стеллажа свежую газету, и она, не останавливаясь, проговорила: прочтите «О вкусах спорят». Крупная пышная особа с уложенной, как корона, косой, лет на тридцать пять. Я прочел, дурацкая статейка в духе времени про то, что коврик с лебедями на стене — пошлость, а лубок и литографии молодых ленинградских пейзажистов украсят интерьер как нельзя лучше. Я подошел, спросил: и что в этом хорошего? — она ответила: то, что это я написала. Она, оказывается, была в Ленинграде журналисткой на виду, писала на вот такие *проблемные* темы. Я, когда читал, непроизвольно произносил про себя «интерьер» и, проводив ее до дома и приглашенный на чашку чая, именно *интерьер* и увидел.

Зачем я ей был нужен, до конца так и не понял. Наверное, попал в промежуток — я потом стал ее видеть с респектабельным атлетом, похожим на нее, как брат, вместо косы — чуб и легкая седина, как выяснилось, инструктор обкома. Мне она была нужна, тоже не знаю зачем, главным образом, из курьеза. Вела она себя со мной, точно как предсказывала Лика. Накрывала низкий столик круглыми соломенными салфетками, нарезала тонко лимон, тонко сыр, разливала чай из коричневого керамического чайника в коричневые керамические чашки, спрашивала, о чем я в данную минуту думаю. Я ей говорил — не помню, что я ей говорил, ну, пусть что наша цивилизация — дачная, и то, что в ней есть действительно, то есть неприятного, то есть нормального: стужу, темноту, подавленность, болезнь — она вытесняет к краю и, по возможности, заслоняет ширмой: шубой, торшером, таблеткой, сводит к кратковременному фону вроде тени от тучки, проплывающей над пляжем. И, едва смолкал звук моего голоса, сразу раздавался ее, с интонацией откровения, но якобы разогретого моими словами до полемики, что, а по ее, наша цивилизация не дачная, и то, что есть в ней действительно, включая холод, тьму, депрессию, она к краю не вытесняет и ширмой не заслоняет. Но потом начиналась постель, и это и было самое увлекательное, что она, обладающая таким апломбом и чувством самоуважения и в та-

ком *интеръёре* так странно себя ведет, и я так странно с ней себя веду, и ее коса вокруг головы так странно себя ведет. Меня постоянно подмывало шкодить, я предлагал всякие непристойные вещи, к которым у самого охоты не было, единственно из желания вовлечь в *это* нашу видную специалистку по проблемной тематике, и если она говорила, что у меня грязное воображение, я воодушевленно отвечал: «Почему? О вкусах спорят». Лика сказала, что видела меня с ней издали: «Выставка достижений народного хозяйства».

Лика вышла из своего «Интуриста» ласковая, излучала радость, поцеловала, обвила вокруг моей руки, запахла духами и вином. Мы двинулись в сторону канала, через Конюшенную, по Марсову, шли, куда ноги шли. Она все время болтала, забавно — про иностранцев, про кагэбэшников, про каких-то подруг. Самым частым словом было «мужики» — какие они смешные, какие тупые, как смешно и как тупо пристают. Вдруг где-то на Халтурина, около Комитета физкультуры, я отвлекся, потерял нить ее речи и когда снова сосредоточился на звуке, мне показалось, что она тараторит только: мужики-мужиков, мужики-мужикам. Я остановился, она смолкла, мы поглядели друг на друга и дальше пошли молча, уже не налегая друг на друга плечом, и рука ее стала жестче. Возле атлантов она отпустила меня, поднялась по ступенькам, подошла к первому, поставила свой сапожок на подъем его ступни, спиной откинулась на гладкую голень, обхватила ее сзади ладонями, постояла и, пройдя по галерее, прыгнула мне на руки. «В общем,— проговорила опять весело, опять приваливаясь ко мне,— я на третьем месяце».

Полгода до родов были самые ровные и безоблачные со дня нашего знакомства и до конца. В ту минуту, когда она объявила о беременности, я не справился с обвалом мыслей, соображений и чувств и мертво замолчал. Она мгновенно подняла крик, не стесняясь, на всю улицу кричала, что сказала об этом, только чтобы освежить свое впечатление о моей упоенности собой, спеси, служении отвлеченной, умственной правде, которой нет на свете, а мне нужной для самооправдания и чтобы подпитывать врожденную лживость моей уродской натуры. Вырвала руку, оттолкнула меня, быстро пошла вперед, потом побежала, свернула в проход между не разобранных с 7 ноября трибун — когда я подошел, плакала. Когда поплелись дальше, каждые две минуты спрашивала: что ты все время молчишь? — и в настоящей, а может, и деланной, ярости била меня по плечам и шее. Я заговорил, когда перешли мост, просто рассмеялся и сказал, что все в порядке. А почему молчал? Уж и подумать нельзя! А почему не спрашиваешь, от кого? Я сказал: неужели от кого-то? Она опять по мне отбарабанила кулаками, потом в сквере у церкви мы влезли с ногами на скамейку, сели на спинку, она закурила. «Филип Моррис». Не от Филипа Морриса? От того, кто угостил. А эмбриону не вредно?

Мы стали звонить друг другу почти каждый день, я приносил ей «остренького-остренького соленького», как она все время приговаривала; когда живот вырос, принялся ее «прогуливать», ездили на Острова, в Удельную, в Павловск. Родился мальчик — я ее в роддом отвозил, я привез их домой. У нее теперь была комната в трехкомнатной квартире, две другие заперты: хозяйева зарабатывали в Египте сертификатные рубли. Она сказала: давай одну откроем, я знаю, где ключи, а когда приедут, как-нибудь договорюсь; чтобы из нас один хоть мог высыпаться. Она уже решила, что младенца мы будем вдвоем пеленать, оприходовала меня. Но я и не протестовал: что-то реальное было во всей этой истории — наконец что-то реальное. Из полуразвлекательного романа, полуритуальной интрижки, из острых ощущений и постельной возни появился сперва живот, абсолютно самостоятельный, не индивидуальный, не имеющий никакого отношения ни к причинам, ни к следствиям, а принадлежащий некоей надчеловеческой



стихии, из живота — принадлежащее ей же вещество и существо, ни вот настолько не интересующееся предысторией и, однако, всю ее оправдывающее, как принесенный официантом хлеб оправдывает горчицу и соль, до того бесцельно занимавшие центр столика. И совершилось это, тем самым, не именно над Ликой, не говоря уже, что не над тем, чей был сперматозоид, а над любым, кто совершившееся на себя принимал, то есть над Ликой и, уж не знаю в какой мере и по какой касательной, надо мной.

В конце первого месяца, поначалу безоблачного, она стала все чаще раздражаться, встречала меня угрюмо, разговаривала неохотно. Дверь в комнату соседней она открыла и раза три, оставив ребеночка на меня, там ночевала — но мне было проще и удобнее хоть и поздно, а уезжать домой. Проще и удобнее — даже если бы не мысль снова оказаться с ней в постели, а мысль, хочешь не хочешь, присутствовала. Я положил себе ни в коем случае этого не допустить — во-первых, как высокопарно ни звучит, чтобы не дешевить то, о чем только что говорил, «совершившееся», прорыв из грязи в князи. Во-вторых, чтобы не дешевить нашу с ней историю: влюбленность, брак, разрыв. Да и, признаться, от обиды, которая все-таки во мне сидела, от несильной, но неотлипающей ревности, от неприязни к ней из-за «мужиков», особенно из-за какого-то конкретного.

Да и просто из соображений нравственности в конце концов. Потому что, разумеется, я существо безнравственное, но *существо* — а человек, представьте себе, нравственный. Что мне безразлично, а мне безразлично все, кроме того немногого, что небезразлично, к тому — ровно в меру безразличия — я действительно безнравственен. Знаю, что это так, слежу за собой, стараюсь соблюдать правила, не наносить прямого вреда ближним и дальним, но и это все знаю и делаю — безнравственно. И не очень понимаю, как бы могло быть по-другому. В безразличии и не может быть нравственности, оно ее по природе лишено, нельзя нравственно носить сапоги, нравственно в них шагать из пункта А в пункт Б, так ведь? Зато что люблю и что не люблю — все равно, — в том я очень даже нравственный, до ригоризма. Нравственность появляется только с движением души, я это узнал в четыре года, когда заплакал, не понимая, кого больше люблю, папу или маму, и не зная, как ни одного не обидеть. В общем, безнравственно спать со своей сдобной журналисткой я мог, а с бывшей женой нет.

Она же на этом как будто сосредоточилась. «Чтоб ты знал: меня и в лучшие-то времена не больно к тебе тянет, а сейчас вообще про эти дела и подумывать скучно, но имей в виду, мне это оскорбительно и ты за оскорбление заплатишь». Мне, когда выдавали младенца в роддоме, сказали, чтобы я был к ней предупредителен, что бывает послеродовой психоз, неадекватная реактивность и навязчивые состояния, и тогда необходимо с моей стороны терпение. Ничего близкого — психика у нее была, как у древесной рощи, но, конечно, соединить прежний опыт, принцип и весь курс жизни с новым положением требовало от нее постоянного тяготящего усилия, она самой себе хотела показать, что ничего *такого* не произошло, что все — как было, *плюс младенец*. А для того, *как было*, нормально, чтобы я не фокусничал, а оставался ночевать и ничего *такого*, если и в одной постели с ней. Ведь предложил же я: если хочешь, можешь записать ребенка на меня — еще до родов. Вот это было нормально, и то, что я сбегал в загс с нашими паспортами, нормально, и то, что она, давая грудь или тетешкая, разговаривала теперь с ним не только Женя, Женюра, а и Евгений Данилыч, нормально. И можно было по такому поводу снова нам сойтись и жить вместе, а почему-либо не пойдет, снова разъехаться.

Так все держалось примерно до полугода. Я с дитем оставался, когда ей надо было уйти, я с ним гулял в колясочке, ходил в магазин, ходил в молочную кухню, когда у нее стало убывать молоко. Ей разрешили пока работать через день, на полставки, я подогнал под это свои присутственные дни, в библиотеку наве-

дывался по вечерам, переводил, пока он спал. В полгода он подхватил в поликлинике коклюш, и моя мама, врач, дала понять, что в этом возрасте в мокрую ленинградскую зиму шанс выздороветь не стопроцентный. С мамой я жил врозь с середины института, к обоюдному удовлетворению, она была недовольна практически всем, что со мной происходило, постоянно повторяла, что я рос многообещающим мальчиком, но всю жизнь только и искал и сейчас ищу, как бы угробить свои способности и возможности, и после смерти отца это ее вторая скорбь. Лику она никогда не признавала и болезнь малыша считала чуть ли не логическим итогом ее — а так как я с ней связался, то и мой — дурной природы и направления жизни. Сказала, что обязательно нужно гулять — из-за кислородного голодания, но не допускать, чтобы в приступе кашля ребенок захватывал холодный воздух, — так что каждый раз, когда он заходил, я бросался по плечи внутрь коляски и, расстегивая свое пальто, его закрывал. Дома же воздух должен был быть влажным, я развешивал на батареях мокрые тряпки и каждые полчаса их смачивал. Кашляя, Женя-Женюра-Евгений наш синел, мордочка становилась довольно яркого синего цвета, от сострадания и боли у нас с Ликой кривились лица, но мы ни минуты не думали, что он умрет. На эти полтора месяца все разбирательства и взаимные претензии бесследно улетучились, и, когда мальчик выздоровел и она снова принялась обвинять меня в искусственности, черствости, высокомерии и прочем, я сказал, что это чушь, что я Даниил Такой-то, и это может быть ей не по вкусу, а она Лидия, и это может быть не по вкусу мне, но обвинять меня в моем даниильстве, а ее в лидистости — идиотство, и, чтобы это понять и не молотить чепуху, не обязательно мальчику заболеть коклюшем. И она меня выгнала.

Совершенно так, как матери, всецело занятые изгнанием опротивевшего мужа, мстительно выгоняют его и как отца их общих детей. Отныне я, если хотел, мог видеть мальчишку раз в две недели, перед тем непременно звонить за подтверждением, приходиться и уходить в обозначенное время — и быть счастливым, если мне звонят и велят явиться тогда-то его попасти. А я к нему привязался. Замечательное существо — не именно он, а племя: младенцев, *дитя* — особенно младенцев. Можно любить, и он любовь принимает: как норму, без осуждений, без требований, без соображений, славный полюбил его тип или дрянной, с представлениями о жизни общепринятыми или вызывающими, и принимает не как ласкаемый котенок, а как совершенный человек, отвечающий или не отвечающий любовью с высшим достоинством: не на любовь и ни по каким мотивам, а только по личному желанию. И любишь его — восхитительно, спокойно, самозабвенно, и тут — все мироздание, между ним и тобой, в ноль-пространстве, ноль-времени, и ничего, кроме этого, за пределами — ни-че-го.

Я привязался к нему, еще как к родственнику, в некотором, а по мне, так в самом прямом, смысле кровному. В конце концов место, откуда он вылез на свет, было мое. Неважно, что *когда-то* было, — это то уникальное бывшее, которое *было да не прошло*. Никакой такой романтики, что супружество, или просто близость, да еще освященная влюбленностью, это, что бы потом ни случилось, навеки — никакой идеалистики, а если и есть мистика, то чуть-чуть. Ибо если соочки полости рта и гортани сохраняют память о всем глотаемом, которая и вырабатывает на целую жизнь индивидуальный вкус к пище, то не может такое специфически реактивное устройство, как утроба, не хранить генную память такого активного агента, как поступающая в нее сперма — тоже, естественно, вся. У Гете, вон, женщина вообще рождает от мужа ребенка, похожего на девицу, в которую тем временем был влюблен муж, и на друга, которого любила сама. Наука, небось, что-нибудь по этой части уже открыла, а если нет, то скоро откроет.

Из родственников мальчик был первым, кого я полюбил. Мама, конечно, была любимая мама, но из-под одеяла, которое она заботливо подтыкала под

меня перед сном, приходилось, пробуждаясь, вылезать, как из-под придавившей плиты. Я был — ее, много, много больше, чем она — моя. Отца да, любил, но я его родней никогда не чувствовал. Отец не *был*, он — *приходил*, всегда откуда-нибудь приходил, с работы, с прогулки, из другой комнаты. Он жил дома, в семье, все честь честью, вбивал гвоздь, заменял перегоревшую лампочку, платил в сберкассе за квартиру — но все это, живя в то же самое время и *где-то*. Разговаривал со мной, с мамой, как с сыном и женой, самыми родными, но также и как с вообще людьми, не изменял своей системе жизни, вообще жизни, ради этого частного случая. Так и умер: шел с мамой по улице, огляделся с любопытством, поднес руку к груди и упал. Бедная мама. Да и я тогда был бедный, только тогда и понял, что любил его, и как сильно.

А родней был мамин брат и все прочие тетушки и двоюродные-троюродные, и не будь они мне родственниками, никакой неприязни я бы к ним не чувствовал, ну, не умный кто-то, кто-то некрасивый пошляк, бездарный: люди как люди. Но они имели на меня свои права, ни с того, ни с сего, за их тупость или уродство я, получается, отвечал. Все были добрые, мамин брат в особенности, советовал, как поступить, чтобы было лучше, спрашивал, не нужно ли денег займы, подмигивал по секрету от мамы в знак понимания, в знак солидарности — например, что я стал жить с Ликой. Подмигивал, а! С чего! Только оттого, что двое людей, которых я даже не знал, исчезнувших из жизни еще до моего рождения, то есть неизвестно, существовавших ли, оказались одновременно его и моей матери родителями? В общем, все, что содержалось во мне, родственные чувства — а я, что бы Лика мстительная ни говорила, не был моральным уродом — тоже пошли на Данилыча.

Родственник он был идеальный, походил на нашу, поскольку походил на все, породу, но в мои дела не совался. Лежал, чмокал, кашлял, гулил. Чем смиреннее я подчинялся выставляемым мне условиям, тем капризней и изощренней они становились и тем злей, иногда до ярости, его мать со мной обращалась. Это был четкий качественный сдвиг в моем к Лике отношении, когда я подумал о ней «его мать»: однажды проснулся, первая мысль слетела в беззащитное еще сознание, как обычно, «он» — как он там? через сколько дней увижу? внимательно ли к нему нянька? что еще выкинет *его мать*? Как щелчок реле в мозгу услышал. Няньку она нашла совсем девчонку, приехала в Ленинград из-под Вологды по набору в строительное училище, но не стены штукатурить, а — свеженькая, высококоньякая, с носиком, с разбитным припевом «всё при мне» — узнать, почем такие прелести, как ее, идут на столичном рынке. Вертелась у гостиницы, та ее заметила — свояк свояка.

И после того, как само собой, без, во всяком случае, сознательного моего участия, обозначилось этим словом, какое место Лике отводится в моей жизни — а именно матери... ребенка, и точки между этими двумя словами помечают мой столь же бессознательный и для меня само собой разумеющийся позыв сказать «моего»: *моего* ребенка — никогда уже не было возврата к прежней между нами привязанности. Механизм известный: тебе внушают, что ты такой-сякой, дрянной, чужой, ты сколько-то сопротивляешься, а потом принимаешь, соглашаешься, и что дрянь, и что да, не свой, а это значит, что *не свои* мы друг другу, и то, что один дрянь, а другой нет, еще большую обнаруживает нашу разобщенность, картина меняется *вся*: ты был, положим, соломенно-желтым, а оказался темно-бурым, следственно, и оставшейся части колер надо подогнать в масть, из, положим, рыжего в синий, и выходит, что — кто другой-то? кто тот, кого звали Лика? — никто, как только «мать ребенка», Лидия Такая-то.

В одиночку такие перемены не происходят, а пусть не одновременно, но обязательно заодно с другими, сходного ранга, одни сопутствуют другим, каж-

дое придает остальным основательности, доводит до степени неотвратимости и непререкаемости. Не изолированно друг от друга, во взаимном развитии, в общем процессе видишь их позднее. Когда я навещал в больнице старуху Мадмуазель — это было лет через пять после моего отлучения от мальчика, но лет монотонных, как на счетчике, с днями, повторявшимися друг друга и слипавшимися, как вермишель, — у нее на этаже в отдельной маленькой палате умирала молодая женщина, совсем девушка, тоже от рака. Не знать этого было нельзя, так она кричала, и все к этому привыкли, и я посещения с третьего поймал себя на том, что привыкаю: так сказать, невыносимо, но терпимо. Палата ее была в специальном закоулке, слепом отростке коридора, невидимом для проходящих. Однажды, когда я уходил, из него появилась пожилая женщина и крикнула: помогите. Оказывается, девушка упала с постели, а она не может ее поднять. Я положил ее на кровать, легонькую, уже не плоть, а футляр для плоти. Исхудавшую; но я видел ее впервые, и видел не болезненно изможденную, а просто худую, очень тонкую женщину. И она улыбалась. У нее был период ремиссии, почему она, стараясь самостоятельно встать, и упала.

Она сказала тихо, но тоже не бессильно, а просто тихо: посидите? Я сел в ногах. Пожилая спросила меня: вы минут десять побудете? — я бы тогда вышла позвонила. Мы остались вдвоем, я смотрел на нее, улыбаясь ответно, иногда отрывая глаза, чтобы оглядеть стены, — так у постели больного полагается, и ничего другого не придумано. Вдруг она ногой под одеялом легонько пихнула меня и сказала: говорите что-нибудь — кто вы такой, откуда, кто у вас здесь. Я рассказал и, опять потому что полагается, спросил — бездарно до стыда, до отращения к себе: а вы? А я — вот... Тогда — только чтобы что-то вслух произносить, — я стал вспоминать, как Мадмуазель водила меня гулять к ипподрому на Звенигородской и по пути учила французским песенкам. «Ле фис дю руа вуз'эт мэшан, вуз'авэ тюз мон канар блан» — сын короля, вы злой, вы убили мою белую уточку. А когда я был на четвертом курсе, а она вышла из тюрьмы, то сшила мне из темно-красного вельвета куртку с круглым отложным воротником, и я стал институтской знаменитостью на фоне бесформенных кофт гимнастерочного покроя и пиджаков, похожих на спецовки.

Вернулась пожилая с другой пожилой — мать и тетка. Я встал, сделал кистью руки до свидания — потому что так ведь обаятельней и веселей, а принято, чтобы было веселей, — и озлился на себя до такой уже степени, что рука заболела в запястье. Она сказала: придете в следующий раз? Я пришел назавтра — чтобы все это кривляние стереть. К Мадмуазель только заглянул, а у нее просидел до закрытия. Мать сразу ушла, я что-то говорил, но с долгими паузами, она почти все время молчала, только слушала. Было очень спокойно. Через день я у нее опять был: сперва у Мадмуазель, стал рассказывать, а она, поигрывая пальчиками, фыркнула смешком: мне уже донесли — и быстро к ней отослала. То, что составляло каждую встречу, за время ее не рассасывалось, а только накапливалось, сгущалось, сидеть в ногах, глядеть и то молчать, то говорить, а точнее, звучать хотелось к концу больше, чем в начале, и я приходил каждый день.

Однажды она поперхнулась, я приподнял ей голову, и, откашлявшись, она поцеловала мне руку. Я ей плечо. Назавтра, прощаясь, мы поцеловались — как целуются, прощаясь, близкие люди. Но на следующий день это было уже по-настоящему — собственно говоря, мы оба и дня-то следующего ждали, чтобы так друг друга поцеловать. Сил у нее почти не оставалось, поэтому поцелуй передавал только нежность и больше ничего, беспримесную — и всю, какая у нее была. И я ответил так же нежно, боясь ей повредить. Она сказала: ах, как жаль, как жаль; а знаете что (на «вы»), положите пальцы мне в уголки глаз, там же есть крошечные каналы внутрь, попробуйте проникнуть, *как будто*, не пальцами, конеч-

но, а тем, что у вас в пальцах есть. И в уши, в глубь раковины, не до перепонки, а за перепонку. И пожалуйста, я вас прошу, мне так этого хочется, нежно-нежно, в ноздри, у самого края, большими пальцами — и внутрь, вглубь, *как будто*. И вот сюда, за зубы, тремя, четырьмя, но не далеко, не дальше десен — кивок головой — вот, довольно.

Я так все и сделал, и с этого дня мы много раз это делали. Я знал, что она имела в виду, и чувствовал именно так, как она говорила. Что-то из меня — а если не осторожничать и не жеманничать в назывании вещей их настоящими именами, то я сам — проникало внутрь и в глубь ее, и постепенно оказывалось, а может быть, постепенно мы научались, что можно не только через все эти отверстия, а и через микронные трубочки потовых желез, сосудики сальных, через — и это было самое острое, потому что не чистое, наслаждение — трубочки молочных, под конец же просто через поры в эпителии. Мои руки не блуждали и не шарили, как блуждали и шарили, бесконтрольно или целенаправленно, по всем остальным, с кем я когда-либо оказывался так близок, и она их, как все остальные, не подталкивала, — а ложились, едва-едва касаясь, и проводили ток, в котором я в нее бесконечно проникал.

Я пропустил воскресенье, это был назначенный мне день встречи с мальчиком. В понедельник, открыв дверь в отделение, я услышал ее звериный крик. Мать и тетка стояли на повороте в закуток, рукой и беззвучными губами показывая мне: туда нельзя — из палаты доносилась возня врача и сестры. Вопль вторялся каждые две-три минуты, я пошел к Мадмуазель, и там его было ясно слышно, она сказала по-французски: уходи, умоляю тебя. Через час я позвонил из дому, в справочном ответили неприязненно: состояние крайней тяжести. Утром — крайней тяжести. Я пришел днем, дал трешку вахтеру, поднялся, увидел в другом конце коридора у столика дежурной медсестры, что-то пишущей, ее тетку, дождался, когда она подойдет, и услышал: «Открывалась наша девочка», — без скорби, с облегчением. У них был мой телефон, позвонили о времени похорон, я пришел в морг, как раз когда ее выносили. Со следами сукровицы под носом и в уголке рта, более желтая, чем серая, изменившаяся, но узнаваемая, а всё вместе — не имеющая к себе, а подавно и ко мне, и вообще ни к чему никакого отношения. Я еще раз всмотрелся, сблизил, но так ничего и не почувствовал, оглянулся на группку собравшихся, не увидел ни матери, ни тетки и пошел прочь. Посередине двора столкнулся с медсестрой, она сказала, что, по-видимому, те не смогли меня предупредить, не дозвонились, сами узнали только утром, вынос перенесен на полчаса позже.

Значит, то была не *она*; дурацкая накладка. Сестра ждала, что я поверну обратно, но я спросил: у них есть кому гроб нести? В недоумении ответила: да наверно... Тогда до свиданья... Вы не хотите проститься?.. Я уже простился... Можно было сказать ей, что нет времени, но она осталась единственная, кому я еще сумел бы объяснить, что такое случилось, кто знал, о ком я говорю. И я стал говорить: она была просто изумительная, знаете, просто изумительная, и наша любовь друг к другу была, какой не бывает, я имею в виду форму, способ; она мне сказала свое имя, но я уже сомневаюсь, так ли запомнил, потому что могу назвать ее еще несколькими и все подходят; мертвый — он все равно кто, и к ней мертвой у меня нет интереса... Сестра опустила лицо в ладони и заплакала. Шел дождь, и мне самому было непонятно, плачу я или нет. Я взял ее за локоть, она выдернула руку, поглядела мне в глаза и произнесла: «У вас что, нет сердца? Вы такой недобрый. А может, и вообще нехороший». В воротах я чуть не столкнулся с матерью и теткой, вильнул за угол, был рад, что успел не им сказать то, что сказал.

Со времени этой истории Лика из «его матери» стала совсем уже посторонней: как одно из затруднений, входящее в самую структуру жизни, сродни, к при-  
3. «Октябрь» № 9

меру, советской власти. Наши прежние разговоры держались на взаимной откровенности, общезначимого сюжета в них не появлялось, откровенность и была содержанием, так что теперь, без доверия, говорить было не о чем: ей — скучно со мной обсуждать то, что ей интересно, мне — еще скучнее слушать. Разговаривали по делу, коротко, и то, что я о ней, не желая, все-таки узнавал, шло из случайной ее при мне телефонной трепотни, из упоминаний мальчика о каких-то дядях да еще от наскочившей на меня в метро уволенной уже няньки с примитивными помойными сплетнями. Все вместе сводилось к «мужики-мужикам» и еще к по полгода готовимым поездкам на неделю в какую-нибудь Чехословакию и Финляндию. «Мужики-мужикам» держало ее в ровном боевом состоянии, поездки — в нагнетаемо взвинченном, и то и другое давало мне лишние возможности видеться с мальчиком. Она устроила его в детский сад на пятидневку, звонила, просила забрать в пятницу, потому что занята, а когда заболел, поспидь с ним дома.

Он много болел и тяжело. Называлось однообразно — аденовирусная инфекция, день за днем температура под сорок, худел до скелетика, блестящие глаза, обметанные губы, а когда жар удавалось на пятнадцать минут сбить, начинал бредить — медведь, крестики, убрать одеяло, папа не вертись, потом вдруг: «Конец. Не могу так», — и, уже успокоившись: «А где Булат Окуджава?». С чего? откуда? Если мать уносило на несколько дней, я его в сад вообще не водил, мы гуляли дважды, трижды в день, в общей сложности часов по восемь, я был фанатик свежего воздуха. Я все время что-то придумывал, чтобы было интересно, он был уверен, что я распоряжаюсь всей жизнью, всего мира, вернее, что вся жизнь — это то, чем я распоряжаюсь. Когда я в спешке насыпал ему в чай соль и он, отхлебнув, сказал «горько», а я «не выдумывай», он проглотил еще, с катыщами по щекам слезами, но не переча, не допуская, что я могу сделать что-то не то, и, уже под лавиной моих бурных извинений и ласк, объяснял, что просто это такой оказался сахар.

Перед летом она спросила, могу ли взять его на весь июль. Единственным затруднением для меня была Мадмуазель, она продолжала умирать, но из Парижа пришло лекарство, наступило облегчение, моя мать перевезла ее к себе. Моя обязанность была ходить на рынок — мог дядя, но мама не упускала подтягивать во мне струну долга, продолжала воспитание. Я попросил у нее *разрешения* уехать на июль, объяснил почему, все чин чинном, почтительно, она моментально ответила, что я *волен* поступать, как хочу, она чужими делами не занимается... и я мгновенно, что это и мой подход: что дела сына для матери могут быть абсолютно чужими и этого не следует стесняться — равно, впрочем, как и матери для сына. Мадмуазель, присутствовавшая, сказала обычное *мэрд* — склоке, нелюбви, себе, ставшей причиной, но направленнее всего мне. Я прямо от мамы позвонил тому самому однокласснику — театральному осветителю, они компанией выезжали каждое лето в Прибалтику, в глухое, по его словам, райское место.

Наш класс, и параллельный тоже, и школа в целом были посредственные: самые заметные из учеников — мастер спорта по велосипеду, два шахматиста первой категории, сын актера из Александринки, но бросившего семью, победитель районного конкурса чтецов-декламаторов, несколько уличных хулиганов. Школьной знаменитостью стал мой одноклассник, всех обыгрывавший в маялку — лохматую круглую тряпичную лепешку в ладонь величиной, с вшитым в середину свинцом, которую, сгибая ногу в колене вбок-вперед, подбрасывали перед собой внутренней стороной ступни в ритме шестьдесят — семьдесят в минуту примерно на высоту роста, пока не падала на пол; на ста остановка. Про него было известно, что он таким образом *нащелкал себе килу* — грыжу. Еще один в шестом-седьмом ходил среди лучших в игре на деньги в пристенок и расшиба-

лу: в конце перемены он залезал в стоявший в углу ящик, где хранились карты и иллюстративные таблицы разнообразных флор и фаун, и там передремывал урок. На этом фоне Саша Германцев выглядел забредшим неизвестно откуда единорогом, принцем крови.

Он проучился с нами один девятый класс. Высокий, стройный, прямая осанка, спокойный взгляд, то есть уже и на невооруженный глаз — чужак, но в довершение он еще не больше не меньше как обращался ко всем на «вы»: к велосипедисту, и к жителю ящика, и к будущему осветителю, как будто нарочно, доводил этим почти до корчей. Чемпион по маялке сразу взялся подраться с ним, дождался его во дворе после уроков, по заведенному канону пихнул в плечо, тот перехватил руку и стал в боксерскую стойку. Что-то было в этой стойке необычное, не техническое, не агрессивная изготовка к схватке, а скорее фиксация момента, с которого начинали *боксировать* в какой-нибудь английской таверне. *Партнер*, матерясь, бросился на него, был встречен прямым ударом в подбородок, рухнул кулём, Саша немедленно оттащил его, прислонил к стене, попросил нас расступиться, расстегнул на нем рубашку, ремень, пару раз хлопнул по щекам и минут через пять повел, полувзвалив на себя, домой. Как в кино.

Когда мы сошлись, первое, что бросилось мне в глаза и на время установило в наших отношениях его старшинство, были ясность и естественность, отличавшие его соображения о своей персоне от моих о своей. Он говорил о своей исключительности открыто, но эта исключительность была не качеств, доставшихся ему, а судьбы, и судьбы не как жизни, выдающейся среди других невыдающихся, а как увиденной не просто жизнью, а судьбою и именно этим выдающейся. А я — не то чтобы я думал о себе, но, не думая, жил — с мыслью не мыслью, грезой не грезой — об особости, отдельности и предопределенности моей судьбы. И когда Саша однажды сказал, что хотел бы, да не может разделить общую участь ровесников, одноклассников, мальчиков с его двора и улицы, потому что знает про себя, что он *предназначен*, я был мгновенно этим пронзен и в ту же секунду подумал: и я *предназначен*. Ни к чему я не был *предназначен*, но само слово, не говоря уже о вставшей за ним установке, вывело оценку себя на другой уровень, под другим прицелом, в другой перспективе.

Он ушел потом в школу рабочей молодежи, поступил в Политехник на закрытый факультет, ушел, стал давать уроки, подался не то в кочегары, не то в дворники, мы несколько раз натыкались друг на друга на улице, но разговор получился только однажды и натушный. Он рассказывал, причем нехотя и потому неубедительно, мутно, об эмиграции во времени, конкретно в Серебряный век, это звучало настолько разочаровывающе мелко, литературно, настолько необъяснимо мельче обещанного в юношеских словах о предназначенности, что я огорчился ненадолго, а потом бесстрастно проводил его уменьшающуюся на глазах фигуру в акмеистическо-символистский, или какой он там воображал себе, айд. Стоило ради этого уже сейчас нырять в жерло котельной!

Я позвонил осветителю, выслушал известный наперед набор шуток, не его собственных, а общепринятых, не смешных, а посмеивающихся, технических, призванных как камертон обозначить, что разговор идет в дружеской тональности, выслушал анекдот с грузинским акцентом и, наконец, выгодно оттененное этим легкомыслием, хотя получившееся потому неестественно серьезным, описание прибалтийского места. Но в этом случае мне и нужно было срединно общее, проверенное, устоявшееся в круге на чем-то столкнувшихся людей, как вода в неглубоком пруду, — а тинный запашок только приятен *надежностью*. Место было в Эстонии, рыбацкая деревня на заливе, на запад от Таллина. Молоко, рыба, магазин, сосновый лес. Они выезжают туда уже три года, сложилось ядро, в основном, из тех, кого я знаю по школе — он перечислил несколько имен-фамилий, — кто-то возникает и случайный, на один сезон, но деревня ма-



ленькая, дома сдаются считанные, и их компания заинтересована, чтобы были свои. Прошлым летом месяц жил — ты должен его знать — писатель, который, говорят, про тебя написал, насчет туннеля, а в первый год, как они приехали, Смоктуновский, представь себе. Так что место не вполне заурядное, неизвестно-известное и со своим духом, но мне — он, осветитель, уверен — конечно, будут рады. «Несмотря на прошлое».

Прошное заключалось в том, что школа была мужская, с полуказарменной-полулагерной атмосферой, и тем более густой, чем старше класс. Одним из любимых, например, развлечений на «свободном», то есть когда учитель заболел, уроке было в дюжину рук вытащить из-за парты одного, принести его отбывающегося на учительский стол, здесь «разложить», расстегнуть штаны и провести по члену пальцем в чернилах. Я был в классе на особом счету, у меня списывали, я подсказывал, не говоря уж, что не скрывал, что предпочитаю держаться на дистанции, но дошла очередь и до меня — главным образом, из любопытства, как я себя поведу. Приступили поэтому без обычного веселья, как-то сдержанно и с некоторой неловкостью, а так как я не сопротивлялся, то подняли, совсем уже без пыла, чуть ли не строго, на плечи, понесли, у меня же при этом ни на миг мига не возникало мысли, что у них со мной может получиться, им, надо думать, это передавалось, так что, когда поворачивали к столу и я ударил ногой в окно и посыпалось стекло, меня с облегчением спустили на пол, повторяя на разные голоса единодушное заключение «псих — чего психа трогать».

В дачной команде, не считая осветителя, было еще двое из нашего класса, один из параллельного, все с женами, и один из соседней школы, с возлюбленной. На всех — семеро детей, плюс четверо подростков, чьи-то племянницы-племянники, их называли, кокетничая, «молодежь». Плюс тот самый поэт, что сидел за столиком в Доме кино после «Андрея Рублева», задумчивый, но приветливый; одинокий. Его пригласили сообщить, уклон в компании был отчетливо гуманитарный: филолог, и женат на филологичке, один окончил исторический, один философский, оба преподавали в педагогическом, и жены учительницы. Из параллельного — был генетик, подруга — атомщица, оба, естественно, спортивные, постоянно посмеивающиеся, в том смысле, что технари, но кое-что кумекаем. Еще примыкала пара, он врач, с где-то виденным, как, впрочем, часто кажется про врачей и милиционеров, лицом, она геолог — это удача, когда летом в деревне свой врач.

Пляж был огромный, собирались, однако, в одном месте — из-за детей, но также и проявить общность, и ощутить ее, и проверить. Все время, с перерывами на общее купание, шел разговор, главным образом, женский — безотчетный. Вдруг начинали расспрашивать *молодежь* — про травы, какая какая, про звезды, про жизнь, про всё. Те отвечали толково и мило, взрослые выражали изумление и восхищение, показывали друг другу глазами, мол, какое поколение растет. Врач и геолог многого из того, что обсуждалось, не читали, но он умел *купировать* насморк, а она быстро развести костер: спорили, когда их не было, что важнее, книжность или практическое умение, — с неприязнью к книжности, декларируемой книжными людьми. На соседнем хуторе волк зарезал несколько овец, продавали баранину по рубль-сорок: можно есть, нельзя? Врач сказал, можно. А перед овцами что, совсем никакого чувства вины? Генетик захохотал, одна из племянниц заплакала, ее тетка, учительница, бросилась утешать — до вечера и назавтра обсуждали, где начинается-кончается чувство вины. Долго споря, энергично собираясь, меняли место, солнце на тень — и через двадцать минут тень на солнце. Последнее слово говорил всегда поэт, нежным голосом, немного улыбаясь. Последнее не по звуку, напротив, после него начинали по виду жарко возражать, но всё сводя к тому, что он сказал. Признаюсь, я чувствовал, что мне уютно: бессодержательность, наивная фальшь, наивное признание

достоинств другого и всех вместе, возвышающее тем самым твои собственные, даже невежество, проявляемое в важности или в восторженной банальности, были той же природы, что покой, шум моря, безделье, промываемый-прочищаемый птичьим свистом утренний воздух, и похожее повизгиванье-посвистыванье стирки мальчиговых простынок, и такое же — размокших от стирки пальцев.

Мне нравилось, что мы *все вместе*, что я, наконец, вместе со всеми, часть жизни, не отдельная, наконец, от общей, а включенная в нее, что эта жизнь оприходуется, к примеру, то, что я замечаю в ней как бессодержательность и фальшь, наравне с самими бессодержательностью и фальшью. А если бы и не нравилось, мальчик не мог с этим не примирить. «Папа,— говорил он, и не было ни разу, чтобы он сказал «папа» и я на мгновение не умилился бы тому, что я его папа,— анютины глазки — цветок познания добра и зла». «Почему?» «Потому что, когда я сорвал его, мне стало страшно». Его тянуло задавать вопросы про Бога и про веру, в лесу он мог остановиться и произнести торжественно: «Сосны, не качайтесь... Нет, усомнился». Он был сразу принят в детскую стайку, вместе с молодыми они готовили дачный спектакль, ему дали роль принца, потом объявили — когда счастливого, я тащил его под мышкой к пляжной шати-братии,— что не принца, а пажу, он вздрогнул, не заплакал, отошел к воде рисовать палочкой на песке и, когда я остановился около, подвел итог — изображению ли или всему случившемуся: «Все-таки это неплохо для первых шагов по пути искусства».

Я мог бы проводить время с ним одним, шутить, говорить о поэзии. «Я так чувствую стихотворение или песню,— признавался он,— например, «Колокольчики мои» или «Слава тебе, безысходная боль», как будто я — этот юноша или мальчик, или жена дровосека, что прямо словно оказываюсь в раю». «Пардон,— сказал он после того, как я прочел ему «Воздушный корабль»,— но Лермонтов был лучше поэт, чем ты». — С чего ты взял, что я поэт? — «С Руслана и Людмилы». Во время очередной его болезни мы читали «Руслана», дошли до боя с Рогдаем, я увидел, как сморщилось у него личико, быстро сказал: подожди, есть другой вариант — и в коридоре навалил благополучный конец. Когда позднее я рассказал ему о распятии Иисуса, он помолчал, потом спросил, без надежды: «А другого варианта нет? Может, вспомнишь в коридоре?» Он очаровательно рассказывал: «Бабка в красном платке вопила, что эстонская бабка не спасла ее корову, потому что она напустила на ее куриц своего кота». И когда я учил его плавать и подтрунивал, что у него голова погружается в воду быстрее ног, он возвращал: «Ты тоже унижаешься, когда плывешь — вниз-вверх, вниз-вверх».

Стычек с детьми у него было не больше, чем у других, но мне казалось, для него они болезненнее. Затевали играть в «пятый угол», вставали в круг, принимались толкать его от одного к другому — потом рассыпались, потом снова сходились, и всегда в центре был он. Я спросил по пути домой: что они с тобой делают? — он ответил: бьют меня, бьют, — обыденно, как будто понимая, что таковы правила совместной жизни. Взрослые тоже причиняли ему боль, походя: жена филолога собрала вокруг себя детей, стала выдумывать для них историю, сказала, что видела такой фильм «Злое сердце короля и добрая сила Бога», что-то такое «терпи три дня, и он из жестокого станет ласковым», и потом бесконечные смерти детей и родителей друг от друга. Ее дочка сказала умоляюще: «Маменька», — такой стиль был семейный, а отец, загоравший рядом, пошутил на публику, передразнив нарочито грубо: «*Маменька, маменька, врежь ей пряменько*», — и я перехватил растерзанный Женин взгляд.

Филолог был в команде номером первым. В своем Пушкинском Доме он занимался своим пятнадцатым веком, но, кроме того — и об этом упоминалось с особой серьезностью, — писал исторический роман, каждое утро, как он гово-

рил, *работал*, выходил на пляж позже других. Он дал мне главу прочесть: князь-кормленец, сокольничие, кравчие, румяная боярышня, умеренное славянофильство — не без кокетства, но также не без изящества и остроты. На изящество и остроту я и налег, когда отчитывался о впечатлении, — и не лицемерил, потому что филолог был мне в общем симпатичен, и частности не симпатичные могли уложиться в процент погрешностей, которым пренебрегают. Наша рознь поначалу и на рознь не тянула — так, дачная пикировка. Под радиодиктовку разыгрывали очередную партию Спасский — Фишер, и он объявил: «Болею за Спасского, по принципу: за своих». Я сказал: «А я за Фишера, по тому же принципу».

Потом поэт пришел с известием, что из той деревни, где волк напал на овец, знакомые дали знать, что к ним приезжает на неделю Виктор Некрасов; надо бы его навестить, на первый раз пусть только мужской половиной, и не всей, а, скажем, поэт, филолог и я. Мне оказывали честь, и, по выражению некоторых лиц, воодушевленных и посерьезневших от значительности события, незаслуженную. Я сказал, что определенно останусь с женской половиной, на общее недоумение ответил: «Был бы Красов, другое дело. — И не удержался, добил стишком: — Не гляди поэту в очи, не внимай его речам...» — мол, каламбур не случайный. И еще разошелся я со всеми из-за книги мандельштамовской вдовы — привез генетик, все прочли, и «Надежда Яковлевна» не сходила с губ. Я решил молчать, но у молчащего у первого спрашивают. Я сказал осторожно, минимум того, что имел сказать: «Ну, не сам же Мандельштам, ведь так?» — и получил сполна. Филолог сказал, что, а возможно, и лучше Мандельштама, историк — что определенно лучше. Вся эпоха на ладони. А что я так ношусь со своим Мандельштамом? Несколько десятков стихов, хороших, иногда очень хороших, но давай не путать поэзию с личной судьбой — это поэт сказал. И все: вот именно, тем более что сам, своими руками устроил и ссылку, и лагерь, а всё, если дурака не валять, от невыносимого характера и не больно великого ума. И ведь стихи от страданий не стали гармоничней или проникновенней — это опять поэт.

Я не возражал, лежал лицом в песок и слушал. Лежать на солнце лицом в песок под шум волн и детские голоса — удовольствие, близкое к дреме и допускающее даже выслушивать абсолютно неприемлемые вещи и не отвечать. Отозвалось это через несколько дней, на веранде у генетика, самой просторной, где мы сидели попивали болгарский рислинг, а дети играли в доме. Хозяин сказал: «Королева Виктория состояла в постельных отношениях со своим дворецким и с официантом-индусом», — вне всякой связи с общей болтовней, просто так. Было холодно, мозгло, шел дождь, болтовня была вялая, вино кислое. Все поулыбались. Я сказал — тоже улыбаясь: «Странно, что такие слова — произносятся индивидуальным голосом. Это же как точное время по ноль-восемь, набираешь две цифры, и — королева Виктория, дворецкий, лакей-индус». Тишина первые секунды укладывалась в медлительность предшествовавшего разговора, но тотчас перешла в томительную, а через минуту стала тишиной после ссоры и даже разрыва. Филолог первый заговорил: «Дачники живут скученно, тут главное — дружелюбность. Тебе не по вкусу наша трепотня, а кому-то — то, что тебе это не по вкусу. Если я пишу роман, остальным он должен нравиться еще до того, как прочтут». Он оглядел всех весело, излучавшим расположением взглядом человека, уверенного в расположении к себе. Я сказал: «Это как раз вызывает мое уважение — то, что у тебя нет иллюзий насчет романа». Поэт, все еще приветливо, разве что голоском пожестче, чем всегда, отозвался: «А что, я не вижу, тут плохого? Королева, индус. Это просто стихи». Я сказал: «Ваши. Королева, официант, и в спальню забегает левретка, вот эта самая поэзия». «Данила, ты что такой злой?» — проговорил осветитель — с нормальной живой интонацией, и все, включая меня, так ли сяк ли рассмеялись. И когда замолкли, я еще раз рассмеялся — тому здоровому инстинкту самосохранения, который нарывом, вызы-

ваемым ради того, чтобы вскрыться, исторгает из тела занозу. Мой смех был чистый, все это почувствовали, и на данный момент я был прощен.

Заговорили о визите к Некрасову, его назначили на завтра, и я на той же волне веселости, примиренности, облегчения закричал петушиным дискантом: «Если я не вовсе исторгнут из ваших сердец, о, возьмите, возьмите меня с собой!» — и был взят. Некрасов, оказалось, приехал с другом, композитором, разрешенным к исполнению на Западе, но запрещенным у нас. Мы явились, когда все уже сидели за столом, человек двадцать, и, наверное, давно уже пили, потому что один спал, лежа лбом на скатерти. Застолье вел композитор, это его были и выпивка и закуска из валютной «Березки» — выделенность Некрасова выражалась тем, что композитор, будучи фигурой центральной, постоянно к нему, почти к одному обращался — уже как центру не этого случайного собрания, а некоего общечеловеческого. Обращался, главным образом, за подтверждением эпизодов из их совместной прежней жизни, дружбы, приключений, в которых композитор опять-таки играл центральную роль. «Помнишь, Витя, — сказал он, когда стемнело и зажгли свечи, — мое сорокалетие, когда вдруг, как гром среди ясного неба, появился дядя Игорь?.. (Стравинский, — объяснил он публике апарте, под сурдину.) Были кто? Ты, Булат с Олей, Фазиль с Тоней, Андрей с Леной (Сахаровы), Дзизик с Лялей. Кто еще? Да, Луиджи (Ноно. — И прибавил: он тогда от итальянской компартии приехал), Тер (Тер-Ованесян, олимпийский чемпион, энциклопедист), Васька (Аксенов)... Вить, с кем был Васька?» Совершенно неожиданно поднялась лежавшая на столе голова и, белоглазая, набрякшая кровью, произнесла: «С Петькой».

Это и запомнилось. Через день принесли телеграмму от мамы, в больнице умерла Мадмуазель, надо было ехать на похороны. Я пришел к филологам, спросил, возьмут ли они на два дня Женю. Спросил, честно говоря, формально, настолько считал это само собой разумеющимся: он у них, а их дочка у нас и так по полдня торчали. Ответ был — нет, и решительный, как будто приготовленный загодя. *К сожаленью, нет.* Можно бы и без объяснений, но поскольку мы друг другу люди не случайные, то: он работает, как бы я к его работе ни относился, а у него гипертрофированное чувство ответственности и такое же вины — просто если всего лишь в поле ее внимания что-нибудь не так. Я полулежал в кресле-качалке, стая птиц внезапно промчалась в пасмурном окне от моей головы к ногам над большой березой, как будто упала ее черная крона. Через мгновение выкатилось заходящее солнце, окрасило вершинку в нежную зелень, все остальное осталось в неразборчивом сумраке, и вдруг это стало значить, что я прямым, не отраженным в сознании взглядом достигаю того же, чего достиг бы описанием увиденного. Я сказал, что доводы их понимаю помимо логики и... и... тем самым принимаю.

Нам с мальчиком оставалось еще десять дачных дней, надо было вызывать кого-нибудь из Ленинграда на время моего отъезда, на пару суток. Но, меньше чем за минуту перебрав в уме, кого конкретно, я понял, что в том-то и дело, что некого, самый-самый реальный был Кирилл Сергееч, и я знал, что он с полуслова ухватит ситуацию, вынуждающую меня просить его, отнюдь не близкого мне человека, и приедет, и попросить мне его было не неловко, но уж больно громоздкой и драматической выходила тогда такая легкомысленная вещь, как летний отдых. Я решил поехать вместе с малышом, а на всякий случай и со всем багажом, мало ли что подвернется на остаток срока, и тогда возвращаться сюда специально за вещами было бы нелепо. «Пришлешь человека — получишь вещи», — как на днях вернулся передать слова отца шестилетний сын философа, посланный мной за забытыми у них Жениными курточкой и сапожками. Да и в любом случае это было бы *фигурой возвращения*. Я огляделся — на дюны, на шум моря, на сосны, на угадываемый между ними черничник, и мне стало прон-

зительно грустно от этого уезжать, как будто тянуло от самого места, даже в тот момент, когда ты еще в нем, по нему ходишь и на него смотришь, тоской по нему.

Еще надо было объявить об отъезде, да так, чтобы не вышло *фигуры отъезда*. Утром я сказал мальчику, что мы уезжаем на два дня, и с этим отправил к обществу. Сразу явился женский персонал — пригласить на обед, на ту же генетикову веранду; и не помочь ли сложиться? Я сходил в магазин за водкой, они уже хлопотали на кухне, уютные молоденькие тетушки в ненастный день. Раскатывали тесто, сбивали колотушкой чернику, отделяли часть на начинку, часть на мусс; резали картошку, овощи, разделявали селедку; зарядили духовку пирогом, конфорки кастрюлями и сели, все и сразу, пока булькает, раскладывать пасьянс — профессионалки-хозяйюшки. Пасьянс «могила Наполеона», а как пошло на плите поспевать, стали давать друг другу пробовать, с ложки, с кончика ножа — и успевали докладывать карты, всё это с улыбками друг другу, с милыми шутками, с весельем, которое я — и они, конечно, тоже — видели у Рубенса, у Брейгеля, у голландцев, французов, итальянцев, на школьных экскурсиях в Эрмитаж, в альбомах «Скира» и «Риццоли». Дачные живые картины, прелестные — с единственной, правда, мрачной, не написанной ничьей кистью: «Наполеон раскладывает пасьянс на острове Святой Елены».

За обедом первый тост — «за дружество, за наше дружество». Благорасстворение воздуха, радостное, ясное, ни малейшего шажка, ни малейшего намека заговорить о необъяснимости решения на два дня тащить ребенка туда и обратно. Не мешать же человеку быть сумасбродом, если он, например, такой сумасброд. Мы тебе поможем, вещи донесем до автобуса, и с тобой в Клога-Леве, откуда автобус на Таллин, поедет, и в Клога-Леве еще в баре выпьем. А сейчас — ха-ха-ха, а кто не хочет, то неха-неха-неха — выпьем за Клога-Леве, за кусок мяса, который лежит посредине Клога-Леве, за могучий пролетариат Клога-Леве, за то, чтобы в Клога-Леве провели трамвай!.. И так, всей гурьбой, с детьми и молодежью, идем на дорогу и только подходим к остановке, как ниоткуда появляется такси: садитесь, товарищ. Сколько? Столько-то. Не пойдет. А ваша цена? Полстолько. Это ваше последнее слово, товарищ? Последнее. Не пойдет; а впрочем, если вы так решительно уходите — грузите вещи, товарищ. Обнимаемся, целуемся, ни слова о возвращении после-послезавтра: просто ха, а кто не хочет — неха.

А чего ты ждал? Что ты будешь вести себя, как тебе нравится, а они — как нравится тебе? Я поймал себя на том, что они мне милее с установкой на чувство вины притворное, за проступок неосуществленный, с последовательным исполнением этой установки, с определенностью «мы такие», чем если бы пошли на мои условия, стали бы мне подыгрывать. Это они, а не я взяли на себя не очень-то приятный труд снять двусмысленность моего положения. Хочешь быть чужим — будь. А ведь на том, что чужой, я стоял не столько перед ними, сколько перед самим собой. Они, во всяком случае, были тверже меня, когда проявляли твердость, а когда мягкость — то гораздо мягче. Я был неприятен им еще и нечеткостью душевного чертежа. В день моего приезда, когда все собрались у нас, на участке внезапно появился человечек, я еще не знал, член он их компании или нет. Оказалось — нет; оказалось, чужой, совсем, в прямом смысле слова. Он стремительно побежал по участку к калитке, выводящей на дюну, крича в отчаянии: «Могу я пройти на море?» — с акцентом, но не эстонским и вообще не отождествляемым. Смысл был: вы не можете не пропустить меня! «Я потерял остальных музыкантов, зашел в туалет и потерял». Никакого такого туалета (который он произносил «toilette») в деревне не было, это просто значило, что он отошел в кусты. Он увидел Женю в ярком комбинезоне и воскликнул: «Дети и искусство — вот что никогда не врет! Искусство и дети. И животные!»

Через несколько минут со стороны кладбища донеслись звуки труб, и мы поняли, про что он говорил.

Он вторгся, но не нарушил целостности и равновесия мироустройства — конкретно нашего дачного, а потому и всего. Он сказал, о чем его не просили, он сказал банально, но его навязывание себя и своей банальности было органично — для всех столько же, сколько для него. Да в том-то и дело, что это только я усматривал тут вторжение, непрошенность и театральность, только в моем представлении они могли нарушить некий порядок, который, следовательно, я один как порядок и воспринимал. Для остальных порядок был — они: их личности, установки, интересы, их единство, включенное в еще большее единство, а то — в общечеловеческое, и потому без рассуждения — а поделись я с ними своим, то с недоумением, о чем тут рассуждать — включающее в себя человека, потерявшего оркестр. А я, стоящий в середине их доброжелательной группы, окруженный их дружелюбными лицами, ставил под сомнение все концентрические кольца единств, начиная именно с ихнего, и даже если бы я никогда ничем себя не выдал, свою принадлежность к ним как единству имитировать я все равно не мог. Они ведь не требовали от меня говорить «хайль» и выбрасывать руку — что было бы или нетрудно, или невозможно и в обоих случаях не свидетельствовало о принадлежности, — а *разделять* то, что у них было *общего*, делало их *общностью*, и я — разумеется, не уникам, не исключением, разумеется, зная не хуже других, что *принадлежу*: времени, поколению, месту, компании — разделять эту принадлежность *добровольно* все-таки был не в силах.

Наутро в вагоне стал бриться, сел за столик и в зеркальце, прислоненное к мильнице, ловил глаза мальчика, а он мои, мы делали друг другу рожи, как вдрог от толчка поезда оно соскользнуло, легло плашмя: лицо исчезло, мое, его, крушение, испуг — но рука продолжала водить бритвой по щеке, взгляд — упираться в отражение, отражением стал мелькающий заоконный пейзаж, и его, получалось, я брею. Крушение, но без жертв и даже с прибылью, а главное, одним мною замеченное. С вокзала поехали к Кириллу Сергеичу, и увы и ах, он утром уехал, день солнечный, в Зеленогорск — это соседка сказала. Не очень приветливо, однако и не враждебно. Мы постояли, поглядели друг на друга, она — еще на багаж и на Женю, я наконец сказал: вещи возьмете? до вечера? — и мы перетащили сумки к ней. Мальчика, выходило, надо взять с собой, к моргу. Ну что ж, я был примерно как он, когда впервые увидел Мадмуазель.

Маму передернуло, физически, когда она нас увидела. Я подобного ожидал: явиться *на похороны*, на похороны *Мадмуазели*, явиться *перед родней и матиными подругами* с... с вы... с... неизвестного помета, с — кого и не объяснить, кем приходится, — оскорбительно, вызывающе, а что я мог сделать? Она резко отвернулась, мы с мальчиком остановились в воротах, в эту минуту кто-то взял меня за локоть — та медсестра. Теперь уже с ней — постояли, посмотрели друг на друга, на него, и она проговорила, без звука, движением губ, мне: хотите, я его заберу? Я сказал ему: слушай, дай этой барышне руку, а? погуляй с ней, а я через пятнадцать минут приду — и он дал. Она сказала: «Я только прошусь, сию минуту буду назад». Побежала к моргу, Женя спросил: а она кто? — я ответил: медицинская сестра, — ему оказалось достаточно. Она вернулась, он опять взял ее за руку, отпустил мою, она спросила его: а хочешь, погуляем, потом ко мне в гости? и папа туда придет. И он, как будто что-то понимая, и понимая, что так будет лучше, кивнул: да. Она написала адрес, я пошел через двор, а они на улицу.

За чудесное избавление от неприличия, к которому все остальное: немедленный приезд из отпуска, чинный приход вовремя, растворение среди собравшихся — только подверсталось, мама сменила гнев на нежность, взяла меня под руку, и в автобусе мы сидели рядом, и у могилы стояли вместе. Мадмуазель

очень изменилась в гробу, опять я бы не признал покойницу, старушонка на одно лицо с другими — но на этот раз я видел ее не до и после смерти, а несколько «до» и несколько «после»: до войны, после лагеря, до того, как я стал юношей, но после того, как подростком, до института, до болезни и после, и после, и она всегда была другая. Редкая птица залетела в нашу семью — однажды она спросила меня: ты что сейчас читаешь? — а я читал «Мефисто» Клауса Манна, в «Иностранной литературе», и она воскликнула: и я «Мефисто»! — и извиняясь: но я галлимаровского, в переводе. Она была уверена, что, сказав «читаю “Мефисто”», я мог иметь в виду только то, что написал Клаус Манн, то есть саму немецкую его книгу. «Я видела его в Париже, — прибавила она, — я служила няней у одних немцев, и он туда приходил. Его заслоняло имя отца, а дяди он был, безусловно, талантливее, я видела и дядю. А знаешь, может быть, он не убил бы себя, если бы я не уехала в Россию: он сделал это в *Канн*, а я ведь из *Канн*, и он мне нравился, я могла бы стать ему сестрой». Когда гроб брякнул об дно могилы, я вытер слезу: ей теперь долго-долго, под всей Европой, предстояло пробираться в *Канн*, к Франции милой, где славу оставил и трон.

Медсестру звали Зоя. Она спросила, не нужно ли мне оставить Женю у нее на ночь, она жила в однокомнатной квартире вместе с мамой, но мама была на даче. Сказала: вы тоже можете остаться, мы разместимся — и показала: тут, тут, а тут раскладушку. В этом было только сочувствие, никакой двусмысленности, намек — я видел. Ей было, наверно, сколько мне, невысокая, с тяжеловатой поянницей, с толстоватыми ногами — не хорошенькая, но свежая, крепкая. Она мне не нравилась, но я понимал, что она *приятная*. Двусмысленность и намек были не в ней — во мне, тем более что на поминках я выпил, а это лишнее для того, кому дают приют. Я объяснил, что надо забрать вещи, позвонил Кириллу Сергеичу, подошла соседка, я сказал, что еду. Поблагодарил Зою, мы пожали руки, она наклонилась к мальчику поцеловать, он ее обнял за шею и тоже поцеловал.

Пока ехали, прибыл и Кирилл Сергеич. Я был очень усталый, он сразу предложил: ночуем здесь — тут, тут, и раскладушка. Перед сном я ему все рассказал, он воодушевился: будем ездить в Зеленогорск, там есть комнатка, снята до осени. Без печки и сортир во дворе — ему удобнее было возвращаться на ночь домой да и наезжать туда только в хорошую погоду, но мы, если захотим, можем поселиться: море рядом и столовая рядом. Так мы прожили до конца июля, пока не вернулась Лика.

После третьего класса Женя переехал ко мне. Двадцатого июня, в день окончания школы десятиклассниками, устраивались выпускные балы, но это ближе к ночи, а прежде них, к вечеру, начиналось городское гулянье. Милиция перекрывала для транспорта Невский, и посередине его в обе стороны бродили толпы молодежи. Вечер был солнечный, я в этот день Женю пас, мы решили тоже пойти на проспект, поглазеть. Когда были около Дома техники, от Садовой донесли крики, стали приближаться, бежала группа парней, а впереди всех негр, того же, что они, возраста, — они за ним гнались. Негр в Ленинграде, да еще в таком, можно сказать, свободном обращении, был тогда невероятной редкостью, экзотикой. Прямо возле нас они его догнали, схватили, стали заламывать руки. Это было уже за пределами воображимого: хватал негров и крутил им руки, все знали, ку-клукс-клан, в Америке, а мы, наоборот, готовы были за них жизнь положить. Преследователей стали расталкивать, но те объяснили, что пять минут назад этот негр, пьяный — и тут мы увидели, что он в самом деле пьяный, и крепко, — ударил по лицу капитана первого ранга, выходявшего из «Европейской» с дамой. Капитан почему-то мгновенно сел в такси и уехал, даму случившаяся на месте милиция повезла на мотоцикле в отделение, негр же бросился бежать, а они его догонять.



Толпой уже большой, с негром в центре, гуляющая публика потянулась в милицию, в 27-е отделение, угол Садовой и Ракова, в квартале от моего дома. Мы с Женей, праздные зеваки, тоже. Когда подошли, народ клубился внутри арки и вокруг, яростно споря. Спор был далек от конкретных обстоятельств случившегося, в аккурат как небо от земли, дело шло, как в афинском ареопаге, о ситуации классической трагедии, о сшибке двух идеальных субстанций: жертвы абсолютного зла, вызывающей таковое же абсолютное сочувствие,— и чести мундира, олицетворяющей офицерскую, то есть опять-таки абсолютную, честь. Бегство капитана к этому времени объясняли два слуха: что он сошел на берег тайно, из романических побуждений, а должен был находиться на борту готовой к отплытию подводной лодки, которой являлся командиром; и что он не капитан, не первого и не ранга, а аферист. Два слуха прошло и о негре: что он приехал в составе финского джаза, а финны, сами знаете, как пьют; и что он учится у нас в секретной школе, готовящей шпионов, а сегодня единый выпускной день для всех школ на территории Советского Союза. Еще летал глухой слух о даме, невероятной красавице, из-за соперничества за которую весь сыр-бор и разгорелся.

Жене очень хотелось увидеть, как ведет себя негр в милиции, мы прошли под арку, открыли железную дверь и оказались в большой приемной с дежурным лейтенантом за стойкой, с дверью в кабинет начальника отделения, проемом уходящего в глубь коридора, а прямо против нас располагался накопитель задержанных, отделенный от общего помещения решеткой. Там, как в зоосаде, лежало и сидело на длинной скамье и около нее с десятков пьяных и среди них наш молоденький дядя Том, обхвативший руками лоб и виски, раскачивающийся и подвывающий заведённо: «Голява! голява!» Лежащее рядом с ним ничком тело на каждое восклицание так же заведённо откликалось: «Убью!» — не шевелясь, не видя, от кого идут жалобы, и не интересуясь этим. Вдруг дверь рывком распахнулась, в комнату влетел милицейский майор, лейтенант вскочил, забарабанил: «Товарищ начальник...», тот схватил со стойки ключ, открыл дверь решетки, выдернул негра, быстро прошел с ним к своему кабинету, у двери развернулся, вперил в кучку любопытных, в частности, в меня и Женю, страшный взгляд и, как дракон, выдохнул: «Все вон отсюда!» Мы ринулись к выходу, но в этот момент из коридора вышел еще один милицейский чин — поддерживая под локоток даму и до некоторой степени любезничая с ней — оба посмеивались. Дама была Лика. Майор рявкнул: «Ко мне!» — все четверо исчезли за его дверью. Женя ее увидел, уткнулся лицом мне в живот, обхватил руками. Мы выкатились на улицу и стали ждать.

Она вышла через десять минут, с изумлением на нас поглядела, двинулась в сторону Инженерной, мы за ней. Походка была нетвердая, у Замка оглянулась на шум машины, махнула рукой, та остановилась, она стала садиться, повернулась к нам, сказала: завтра увидимся, завтра; тогда и поговорим — и уехала. Мальчик не плакал, но весь *трепетал*. Я сказал: вот что, я всё понял; мама работает в «Интуристе», «Интурист» в гостинице, шла мимо, а тут драка, попросили дать показания, с утра на ногах, ужасно устала, торопится наконец домой, вот и всё. Он прошептал, не поднимая головы: ты ничего не знаешь. Я засмеялся: если негр будет пойман, его уведут — на невольничий рынок Ходейды в цепях; закурив папиросу, вздохнет капитан: «Слава богу, свежо! Надоела жара!»; это написал еще Гумилев, а ты говоришь, я ничего не знаю. Я стал читать «Капитана Боппа» Жуковского, «На корабле купеческом Медузе, который плыл из Лондона в Бостон, был капитаном Бопп, моряк искусный, но человек недобрый»: что помнил — наизусть, пробелы пересказывал. Это стихотворение энергичное, понемногу захватывающее, «вдруг занемог опасно капитан, над кораблем командо принял штурман». Мальчик стал успокаиваться, вскоре только слушал.

Капитан, всеми брошенный, валяется на койке, команда злорадно ждет его смерти. В каюту входит юнга Роберт. Роберт, объяснил я Жене, сокращенно Боб, как бы тезка капитана. «Больной сурово отвечал: тебе — какое дело? Убирайся прочь». Юнга терпеливо это сносит раз и другой, предлагает что-нибудь почитать вслух. Кроме Евангелия, книг нет. «Сядь, Роберт, здесь; читай; я буду слушать.— Да что же мне читать вам, капитан? — Не знаю, Роберт; я ни разу в руки не брал Евангелия; читай, что хочешь, без выбора, какое попадется». Чтение трогает капитана, постепенно. На какой-то день он встречает юнгу стоном: «Ах, Роберт, я погиб, погиб навеки». Он просит мальчика помолиться за него. Тот знает только Отче наш, но попробует — как Бог на душу положит. «Стал на колени и, сложивши руки, в слезах воскликнул: Господи, помилуй Ты моего больного капитана... Он говорит, что быть ему в аду,— Ты, Господи, возьми его на небо». Наутро в лице капитана «сквозь бледность смертную сияло что-то смиренное, веселое, святое» — ночью в видении ему явился Иисус. «Мне показалось, будто на меня — да! на меня, мой друг, на твоего злодея капитана он взглянул... И он сказал мне: *ободришь и веруй!*» Плачущий Роберт «с рыданием воскликнул: капитан, не умирайте, нет, вы не умрете». На следующий день он застаёт капитана на полу возле койки, на коленях, «головой припав к постели». Он зовет «тихонько: капитан! — ответа нет. Он, два шага ступив, шепнул опять погромче: капитан! но тихо всё; и всё ответа нет. Он подошел к постели. Капитан! сказал он вслух. По-прежнему всё тихо. Он рукой его ноги коснулся: холодна нога, как лед. В испуге закричал он громко: капитан! и за плечо его схватил... Глаза закрыты, щеки бледны, вид — спокоен, руки сжаты на молитву»... Некоторое время мы шли молча, потом Женя сказал: самый конец и «холодна нога, как лед» похоже на «Светлану» — «Светлану» я читал ему еще до школы.

Назавтра я отвез его Лике. Она предложила мне выйти на улицу, мы пошли через парк от «Великана» к Кировскому. На ней были темные очки, большие, но все равно не закрывавшие до конца синяк — с моего боку, я заметил еще вчера. Сперва молчала, чуть не полдороги, потом стала выдавливать из себя по фразе, как против собственного желания, мертвым голосом. Капитан, да, она привезла группу американских моряков в клуб на площади Труда, он их там официально встречал... совершенно на ней помешался, приходил на работу, не давал проходу... она стала к нему приезжать домой, дом режимный, с вахтером. А давно, когда сосед с женой вернулись из Египта, она с соседом переспала, несерьезно... ну так всё сошлось... потом они снова уехали, но сейчас опять здесь, и она опять с ним — как это? — *встречается*... жена что-то пронюхала... А что в этом особенного, это нормально. Мужики на нее западают, я по своему опыту должен это знать... И чья тут вина, если она так устроена, что они западают? Вчера этот черномазый... бедный, пьяненький, *ай фелл ин лав виз ю*... так в школе дразнили: *влюбился*... Но главное... главное, что она выходит замуж за фээргэшника и уезжает с ним в Гамбург... Так что вот... Не мог бы я взять Женю к себе... на первое время?..

Мальчик переехал ко мне, ее отъезд прошел относительно безболезненно — она ему сказала, что как только устроится, сразу его перетащит, а до этого еще в самом скором времени наведается в Ленинград. Фээргэшник оказался красавец, правда, чем-то похож на того обкомовца, к которому ушла моя журналистка с косой, уложенной, как диадема. Он подарил Жене потрясающую подозорную трубу «цейсс» — мы потом стали держать ее у моей мамы, для надежности, стоила несколько сотен долларов, он, вручая, сказал это в первых словах. Они пришли к нам вместе за несколько дней до отъезда, Лика на этот раз была в лучшем своем виде, яркая, веселая, стала рассказывать, как они познакомились. Совсем недавно, в одно время с капитаном: американцы, которых она привезла в клуб моряков, были на самом деле сержанты морской пехоты, шесть

сержантов, служивших на базе в Киле и решивших на отпуск домой в Штаты не лететь, а проехаться по Европе. Арендовали «мерседес» и докатили до нас. Капитан первого ранга приветствовать их назначен был из холуйства: мол, сержанты, но *американские*, да шесть, вместе могут потянуть на генерала. Нашего немчуру, из министерства, придали им для веса и чтобы держать в рамках; и, небось, немножко пошпионить — так ведь и Лику сейчас к нему отпускали, небось, не без этого.

Сержанты, все под два метра, сразу стали Лику хватать... Это она сказала при Жене, говорила по-английски, *но все-таки*; была уже после третьей рюмки, я прервал, послал его во двор, с трубой, поглядеть на птиц, поразить воображение туземцев... Сперва она повезла морскую пехоту в Эрмитаж, в «мерседесе» особенно тискали, всю попку исщипали, повела к Рембрандту — «а нет у вас чего-нибудь для *некультурных?*». Э, ме, для, для — есть золотые кладовые. А там что? Там, э, драгоценности, *джюелс. Jewels?* — и жевательной резинкой — фук в стену рядом с Данаей. Вот при таких обстоятельствах они с немцем-перцем-колбасой друг друга узнали. *Ай фелл ин лав виз хё иммидиетли*, сделал он мне признание в довершение рассказа.

Они уехали, мы ни шатко ни валко, а в общем прекрасно, зажили вдвоем. Точнее, вдвоем-втроем: всегда в готовности мне помочь словно бы ради собственного удовольствия, со старомодной любезностью и так, чтобы помощь выглядела незаметной, исключительно деликатно сблизился с нами Кирилл Сергеевич. Мы с вами, Дая, *маргиналы*, почему и прильнули друг к другу... Мне ничего другого не нужно было, ничего другого не хотелось. Да я, сказать честно, мог и без него обойтись. То, что я получал от присутствия мальчика, то, что мальчик говорил и что тем самым понуждал, иногда выдразнивал говорить меня, давало ощущение абсолютной полноты жизни. Он доходил до вещей, уже взрослых, инструментом и способом, еще детскими. «А вариантов нет?» он сказал еще раз, показав, что помнит предыдущий, что цитирует свое прошлое, — когда мы с ним прочли первую главу Бытия, дочитали до конца, что вот, все хорошо, небо и земля, трава, птички, звери, человеки, хорошо весьма, всё, что создано, и я поднял на него глаза, весело, а он поглядел на меня, улыбаясь, и произнес: а вариантов нет? — с легкой-легкой горечью. Чтобы вот так жить с ним, я не только не считал за неудобство, что филологи и философы, бывшие мои одноклассники и не одноклассники, да хоть и все, весь мир, в стачке против меня, — я в их стачечности нуждался.

Выговаривая ему за двойку, которую он схватил, не выучив наизусть «Однажды в студеную», я сказал, что с дочкой филологов этого никогда бы не могло случиться, она с детства была исполнительная, сосредоточенная, в четыре года умела бегло читать, считать, играть сама с собой... — а он в это время бормотал себе под нос: зато она не умела *не* читать, *не* считать, *не* играть сама с собой. Рассмеявшись, я переменял тон, стал рассказывать, как сам в восьмом классе не доучил пушкинскую «Деревню», у родителей были гости, и не хотелось уходить из-за стола, а учитель, которому я один раз сказал, что фамилию Фонвизин, безусловно, следует писать на немецкий лад, отдельно, а в другой, что Бенкендорф был не глупее Пушкина и уж никак не меньше его заботился о судьбе государства, мою обеспокоенность, видимо, заметил и вызвал к доске, и, возможно, я бы все-таки, напрягшись, со сбоями и прочел стихотворение, но тут увидел перед собой на учительской кафедре раскрытую на нем хрестоматию, впился в текст, начал декламировать, класс захихикал, учитель на меня оглянулся, перенес книжку на другой край, я загипнотизированно за ней двинулся, он — обратно, мой друг Германцев пытался мне подсказать, но меня окончательно заклинило, и мстительная «пара» заняла в моем дневнике аж три графы... У тебя был друг? сказал Женя. Ты с ним дружил? Как с Кириллом Сергеевичем?

Я наблюдал, как в нем проявлялись — а может, укреплялись, проявившиеся еще в детстве твердость и прямота. Когда мы через день после Пасхи зашли в церковь, главным образом, ради праздничности, и священник помянул в проповеди Иверскую Божию Матерь и как она, чтобы вразумить персов, сожгла их корабли, а потом, давая крест, задал мне несколько вопросов, откуда мы, крещенные ли, ходим ли на службу, и я ответил: да, и ходим, но редко, я слежу за тем, чтобы нам обоим этого *хотелось*, — и он, протягивая крест Жене, любезно сказал: «С твоим отцом приятно иметь дело, он милейший человек», а Женя, как само собой разумеющееся, подтвердил: «Конечно», выдержал паузу и закончил: «Не думаю, чтобы она так сделала; она могла дать им веру по-другому». Он повторил то, что уже говорил мне: про персов он слышал не в первый раз, Иверская попадала на его именины, а в именины мы старались сходить на службу — но, сказал он, когда мы вышли на улицу, если с тобой заговаривает священник, то это происходит для того, чтобы тебе не скрывать, что ты думаешь.

Я видел, что он свободен, спокоен и жизнью доволен, но и что неуютность ее ощущает — как я ощущал в его годы. Мне, правда, от этого становилось иногда невыносимо, а он был ровен, без восторгов и отчаяний, однако коренная разница между нами была в том, что для меня, насколько я помню, неуютность и прочее вплоть до *невыносимости* были заложены в самой жизни, были ее непрременным условием, а для него объяснялись просто несправедливостью. «Папа, — однажды среди долгой тишины раздался его звонкий голос, — Алиса — королева!» Он дочитывал «Зазеркалье», справедливость торжествовала, Алиса прошла на последнюю горизонталь, он оповещал меня об этом.

«Привыкай к мысли» было нашим семейным словом — как и еще несколько, вроде «хорошенького понемножку», «всё в нашей власти». Привыкай к мысли, что через десять дней первое сентября и тебе идти в школу; а ты — что тебе досушивать мой гербарий. Мы устроили день его рождения, десять лет, он пригласил, кого хотел, из класса, со двора, знакомых, набираемых каждый год по дачам, в частности, и филологическую дочь. Майонеза, как говорил наш заведующий издательством, не получилось. Близнецы-разбойники из соседнего подъезда пришли в одинаковых красных рубашках, принесли кассету с песней из фильма «Бумбараш», вскочили на диван, бешено заплясали, одна девочка сказала: потише!, другая завопила: на громкость! Женя объявил, что сочинил пьесу «Милиционер в западне, или Наказанная справедливость» — разыграем? Костюмы можно быстро сделать из подручных средств, из полотенец, газет, шуб. Из занавесок! крикнул один близнец, и вместе с братом они сорвали с окна шторы. Хорошо, сказал Женя, тогда к столу. Когда все разошлись и я мыл на кухне посуду, он предложил: пьесу «Милиционер в западне, или Наказанная справедливость» разыграем завтра, ты, я и Кирилл Сергеевич; а праздник вышел настоящий. Абсолютно, подтвердил я. Но, продолжил он, хорошенького понемножку; привыкай к мысли, что он был последний...

Для Кирилла мы купили раздвижное кресло, иногда он оставался у нас на ночь — иногда мы ночевали у него. Между ним и мной сохранялась дистанция — возраста, опыта, воспитания, образованности, даже, с его стороны, некоторая церемонность, но наконец мне открылась возможность говорить, о чем и как хочу и, в первую очередь, о том, что не может быть приемлемо в человеческой компоненте вселенной, что должно делать каждого и делает, в частности меня, неприемлемым для нее — без экивоков, оговорок решительно-умильным голосом «я не собираюсь никого судить, но» и искусственной, размывающей существо предмета взвешенности «с одной стороны, с другой стороны». И сразу из моих монологов пропала желчность, горечь пересола, вызываемого заведомым несогласием собеседника: ее не требовалось, чтобы смешное подать смешным, дурацкое дурацким и лживое лживым. Я говорил: идеал современного образо-

ванного класса — ежедневно получать и полупрятать-полупоказывать свежий выпуск «Вестника РХД» с «Иваном Денисовичем», стихами Бродского и собственным авторефератом на либеральную тему. Раса, везде и всюду близкая к власти, как выражался Мандельштам. Кирилл сочувственно улыбался, но возражал: э, голубчик, всё лучше, чем безлюдье.

Он сидел с весны 40-го до осени 41-го, когда им всем разрешили *кровью смыть вину перед Родиной* — отправили на фронт. Он смыл, кровью селезенки — в которую попала пуля и которую ему целиком вырезали. Вина же была не малая. 30 ноября 1934 года он пришел с этюдником в Смольный: сделать наброски с Кирова, по заданию детского журнала. Часовой его не пропустил. А почему те двое прошли? У них партбилеты. А может, у них, кроме партбилетов, еще револьвер в кармане?.. Назавтра Киров был убит, и, как выяснилось позднее, арестованный и вскоре расстрелянный часовой успел дать на него, *неизвестного*, показания. В начале 40-го в Союзе художников была очередная чистка, вызвали его, и единственное, что он вспомнил себе в заслугу как факт участия в социалистическом строительстве, была эта попытка, к сожалению, провалившаяся, запечатлеть образ вождя. На его несчастье, сидевший в комиссии энкавэдэшник, по закону уникальных совпадений, оказался из тех, кто читал протокол того допроса и тут же в овальном зале с плафоном, расписанным цветами и птицами, Кирилла арестовал. У нас, Даня, рассказывал он, была домработница, из деревни, бежала от коллективизации, она любила говорить: хотела бы я стать пташкой, полетела бы я к Иосифу Виссарионовичу — и я бы ему глазки-то выклевала!..

Мы с вами, Даня, в чем расходимся? — вам не по пути с человечеством, и вы с ним примиряетесь только потому, что в нем есть человек, *один*, вот этот, вот этот и вот этот; а я, хотя о человечестве мнения тоже весьма низкого, весьма, но исхожу из того, что человек в нем — *каждый*. Наша семья дружила с семьей балетных, там была девочка, я был в нее влюблен, она прочла «Песню о соколе» и «О буревестнике», сочиненные Максимом Горьким, и сама стала писать стихи — а ведь хотела стать сталеваром, маленькая, беленькая. И что в этом, скажите, плохого? Вот если выбирать: двухсотквартирный писательский дом на Екатерининском канале с сам- и тамиздатом под каждым узбекским ковриком — или бело-поле возле Магадана, вы бы что предпочли? Один — это ведь еще и один-одинешенек... Я отвечал — *что́ я* отвечал, не интересно, потому что в скором времени интересно ему на это отвечал Жидяев, Кеша, художник с завода.

Позвонила мама: день рождения Мадмуазель, не хочешь съездить на могилу? Виделись мы редко, я раз в неделю звонил, раз в месяц навещал, она о мальчике не упоминала, о том, как живу, не спрашивала — как будто этого всего не было; говорила — чтобы что-то говорить — о язвах общества, вскрываемых в «Литературной газете» Ваксбергом и Рубиновым, если я правильно запомнил имена. Всегда присутствовал блажелательный мой дядя, и всегда работало радио, тихо звучало, музыка, прогноз погоды, цифры проката листового железа. Я заехал, на кладбище снег был по колено, от плиты на могиле отбилась уголок, зашли в контору, нам велели дожидаться камнереза, он явился страшный, как вся их братия, откинул огромный мохнатый задубенелый капюшон — и оказался Кешей. От радости похлопали друг друга по плечу, он по-прежнему выражался: «оп-па», «ну и ну», «те-те-те», движениями пальцев, подчеркивавшими значительность или недоумение, придавал этому особую убедительность. Так изъясняясь, успокоил маму, что все поправит, а когда она спросила о цене, сказал «фу ты, ну ты», и тут я ей пообещал, что сам рассчитаюсь, и пригласил его к себе.

Я купил бутылку «курвуазье», и он такую же принес, тогда этого «курвуазье» стояло на полках, как жигулевского пива. Где-то к концу первой он загово-

рил развернутыми предложениями с подлежащим и сказуемым, а к середине второй, которую пил уже один, вовсе разговорился. Сказал: я болтун патологический, разве вы этого по фреске в вашем кабинете не поняли? Там же на целый рóман нарисовано. Я спросил, почему он ушел с завода и не знает ли, что там новенького. Он сказал: всего-то? — начать и кончить. Начать с того, что Константин — хромой, элегантный, в шляпе, с которым они так тесно дружили-то, — отсидит сейчас двенадцатилетний срок — слышал я об этом? Его арестовали так через год после моего ухода — за передачу секретных материалов агентам западных разведок. И не *замастыренную* чекистами, а самую настоящую. Какие-то рецепты огнеупоров — отдал почти в открытую и из принципа. Дескать, природа, насколько она проясняется для науки и насколько не проясняется, принадлежит себе самой и тем, кому соглашается принадлежать, — всем в одинаковой степени.

Стали тягать заводских — как водится, широким бреднем, но Кеше — персональное уважение. Неужели меня не коснулось?.. Я вспомнил, что, конечно, слышал про это дело, в газетах были статьи, правда, с измененными — «в интересах следствия», хотя оно и кончилось — именами и без указания конкретного места, где что случилось, и с обычным завыванием сирен о повышении бдительности — но самый гром совпал с Жениным коклюшем, мне было не до того. Кешу даже подержали неделю на Литейном — по закону полагалось трое суток, но поскольку «свой», обошлись без церемоний. Свой в том смысле, что с 49-го по 55-й был прикомандирован — как он в излюбленной *ими всеми* манере про *это* рассказывал — к резерву колымского главнокомандующего — прямым переводом из Ленинградского имени Жданова университета в лесотундровую имени белых медведей академию. Где и приобрел хлебную специальность художника-оформителя. И хотя был честь по чести реабилитирован (а сел за слушание радио Би-би-си, о чем донесли три и подтвердили еще восемь девиц из его группы, все до одной по окончании культа личности отказавшиеся в слезах от показаний), но трое суток, семеро — для того, чьи пять лет продолжались пять полярных дней и пять полярных ночей, — что считается. С завода выгнали, так еще и лучше устроился — и ближе к цели, ибо, как чеканно сформулировал местный поэт Горбовский, всё идет, куда вставляют клизму, а не к коммунизму.

Кого жаль, это директора. Из партии поперли, перевели в Совнархоз, на бумажную работу. Приезжал на завод, пьяный, рвался в лабораторию, к этой сучке, жуткая картина. Он, Кеша, его увел, до ночи мотались по рюмочным и пивным, тот пятьсот раз рассказал, как Римма накатала на него телегу, ну, во-первых, конечно, про создание почвы, на которой расцвели антисоветские и антиобщественные элементы — дальше списочек, включая и ваше, Данила, святое имечко, и, само собой, мое; а во-вторых, и про моральное разложение — читай: его с ней. Она ко мне приходила советоваться: органы на нее надели, вербуют — как вы, Кеша, скажете, так и поступлю. Обязательно, Римма, соглашайтесь, этим вы поможете органам в их трудной работе. Зашипела, как сопля на огне. И через неделю стала замначальника... Я перебил: а мне казалось, вы к ней неравнодушны; да и вообще, что вы добрый... Меня, Даниил Батюшкович, привезли в июне пятьдесят пятого из Сусумана на Литейный, а в сентябре вытолкнули в боковую дверку, и оказалось, что я на улице Петра Лаврова. Как у братьев Гримм: вошел в одни ворота, вышел из других, а за это время сто лет минуло. За шагал пешком на Васильевский, открыл дверь, с лестницы в кухню, стоит у плиты мать, одна, куда-то соседки подевались, обернулась и закричала «аааа», негромко, ровно, спокойно, не останавливаясь.

В жизни главное — не жить, а выжить. Вернее, выжить, чтобы жить. В зоне, не в зоне — одинаково. А чтобы выжить, не надо к людям лезть с тем, что ты думаешь. В лагере — про других ли, про них ли или вовсе на отвлеченную тему,

все равно: отвали, и я не буду мешать тебе выжить. Думай себе, но не лезь. «Неравнодушен». Да я ее любил, я бы на ней хоть и женился. Ну, сучка она, ну, не сучка, какое мне дело: меняет это что-нибудь — после того, как моя мать кричит «аа» у плиты — как вы думаете? Добрый я, не добрый, люблю, не люблю, и вообще — есть добро, есть любовь на свете, нет ли — какая разница для того, чтобы выживать? Разница есть только для того, как потом жить, то есть чтобы совесть не очень грызла: ну, так я ведь не злодей...

Тут шевелится ключ во входной двери и появляется в квартире Кирилл Сергеич. Я их представляю друг другу, они меня на минуту переводят в невидимость-неслышимость, перекидываются двумя-тремя географическими названиями, двумя-тремя номерами вэчэ — возвращают в поле зрения и слуха. Я с ходу вталкиваю Кирилла в разговор, спрашиваю Кешу, что, по его, лучше: человечество, ужатое до населенного писателями приюта, — или, образно выражаясь, безлюдье и лед?.. Я, когда оттуда вернулся, отвечает Кеша, сразу восстановился в университете, так, думал, быстрее полынья затянется. Через полсеместра ушел, но успел познакомиться с итальянцем, стажером. Обыкновенный на вид итальянец со склонностью к веселью и полноте. В одном разговоре пришлось коснуться вечной мерзлоты, которую я осваивал, и, как только коснулись, мой синьор Фавати горячо запротестовал: «Нет, нет, это — *инферно*, ад, inferno — некорректно, некорректно». По мне-то, Кирилл Сергеич, так прямо наоборот: по мне, в *недрах ледяного слоя* — крайний край, но еще жизни, а в кооперативе с *центральной отоплением* — смахивает как раз на это самое. А по-вашему?..

Я жалуюсь на Кирилла дальше: он адамово потомство в целом ставит тоже не высоко, но несравненно, неизмеримо выше вашего. Он меня ругает, что для меня человек — кто-то единственный, а для него каждый... Благородно, откликается Кеша, и прибавить нечего. Но, как известно, на хитромудрый болт есть мудрохитрая гайка. Слово итальянцу. Согласно моему Фавати, жизнь — не inferno, а *вита уманитариа*, гуманитарно-гуманистическая — состоит из особей, равных каждая всякой другой, однако, признавался он при всех своих левых взглядах, почему-то особей этих всегда — уно, дуэ, трэ, максимум, включая нас с ним, взнти. И хотя смеялся, особенно когда говорил «включая нас с тобой», но подтверждал, что именно уно, дуэ, трэ — *тот, та и этот*...

Что мифический итальянец повторил то же, что однажды сказал за меня Кирилл, и что я это заметил, я вида не подал и на Кирилла смотреть победоносно не стал. Он Кеше не возразил и, только когда тот ушел, заметил: Фавати, что-то вроде фасоли, то бишь в стручке?.. Я отозвался: да, какие-то бобы, но к чему такая многозначительность... Я услышал, что говорю неприязненно и сколько-то обидно, с ним это было у меня в первый и — до самой его смерти, единственный раз. А Кеша, когда уходил, положил руки мне на плечи и выговорил через пень-колоду: я там научился людям *не не нравиться* — и потому нравлюсь. Хотя, как видите, тип я отнюдь не приятный. А у вас нравиться никогда не получится — в общем, никому. Может, так и нужно...

Пьяные безответственные признания.

Потом у Кирилла открылась язва, свезли в больницу, прооперировали, шов никак не заживал, образовался свищ, я забрал его домой, к нам. Но прежде чем забрать, встретился с Зоей — ему надо было делать перевязки и уколы; она согласилась. Не то чтобы он был болен смертельно, но, как сам говорил, *посыпался* — как автомобиль на предначертанном ему году. Урология, стал два раза в ночь вставать, перекатил, чтобы нас не будить, кресло на кухню; на ноге открылся псориаз — он уверял, что чувствует, как одно с другим напрямую, капиллярами связано. И объявил, что, раз уж так сложилось, нам надо поскорей съезжаться — чтобы не потерять его комнату. Я отправился на Майорова, где по



субботам-воскресеньям на углу Садовой собирался незаконный рынок квартирообмена и толклись толпы народа,— и получил кучу предложений: спрос был на разъезд. Мы разложили адреса на столе, начали обсуждать, как раз пришла Зоя и немедленно выбрала: Лесной, рядом с Финляндским вокзалом, трехкомнатная квартира, в пяти трамвайных остановках от нее, не надо будет ездить через полгорода. Я, только чтобы сгладить легкую бестактность, сказал: ну не вечно же ему лечиться, но она ответила без фокусов: вечно, вечно, и Кирилл, улыбнувшись, подтвердил: вечно.

Мы переехали, большую комнату отдали Кириллу, постарались, чтобы стала похожа на его старую. А-а, пошучивал он, не беспокойтесь, нерв сентиментальности у меня отморозен, а обмен жилплощади — это просто тренировка перед главным обменом. Свищ затянулся, он ходил на работу. С удовольствием; и все делал с удовольствием. Нашего начальника, как тот и предвидел, вернули в малайзийский пруд под видом акулы пера, и на короткое время Кирилла даже прочили в заведующие. Тут надвинулось тридцатилетие победы над Германией, всем ветеранам велели прийти в орденах, сфотографировали, а когда отпечатали, то необъяснимым образом единственно на груди Кирилла все привинченные ордена и даже гвардейский значок оказались вверх ногами. Он разводил руками и качал головой, делу хода не дали, но идея повышения в должности отпала. Мы готовили тогда зоологический словарь для детей — естественно, следуя таким же иностранным: сводили их, начиная с Брема и кончая аргентинской детской энциклопедией, воедино. Зверушки, все без исключения, были миляги, а мы не жились: уйма очаровательного чтения, пропущенного в детстве или, наоборот, оттуда всплывающего в памяти. Кирилл веселился, сравнивал себя с обезьянкой, забравшейся в банановую рощу: прыгаю по знакомым словам и оборотам, иногда резвлюсь в изученных до мелочей лексических заповедниках — и никогда не срываюсь на землю. У нас была игра — выбирали произвольно слово на каком-нибудь португальском языке, и надо было найти его в португальско-русском словаре при минимальном листании страниц: с первого раза — очко, со второго — два, и так далее. Кирилл делал это виртуозно, пять слов подряд, шесть, семь — открывал точно на нужной странице, как в цирке, потягивало магией.

Женя сменил школу, первые недели давались болезненно — чужачка да не поклевать! Тем более что он сам влез в, по школьным меркам, нешуточную переделку. На ботанике учительница рассказывала о вегетативном размножении кустов и деревьев черенками и отводками, и второгодник по кличке Кол, то ли игравший под уличного урку, то ли бывший им, но так или иначе считавшийся первым в классе хулиганом, громко сказал евреечке, за которой увивалась половина мальчишек: вы, евреи, размножаетесь от черенков. Кто засмеялся, кто нет, никто, включая учительницу, не вступился, правда, и не поддержал, и тут в короткой паузе раздался Женин голос: а мы, русские, размножаемся от водки. Повисла тишина, испуганная и достаточно враждебная, только тот, главный, произнес, голосом, от которого, Женя признавался, у него заледенела кровь: приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Это означало жестокую расправу по выходе из школы на улицу, а возможно, и бесконечное, изо дня в день преследование, но на перемене девочка исчезла, а когда после уроков класс высыпал во двор — все возбужденные и встревоженные, а Женя обреченно,— она стояла со взрослым братом, оказавшимся не больше не меньше как несусветно знаменитым Владом Гребневым, рок-группа «Аритмия» Влада Гребнева, чью черно-белую фотографию с гитарой на животе продавали в метро из-под полы за три рубля. Ну да, и ее фамилия была Гребнева — как им в голову не пришло! Он отозвал Кола в сторону, что-то сказал, Кол вернулся и мрачно пожал Жене руку.

Ничья с самим Колом придала ему определенный авторитет в классе, а камбуру про водку определенный вес, несколько старшеклассников даже приходило на него посмотреть. К тому же у него были американские кеды, трусы и майка «ред сокс» для уроков физкультуры, джинсы, шотландский свитер со стойкой, зимняя куртка на пуху — всё присланное матерью. Жвачка, шоколад, шариковые ручки, значки и прочее, чем он щедро с одноклассниками делился, тоже делали свое дело. Имя «Гребнева» замелькало в его рассказах: Гребнева угостила, Гребнева подарила, пригласила. Гребнева, спросил Кирилл, это фамилия, имя или явление природы? — он ответил: это Лиза. Еще чаще произносилось «Влад» — последняя запись Влада, запись концерта Влада в Луге, от Влада ушел ударник. Песня Влада «Железные помидоры на грядках из цинка», хотите послушать? Железные помидоры на грядках из цинка, окончена война, на даче вечеринка, постелена скатерка для сержанта и майора, в пейзаже после битвы соленая новинка, свежий салат из железного помидора. Как? Я сказал: здорово — Кирилл: отлично. Мальчику нужно было окружение, наступало его время, я не мог заменять его своим и не хотел.

После Нового года позвонил осветитель: ты куда пропал? приходи с сыном, собираемся прибалтийской компанией. С того лета у меня с ними случались редкие встречи на улице, даже интересно будет на всех посмотреть. К тому, что они меня *поучили*, чувства не было, воспоминание давало только усилием мысли; за науку — за то, что я из нее усвоил и в чем она меня укрепила, — осталось скорее что-то вроде благодарности. Пришли все, с детьми, также и с народившимися за это время, и даже двое из племянников-племянниц, он и она, в статусе жениха и невесты. Все за это время стали не столько более уверенными в себе, сколько тверже эту уверенность демонстрирующими. Филолог, а еще решительней его жена почти не разговаривали больше фразами, а только определениями, так и называя их — *дефиниции*: «Стало быть, твоя дефиниция алжирского виноделия...» — это на замечание генетика, что алжирское вино везут к нам в цистернах из-под нефти. Историк еще внушительней наматывал на ус обсуждавшиеся события, распределяя, какому считается историческим, какое на отсев, а философ еще наглядней сматывал их с уса в довольную улыбку, явно подтверждавшую его философскую концепцию. Мы сидели на диване рядом, я, наклонившись, сказал ему: уважаю, полностью бессловесная философия — сколько я тебя знаю, ты ни разу рта не раскрыл. Он примял табак в трубке и всё равно улыбнулся, просто более сурово.

С опозданием пришел поэт. Он вел новую линию: его всё веселило. Жизнь полна света, жизнь — источник его, а неприятности — он пару раз сказал «невзгоды» — это пустяки, темная сыпь, которую мы сейчас смоем струей шампанского. Советского, вставил генетик, — хотя бы немножко приводя в чувство парение мысли. Генетик устоялся в вворачивании в общий разговор реплик о сравнительно редких, а главное, никак не связанных с темой фактов — после одной такой подмигнул мне, я оценил и, приглашенный к диалогу, поддержал: панораме предпочитаем осколки мозаики, так? — но у него поддержки не нашел. Жизнь, продолжал поэт, в самом деле, только средство для сладкопечучих стихов, а придет беда — что ж, кто ближе, чем он, чаще, чем он, встречался с бедой? он с ними на «ты» — встретим ее поэзией, споем песнь траурну бравурну... Новой линии соответствовал новый вид смеха — го-го-го, бе-бе-бе. Поэзия — это и есть счастье, он доставляет себе счастье активно — пища стихи. Он готов писать их каждый день, мешают обстоятельства, но два раза в неделю, что бы ни было, он с утра садится за стол и пишет... Он обвел всех сияющим взглядом, го-го-го, бе-бе-бе, и когда этот взгляд попал на меня, я произнес: два раза в неделю, гигиена брака. После этого надеяться мне было не на что. Минут десять еще отсидел ради Жени, которого все время наблюдал боковым зрением, любовался,

как, стоя в кругу подростков, он поворачивает голову к каждому говорящему, внимательно слушает, иногда что-то коротко прибавляет или, если его спрашивают, коротко отвечает.

Посылки от Лики приходили поначалу раз в месяц, потом раз в квартал и прекратились. Писем ни одного. Женя ей писал, редко, открытки: четвертные отметки, недавнее забавное происшествие, целую. Он кончал седьмой класс, когда она прилетела. Пришла к нам, я оставил ее с мальчиком наедине, вышел на кухню почистить картошку, но через несколько минут они позвали меня. Говорить было трудно, она слушала отсутствующе, не скрывала, что пропускает слова мимо ушей, откликнулась раз за разом: м, интересно — и тут же могла переспросить, о чем только что было сказано. Вдруг сказала: здесь где-то стадион был, ты там бегал, пять раз по тридцать с ускорением, пять раз по шестьдесят, помнишь? Я показал наискосок. Просидела час, обещала, прощаясь, что зайдет через неделю, через неделю позвонила, что должна лететь обратно, но скоро вообще вернется, надолго: Клаус открывает фирму в Ленинграде. Женя вечером пересказывал Кириллу: Санта Клаус и Ко. И *Ко-гэбэ*, предложил Кирилл.

Мы жили втроем, но почти каждый день заезжала Зоя — по пути с утренней смены, по пути на ночное дежурство. Кириллу поочередно досаждали радикулит, грыжа, невралгия, остеохондроз, она научилась массажу, колола ему витамины, однако это был больше повод и оправдание ее присутствия у нас. Она стала, что называется, близким человеком и Жене, и мне, особенно Жене — не тем, что, к примеру, взяла на себя следить за его одеждой и обувью, а самим сидением под лампой с его носками в руках, самим движением руки с иглой, быстро наносящей на дырку основу, ловко сквозь нее продевающей уток; его «Зой, ты олады сегодня пожаришь?», ее «Жень, подойди-ка, я тебе лоб потрогаю» и тем, что я это, между прочим, вижу и слышу. С Кириллом же у нее, точнее у Кирилла с ней, близость зародилась и утвердилась любовная.

Я бы, сказал мне Кирилл в те дни, когда мы перебирались на новую квартиру и она, днями укладывая коробки и связывая узлы, уезжала домой последним трамваем, — будь я в вашем возрасте, на ней женился. Я понимаю, она для вас не красивая, но это не так. Пройдет немного лет, и красивыми станут только те, кого вы любите, а все остальные, включая записных красавиц, никакими... Я ухмыльнулся: и Мэрилин Монро?.. Так вы же Мэрилин Монро любите! и я люблю — не потому что красивая, а потому что *такая*. Что наша Зочка полновата, не стройна, глаза маленькие — ну да, но почему это некрасиво? Для борзой бульдог уродина, но ведь и борзая для бульдога. Вы поживите с бульдогом, коротконогим, без талии, с заплывшими глазами, месяца хоть два, погладьте, повглядывайтесь, погуляйте с ним в свое и в его удовольствие — и в толк не возьмете, при чем тут общепринятая, конфетная, банальная красота борзой. Да и не два месяца, а одну минуту его полюбив; да хоть и дворняжку, а не бульдога.

Все это, я понимал, правильно, все это неопровержимо, и чем охотней понимал, тем раздраженней сопротивлялся. Истина распространялась на всех, на человеческую природу, была ею порождена, но та же природа порождала и принимала тоже как истину форму красоты равно неопровержимую, прелесть временную, обреченную увядать, но цветущую, стройные ноги, светящуюся кожу, яркие глаза, а у наблюдателя — органы восприятия, определяющие эту внешность и то, что в ней заключается, именно как чарующую прелесть. Временность была ничуть не менее важна, чем бренность, а сосредоточенное внимание и опыт, которыми был умудрен Кирилл, оказывались во всей своей убедительности не чем иным, как призывом поскорее пропустить время. Призывом привыкнуть, что значит: привести еще не известное — тебе не известное — к знаменателю уже известного, все равно, тебе или другим, иначе говоря, капитулировать на веру.

С того времени, как мы съехались с Кириллом, я ощущал в душе большую или меньшую умиротворенность, казалось, и дальше моя жизнь может пойти по пути примирения с предлагаемым ей, примирения, воплощаемого ровным, с чувством собственного достоинства согласием Кирилла с судьбой. Та единственная с моей стороны резкость, когда замечание Кешиного итальянца о приоритете уникального над индивидуальным он хотел перевести в каламбур, а я показал, что и к нему мои требования не ниже, чем ко всем прочим, никак не тянула на размовку. До самой своей смерти он нравился мне не меньше и я ценил его и постоянно испытывал к нему благодарность не меньше, чем в те дни, когда мы сошлись и когда так породнились. Но время шло, и я ловил себя на том, что могу про него подумать: это не одно согласие с судьбой, тут есть и соглашательство — или: он стареет, но еще и устаревает. Такие мысли приходили в голову вдруг, сами собой, и не мешали мне по-прежнему, а иногда и острее любить его, однако словно бы с медленно увеличивающейся дистанции.

Впервые как отдаление я ощутил это, когда он заговорил о красоте Зои. Как пару наблюдать их мне было забавно и немного неловко. Прощаясь, он целовал ее в щеку так, чтобы это был поцелуй в щеку, но однажды я видел, как он сажал ее в трамвай, и то был другой поцелуй. Когда чувствовал себя прилично, он провожал ее до дому, иногда за полночь, так что приходилось возвращаться пешком, но ни разу не остался у нее на ночь. Даже когда ее мать надолго уехала к родне в деревню. Однажды еле припелся, по стенке проволока в кухню, я не спал, вышел, он ставил чайник, холод в руках и ногах, нужна грелка. Я сказал: чего вам каждый раз тащиться назад? переночевали бы; если из-за Жени, я ему объясню. Он ответил: так лучше, потом поймете. Так больше.

Как будто я не знал, что так лучше. Что *не иметь* всегда больше, чем *иметь* — чего тут сравнивать, задачка для первоклассника. Еще раз попалась мне на дороге бывшая Женина няня — на дороге буквально: переходил Невский, окликнула из такси. Открыла дверцу: быстрее, поехали, я вам покажу свою комнату, у меня теперь собственная комната. Притарахтели к заводу «Светлана», сталинский дом, две каморки, вырезанные из жэка, во второй сменщица. Они лифтеры, лифты часто останавливаются, застревают, надо вручную крутить ворот на чердаке. Деньги на такси — из другого места; много будете знать — скоро состаритесь. Чаю или коньяк? Жарко, можно я кофточку сниму? Здоровая, кобылка: здоровая, грубоватая, примитивная. И лукавство такое же. Чего-то от Лики подхватила, но удешевленное. В общем, без обману: товар, купец. «Нравится?» Шло как по писаному. Вдруг на мгновение увидел ясными глазами, что буду «иметь», да и «имею» уже, и чего лишуюсь «не иметь». Момент этот поймал, остановился, сказал: «В блузке интереснее», — и ушел. Да и вообще в моей жизни картинка милых контактов с милыми существами, я обратил внимание, стала бледнеть. Поярче и повеселее был узор, заплетшийся из неожиданного звонка атомщицы, празднично объявившей, что наконец ушла от генетика, но и у нее я ни разу не остался на ночь. Мне не просто хотелось ночью быть там, где Женя; любая ночь не дома означала бы «двойную жизнь» — а *жизни* такой не бывает.

Я налил горячую воду в таз для ног, в миску для рук, Кирилл отошел, заговорил, как обычно, живо. Старость! могучая вещь! Абсолютно беспощадна! Соглашается верить во всё, в такое, во что нельзя поверить, принимает то, что нельзя принять. Как норму. Убийство, измену, советскую власть, газовые печи, Аушвиц, всё. До старости, Моисеевы заповеди — обозначение невозможного, и даже когда случающегося, тем более невозможного: ужас и отчаяние от преступления заповеди. А в старости — обозначение нормы, нормы, на которую налагается запрет. *До*: случается, но невозможно; *в*: возможно, но запрещено.

Старость сама — Аушвиц. Чувствуете разницу между Освенцимом, *местом* — и *аус*, вне всех мест? Нет такого места. Сидя в безопасности по теплым домам — это у Примо Леви есть такие стишки,— возвращаясь вечером к ужину в семью, сами решайте, мужчина ли то — в грязи шевелящееся, бьющееся за корку, бессонное, гибнущее от «да» или от «нет»; женщина ли то — без волос, без имени, без сил, чтоб вспоминать, с мертвыми глазами и чревом, холодным, как зимой лягушка. Это я. Он про лагерь — а я про старость. Когда я смотрю на человека не как, например, на Зою с ее отчеством и фамилией, а на стольких-то лет молодую женщину, имеющую все ее свойства и качества и ее историю — то есть смотрю без сосредоточенной именно на ней и только на ней любви,— это в принципе начало того, что кого-то, до кого мне уже вовсе никакого дела нет, можно и отправить или по крайней мере хоть согласиться с отправкой в этот великий Аушвиц. Самый маленький ущерб в полноте человека — начало полного его отрицания. В человека Аушвиц не заложен — заложен в человечество. Иисус пришел спасти не — людей, а — меня..

В больницу он ехать отказывался, Зоя решила привести врача со своего отделения. Жизнь выкидывает трюки — если бы не выходило в рифму, сказал бы, что от скуки. Когда мы Кирилла хоронили, одновременно с нашим подъехал другой автобус, и из него вылезли Германцев, Найман, Феликс с трубкой в зубах, еще несколько знакомых физиономий, пожеванных одним-двумя десятилетиями. И покойника их я знал: коллекционер джаза, записывал еще на чугунный магнитофон «Днепр» украинского производства, бобины размером с луну. Желчный малый, но к джазменам, всем без исключения, питал почти девическую слабость, об Элле Фицджералд говорил, закатывая глазки, сюсюкая, и показывал, как она и «Сэчмо», спев полагающиеся куплеты «Чик-ту-чик», танцуют перед микрофоном щека к щеке. Похороны его были не печальные, настроение у всех скорее веселое, Германцев сказал, что у покойного, поскольку Армстронг после смерти, надо думать, добился того, о чем мечтал, и играет на трубе нон-стоп на пару с архангелом Гавриилом, есть все основания занять его место у щеки Эллы, на что Феликс заметил, что так-то, может, и так, но она-то еще жива, он слышал ее интервью для польского радио не далее, как в четверг, в *ч'уртэк*,— прибавив: клянусь над гробом.

Врач же, обещанный Зоей, оказался тот самый, что жил с нами летом в Эстонии. Мы повспоминали, Кирилла он больше расспрашивал, чем осматривал, велел пить витамины, остался у нас допоздна, разглагольствуя, прихлебывая преподнесенный ему в качестве гонорара коньяк, приобнимая Зою. К зиме у Кирилла стала ежедневно подниматься температура, не переставая болела грудь, он начал задыхаться, пришлось все-таки везти его в больницу, всё в ту же, на другой этаж. Поставили диагноз — гнойный плеврит, у него лопнуло легкое, его перевели в такой же чуланчик, как тот, в котором, когда я навещал Мадмуазель, лежала та девушка. В день смерти он сказал Зое, что ночью умирал и знал, что умирает. Проснулся, когда ее не было, делала обход, лежал в этой крошечной комнате с высоким потолком, рядом на стене висела кислородная трубка, но он не мог пошевелить пальцем. Он чувствовал, что на расстоянии протянутых вправо и влево рук находится не то чтобы жизнь и смерть, а то, что так же важно, как жизнь и смерть. И что-то, что заменяло мысль, хотело все время знать, в каком он отношении к тому и к другому — к чему ближе.

Наш врач сказал, когда я пришел, что, если останусь до вечера, Зоя может съездить домой, чтобы хоть переодеться. Кирилл дремал, просыпался. Один раз сказал: нет, невозможно, ни представить себе, ни согласиться. Что доверчивость к Создателю и созданному им порядку, с которой, засыпая, ложишься на бок, подкладываешь правую ладонь под правую щеку, сгибаешь ноги в коленях, а левой рукой их касаешься, что все эти невинные, с младенчества тебе посланные,

блаженные движения, сама беззащитная и благодарная поза — будут преданы смерти. Их-то за что? Около трех широко открыл глаза, стал говорить, что жизнь — это словарь, мы его учим, но мы его и сочиняем, потому что в нем есть любое слово на любом языке и все их мы знаем на память, однако должны узнать поэтически, авторски и, так узнанные, все их вслух прочесть, и когда прочтем, то вот и жизнь. Он задрожал, я выбежал за врачом, у него уже был приготовлен с чем-то шприц, он уколол в вену — оттуда на стену брызнула кровь. Кирилл встrepенулся и умер. Зоя приехала через пятнадцать минут, мы с ней посидели возле него. Я рассказал про брызнувшую кровь, какая в ней была энергия и яркость... вызов, дерзость... что-то еще — вроде совершенного жеста, вроде красоты... У меня не получалось объяснить, как я хотел.

Я сказал, что, когда он умирал, мне самому было в пору делать укол, настолько из меня ушли все силы. Когда умерла Мадмуазель и когда та девушка, я был про себя уверен, что, присутствуя в момент их конца, я мог бы, просто схватив их, сжав, удержать на какое-то время от смерти. Особенно когда та девушка. А может быть, особенно когда Мадмуазель — потому что мне было четыре года, мы приехали на дачу в Лугу и я вместе с другими детьми бродил по еще не высохшей с весны в глиняном карьере воде, и внезапно провалился в яму, которая под этой мутной мягкой желтизной, естественно, была не видна, пошел, глотая и давясь, ко дну, в темноту, от дна — вверх, к свету, увидел на миг солнце и опять вниз, но меня еще раз вытолкнуло, и тут рука Мадмуазель схватила меня. Она так все мое тело сдвинула, так вертела, пока меня рвало, что, когда пришла телеграмма, что она умерла, я физически ощутил в себе ту ее силу и знал, что сейчас мог бы так же сдвинуть и заставить дышать ее. Я так по крайней мере думаю. Зоя сказала: и я так думаю; могли бы. Да, да, если бы я была здесь, я бы в этот раз его еще вытянула.

В церковь Кирилл захаживал от случая к случаю, но когда-то же ходил с мамой-мамой, с сестрами-братьями — мы решили заказать заочное отпевание. Я вспомнил того священника, заговорившего со мной и Женей на Светлой неделе, зашел, объяснил, он сказал: не настаиваю, но так вам самим будет неутешительно, ни два ни полтора, лучше привозите. Пришли, кроме нас с Женей, Зои, еще только врач и Кеша пьяненький — шофера пришлось просить гроб подхватить с четвертого угла. Священник после панихиды сказал мне: всё следите — чтобы, как вы тогда сказали, в церковь не *надо было*, а *хотелось*?.. Всё слежу... График такой же редкий?.. Примерно; я слежу... А молодой человек, он обратился к Жене, как чувствует?.. Жена сказал: вот сегодня, например, сверх графика... Священник отвел меня в сторону: что, бывает, что «Бога нет»?.. Я ответил: покойник говорил — «Бога нет», потому что затаскали; масса слов, нет деланья. Бог «должен быть» все время, а не тогда, когда «есть». Я буду думать о Боге или к Нему идти, только когда буду думать и идти, а не когда вижу купола, тем более захожу внутрь. Так говорил покойник... А вы?.. Я, батюшка, стараюсь следить... Он подошел к Жене, перекрестил ему голову, положил на волосы руку, погладил. Кеша сказал: а меня?.. Ну вот и вас — он сделал то же над Кешей, и Кеша как-то неловко ткнулся ему в плечо и чмокнул... Ну, со святыми, сказал священник и запел «Святой Боже».

Лица приехала чуть не на год позже, чем обещала, но приехала, с Клаусом. Они стали жить в большой квартире «от УПДК» — УПДК повторялось часто, и никто не просил расшифровать. О возвращении к ней Жени не заговаривала, мы тем более. Звонила редко, заезжала один раз, один раз пригласила к себе, обоих. Она вернулась в «Интурист», чтобы — ее слова — быть при деле. Рассказала, как возила американца, миллионера, по классу люкс, на Кировский стадион. По классу люкс он мог сам выбирать себе программу, но не было особенно из чего: Эрмитаж, Петергоф, балет, Пискаревское кладбище — он сказал: почему

кладбище? Ну, мемориал, блокада. На кладбище? Есть еще стадион, футбол. Футбол, о'кей. Оказалось, не тот футбол, не американский. Сидел, за игрой не следил, скучал, она рассказывала про стадион, миллион кубометров земли, рекордно короткие сроки, уникальное решение, на острове, продувается чистейшим морским воздухом. Он вдруг сказал: а ветер? не мешает играть? Она сбилась: ветер? не знаю... А вы пойдите, он показал пальцем на поле, и узнайте... Клаус проговорил: янки швайн. Когда мы шли домой, Женя сказал: в роли американца — американец, в роли немца — немец, в роли дома — УПДК.

Ли́ка рассказывала легко, где смешно — смешно, в общем, как обычно, но обычность была словно бы запомненная: словно бы она когда-то запомнила, как это надо рассказывать, потом приняла транквилизатор, давно, и его до конца так и не вымыло из организма. Рассказ занимал время, как шифоньерка — (купленная Клаусом?), доставшаяся под инвентарным номером (вместе с квартирой?) — место. Все время хотелось объяснений, почему она говорит именно это именно сейчас, и от всего вместе исходило неуловимое беспокойство. И такого же рода тревогу, даже угрозу, тоже неуловимую, я ощущал от того, что она так легко оставила нас в покое, ощущал постоянно. Действие транквилизатора, казалось, могло кончиться в любую минуту, хрупкий покой будет проткнут Ликиным ногтем и Женя утянут в дыру, просто так. И тогда я... тогда мне... — зачем я буду сейчас об этом думать?

В тот раз, что она к нам заехала, у нас была Зоя. Бальзаковская баронесса де Нусинген и диккенсовская крошка Доррит. Ли́ка сразу у нее спросила, где заварочный чайник, потому что принесла коробку «Липтона» и хочет свежего крепкого чаю, та сказала: давайте я сама. Расстались, как подруги, Ли́ка это умела: она дающая, другой принимающий — в дверях стянула с шеи шифоновый платок, накинула на Зою, поцеловала. Вечером Зоя позвонила: дайте мне ее телефон, хочу тоже сделать подарок. Жостовский поднос — как вам кажется? я слышала, иностранцы это любят. Через несколько дней где-то они встретились, и назавтра Зоя мне сказала: с ней лучше дружить; она мне нравится, я бы с ней вообще могла дружить, но сверх того это и безопасней. Я ответил, что знаю, про что она, но говорить об этом не хочу.

Прошло, наверное, полгода, Зоя однажды приехала в неурочное время, Женя был в школе, я держал корректуру словаря синонимов, открыла дверь Кирилловым ключом, вошла прямо в мою комнату: важный разговор. Ли́ка уехала в Мурманск. Бросила Клауса, бросила «Интурист», уехала с капитаном, про которого, сказала, вы знаете. Он ее нашел, не может без нее жить, и для нее это единственный выход — потому что с того времени, как она стала жить в Германии, как решилась на это, как подошло к тому, чтобы на это решиться, из нее вытекла горячая кровь, и в ночном столике она постоянно держит полный пузырек с таблетками снотворного. Писать ей не надо, она уезжает от всего и от *всех*, всех без исключения, сама свяжется, если понадобится, а мы должны выбрать, что и как сказать Жене... Я спросил: и больше ничего? вы всё договариваете? Она ответила: всё, — но так, что можно было ей поверить, а можно и нет.

Мы посидели помолчали, она сказала: если вы были на ней женаты, то действительно, едва ли женитесь на мне... А я должен на вас жениться?.. Ну, так выходит: и Кирилл говорил, и Женя... Что Женя говорил?.. Что он бы хотел, чтобы мы наконец поженились и у нас родился ребенок... И вы согласны... И я согласна... Я сидел, глядел на нее: *очень* хорошая девушка, и глядеть на нее приятно, и прав был Кирилл, шея, посадка головы, сама голова, крепкое тело, крепкие ноги — всё, если это может быть красиво — не как у красоток, а само по себе, — у нее было красиво, и если про женщину можно сказать — не как про красотку — красивая, то вот она и была красивая. Я знал, каким содержанием все эти части и всё целиком наполнены, и это содержание было мне так прият-

но, что оно само казалось мне красотой, равной той, которую я в этих частях и в целом видел глазами. И вообще неестественно было, что мы не женаты,— столько лет и при таких отношениях. Я сказал: а Лика не сказала, что Женя не мой сын? У Зои метнулись глаза, и она проговорила: сказала... А больше вы от меня ничего не скрываете? теперь всё договариваете?.. Она ответила: нет, еще одну вещь.

Это было насчет врача — у нее, у Зои, была связь с врачом. Началась давным-давно, почти сразу как она пришла в больницу после медучилища. Сошлись в ночное дежурство, и первое время так, по ночам в ординаторской, а иногда у него дома, а иногда у нее, это и совершалось, продолжалось, ничего кроме, так сказать, физической близости и эротического удовольствия, но с годами сделалось привязанностью — для него. Она с самого начала хотела прекратить, хотя снова и снова соглашалась продолжать. Его жена по полгода в экспедициях, он думает, у нее там тоже кто-то есть, ему плевать — на это, потому что плевать на нее. Но он готов развестись — если Зоя готова выйти за него замуж. Она всё сказала ему — что любит Кириллу и любит Женю. Он спросил: и его? — то есть меня... И тут я вспомнил, что один раз мы с ним вдвоем шли от больницы к трамваю, я стал расспрашивать про жену, что-то самое общее, где работает, довольна ли работой, и он сказал: жена все время куда-то девается. Все мы деваемся, но женщины раньше всех. Куда? — эти жены с приоткрытыми на ширину мизинца губами и трепещущими ноздрями, с взглядом всегда наготове отшить любого, кто вздумает пристать, геологини, дачницы, молодухи — и почему так быстро? А если находишь одну с нормальным ртом, носом и спокойным, как у классической *сиделки*, выражением глаз и она никуда не девается, то это потому, что она ими целует, вдыхает и видит не тебя, а кого-то и сидит не у тебя, а у кого-то, кого *слабость* как специфика их *пола* никогда не колыхала.

Я сказал Зое: *уэлл* — потому что то, чего больше всего хочется не говорить, легче начать говорить на не своем языке. *Well, уэлл*, есть два вида ответа, почему мы с вами не можем жениться: сердечный и потому томительный, оставляющий иллюзии, и бессердечный, зато окончательный. Какой выбираете?.. Она не пошевелилась, не перевела взгляда с точки, в которую уставилась. Я сказал голосом, каким не намеревался, жестким, прокурорским: по мне, так чем хуже, тем лучше. Мы не поженимся, потому что я ни на одну минуту не собираюсь вмешиваться в ваши основательно налаженные половые отправления, тем более заменять уже проверенного и достойного партнера, тем более делить с ним ваши прелести... Она произнесла, охрипнув: вы так не думаете; вы так говорите, потому что услышать то, что я рассказала, вам было больно... Теперь молчал я... Она сказала: а какой вариант сердечный?.. Сердечный — такой, что мы не должны так поступить против него. И я против вас. Я и так вас имею, а захочу, так получу всю без остатка, а у него только часть, и такая, что каждый раз исчезает, как перышки во сне пойманной птички. Я могу прожить без вас, могу с вами, я вас люблю настолько, чтобы испытать некоторую боль, узнав про то, что вы с ним... *уэлл*... спите, но и эта любовь, и эта боль меньше его любви и его боли. Думаю, что меньше. Я...

А я, начала она говорить, не обращая внимания, что моя фраза еще не кончилась, его не люблю, привыкла, но любви нет. Люблю вас, люблю Женю, любила Кириллу. Это что, не в счет? Почему вы мной распоряжаетесь? Он, вы — меня нет. Моя любовь к вам меньше, чем его ко мне? Ему без меня больнее, чем мне без вас? С чего вы взяли?.. Да дело, перебил я, во мне, а не в вас. Вы же знаете, я не умею жить с людьми и, в общем, не хочу. Я не верю, что не прав, думая так, как думаю, и соответственно живя. Это как негашеная известь — все разъедает, и вашу прибыль с того, что мы поженимся, разъест, и останется в результате один его убыток... А вы не допускаете, что если родится ребенок?.. Если ро-



дится ребенок, вы, как объявлено, спасетесь через чадородие — а мне что с того? Если родится ребенок, он будет похож на вашего замечательного врача... С какой стати!.. Потому что в клетках матки есть генная память... Она закричала: оставьте в покое мою матку! Мою матку, его тестикулы и пещеристые тела! Это же главное, что не дает вам покоя!.. Я сказал, как можно серьезнее: Зоя, я же предупредил вас, ответ сердечный ведет к иллюзиям, к бесконечному пересмотру... И, только сказав, наконец расхохотался, встал, подошел, чтобы обнять. Она выставила руку и сказала: так, да?.. Нет... Тогда подождем... И ушла на кухню чистить картошку.

Еще через полгода я вынул из почтового ящика в один день письмо из Мурманска, заказное, «Евгению Даниловичу, лично» и две повестки, ему и мне, явиться в отделение милиции. Письмо было от матери, он ушел читать его в свою комнату. Вышел напряженный, мне показалось, побледневший, сказал: пошли в милицию, — про письмо ни слова. В отделении нас проводили к железной двери, позвонили, оказалось, КГБ. Развели по разным комнатам — я сказал, что хотел бы быть с сыном, и услышал: у него уже есть паспорт. Нас вызвали, потому что им пришел запрос из Мурманска. Погиб командир подводной лодки, с которым жила ваша бывшая жена, мать вашего сына. Принимал на борту душ, и вместо воды по трубе пошел кипящий мазут. Следователь спросил, что она писала о своей жизни. Я сказал, что она вообще не писала, а Женя — как потом выяснилось — что за все время до сегодняшнего дня писем от матери не получал, и они поняли это так, как он и рассчитывал, про сегодняшний день не спросили. А твоему отцу? Они в разводе... Мы знаем. ... и не переписываются. Расспрашивали — и его, и меня — про Клауса и не известно ли нам про кого-нибудь еще, не поехал ли кто-то за ней следом в Мурманск, не ждал ли там.

На обратном пути Женя сказал, что ее письмо — про то, что она уходит от капитана к одному человеку и даст о себе знать, когда все устроится. И опять — ничего больше: например, почему ему «лично». Мне на допросе показалось, что они ищут кого-то среди сослуживцев несчастного капитана, Жене — что среди иностранцев. В течение нескольких месяцев нам звонил следователь: новой информации нет? — никакой нет. В самом начале я спросил: а вы с ней самой-то связаны? где она сейчас?.. Мы связаны со всеми, с кем нужно, — из чего я понял, что они ее каким-то образом упустили. Потом пришло письмо без обратного адреса, но по штампу ленинградское — от официальной жены капитана. Будьте вы прокляты, вся ее родня и семья, это она его убила, он покончил с собой из-за нее, не один раз собирался, и она его очередным своим блядством доконала. «Покончил с собой». От Лики ни звука. Зоя сказала, что ее мать говорит, надо заказать молебен Федору Тирону.

Я в такие вещи как раз верю, но пошел не сразу: Женя сдавал экзамены на аттестат, так что я дождался последнего и заодно уж — и насчет нее, и поблагодарить за окончание школы — всё по тому же адресу отправился. Батюшка торопился, записал имя Лидия, обещал помолиться, а если найду время, то пусть приду в воскресенье к концу службы, помолимся вместе. А найду больше, то к началу. Торопился, но, вот, шутил. Я спросил, почему он, как уже повелось, не поинтересуется, в какой степени я настроен на религиозный камертон. Он ответил: честно говоря, потому что не очень интересуется; вы бы лучше съездили навести Иннокентия, он сейчас в ЛТП. Лечебно-трудовой профилакторий. Попал туда Кеша после двух вытрезвителей, оттуда написал письмо, на церковь. Время у меня было, но я хотел, чтобы оно моим и оставалось, а не священники, хоть и самые симпатичные, и не расписание церковных служб, хоть и самых божественных, им распорядились. На литургию не пошел, а к Кеше, конечно, поехал. Это было двадцатого июня: Женя собирался на выпускной вечер, сказал, что придет утром, а то и днем, чтобы я не беспокоился. А впрочем, на торжественной части еще увидимся.

ЛТП у черта на куличках, за заводом «Большевик», с утра паскудный дождичек, сорок минут нет трамвая, ясно, что-то случилось, надо идти пешком до Финляндского, и тут выходит из нашего двора девушка со слепеньким фокстерьером. Я ее от случая к случаю видел, еще девочкой гуляла с этим песиком, и был он резвый и в каждой дыре искал лису. Стала высокая, тоненькая, вся натянутая в струнку, а он лапы переставляет, как заводной, ремешок по панели волочится, она с той же скоростью впереди него, глядит куда-то вдаль, не оборачивается, и, кажется, как хорошо бы ей заплакать, а раз не плачет, то не заплакать ли самому. От «Большевика» автобус, раз в час и недавно ушел, стою под зонтиком, пропитываюсь влагой. Остановка рядом с заброшенной веткой железной дороги, и опять собачка: вдоль рельсов щенка-дворняжку прогуливает невзрачный мужичок лет сорока, по виду из работяг. Внезапно она выбегает на шоссе, тормозит такси, тот за ней, тормозит грузовик, чуть его не сбивает. Выскакивает шофер, выше на две головы, хватает за грудки, волочет на тротуар, бьет по уху — *учит* — так, что появляется кровь. Тот делает вид, что ничего не случилось, ничего с ним не произошло, а тоже *учит* — нежно, то есть треплет, но несильно — собачонку и демонстративно продолжает *прогулку*, лишь время от времени дотрагивается до уха. Потом даже велит ей «служить», приносить палку, и прочее. Ну, Достоевский, ну, девятнадцатый век, Некрасов и Достоевский! На нынешние-то сцены мы натренированы — ужаснут, и всё в порядке. А такие, под старину — фирменно душераздирающие, они душу вот именно что раздирают.

Автобус идет по промзоне, бетонные заборы, свалки металла, крыса выбегает из-под стены и ныряет обратно, ЛТП следующая, кому выходить? Дверь заперта, звонить в звонок, ручки нет. Открывает санитар, внутри шум, как из спортзала, — от говора в помещении, а еще, оказывается, работает телевизор, хоккей. Называется холл отдыха — подождите, санитар говорит, в холле отдыха. Но я уже вижу Кешу, сидит около аквариума, между двумя столиками доминошников, читает книжку. Поднимает голову: а, батя прислал!.. И без эканий, без меканий, горячей скороговоркой: забирайте, Данила, меня отсюда немедленно, а то ночью порежу вены и выпущу кровь золотым рыбкам. Нашел тут Сэлинджера, без начала, без конца, без середины, но главное есть, а и не было бы, всегда помню: куда деваются утки, когда пруд замерзает? Это бессрочно, это *они* меня, я меня тут задрочат, знают, что некому взять на поруки. Забирайте... В эту минуту медсестра из коридора: пятая палата, прием таблеток! Доминошники уходят, возвращаются, с шиком выплевывают в ладонь таблетки из-за щеки. Четвертая! Уходит Кеша, диктор орет с искусственным восторгом: гол! счет девять-ноль в пользу Советского Союза, голландцы выпускают на лед свою основную пятерку. Лед, июнь. Телевизор стоит у глухой стены, расписанной под подводное царство: водоросли, рыбы, осьминоги, звезды, ближе к потолку берег, по нему от воды удаляются юноша и девушка, голые, спиной к нам, навстречу оранжевому солнцу. Точнее, навстречу портрету Ленина в красном углу: добрая дебиловатая улыбочка, удивительно подходит к заведению.

Кеша выплевывает таблетку, подбородком показывает на изображение: я вам лучше нарисовал, да? Я бы и им лучше нарисовал, но им нужно, как в журнале «Юность», позапрошлогодний стиль «нуво». И как в магазине «Дары моря». Чтобы обязательно была вода, как можно больше воды — чтобы она заменила водку, вытеснила из сознания, понимаете? Но все их художники прошли через делириум тременс, видите, эти сизые водяной с русалкой с еще непросохшими гузнами — видите: матрица делириума тременс. И не думайте, что с таблетками всегда обходится так просто — только в часы посещения. Плюс уколы. Я уже сам готов рисовать, как этот Чюрленис. И каждый день восемь часов в штамповочном цеху, вы знаете этот грохот?.. Я говорю, что постараюсь. Един-

ственный, кто приходит в голову, — опять Зоя, фиктивный брак. Да! а почему вы этому иерею божию написали, а не мне?.. Он распускает рот, делает умильные глазки: потому что я его тогда *челомкнул*...

На обратном пути ныла душа. Ныла, сообразил я, с самого утра, когда еще ни собачек не было, ни дверей без ручек. И даже не с утра, а уже несколько дней... много дней... и началось это... началось когда? С письма Жене «лично». А пожалуй, и раньше — когда его зреющая взрослость стала подравниваться с моей черствеющей. Словом, началось с Жени и кончалось им, и в том, что он отпал — и все время, пока отпадал — от школы, идет на филологию, станет университетским и так далее, я ощущал только расшатывание скреп, соединявших нас, и, стало быть, в той их части, которая была вбита мне в душу, выходила из нее, составляла и по-своему выстраивала ее, — расшатывание ее самое, души. Я пошел по Невскому, как ровно семь лет назад с Женей, с надеждой, в которую сам не верил, вдруг встречу его, но на этот раз, из-за дождя или еще почему, толпы не было, только группки, коротенькие ручейки, даже движение транспорта не отменялось — и, конечно, никакого знака, ни следа, ни флюида, «ничего похожего» на Женю.

Оу'кей, оу'кей. В почтовом ящике ждало письмо, вместо обратного адреса неразборчивая подпись. Дома переоделся в сухое, развесил мокрое, вышел на кухню поставить чайник, увидел на столе записку. «Папа, Гребневы приглашают пожить у них на даче. Мы бы с Лизой готовились к экзаменам, а заодно отдышались. Всё никак не получалось с тобой об этом поговорить, решил написать, чтобы ты до завтра «привыкал к мысли». И вообще — надо бы нам поговорить». Ничего страшного, сказал я себе, — хотя и думать-то про страшное было вроде не с чего. Нормально, всё нормально. Открыл письмо, на конверте сахалинский штамп: мой муж застрелился из-за вашей суки, пусть ее близкие и потомство перенесут то, что я и мой ребенок. Оу'кей. Позвонил Зое, рассказал про Кешу. Выслушала и молчит. Окликнул: вы здесь? Отозвалась: здесь, но поговорим позднее — и уже, слышу, вешает трубку. Эй! эй! а Женя вам ничего не говорил? Про что? Про Гребневых. Нам бы, Даниил, с вами тоже неплохо поговорить. Так говорите. Не по телефону... И разъединила.

Пора было идти на торжественный акт в школу: надел галстук, рубашку с запонками, Кириллов выходной костюм, в котором он снялся с перевернутыми орденами. Женя из первого ряда обернулся, помахан рукой, а когда получил аттестат, промаршировал с ним ко мне, поднес к моим глазам, сказал: можешь приложиться. Назавтра явился к полудню, говорил и двигался весело, болтал про вечер, бал, спрашивал, как мне мама и папа Гребневы. Ну, давай перекусим — спотыкнулся — и объяснимся. Ты знаешь, ты кто? сказал; ты Чацкий. Я тебя обожаю, я на девяносто процентов ты, но ты невозможный человек. Ты даже и молчишь — или спрашиваешь, а не принести ли из киоска на всех мороженого, — но у людей немножко кровь холодеет. Я тебя уважаю, как никого. Да я вообще только тебя и уважаю по-настоящему. *Вам не дались чины, по службе неуспех?* — *Чины людьми даются.* Это же прелесть. *Помилуйте, мы с вами не ребята; зачем же мнения чужие только святы?* Ну это ты! И я с детства себе говорил: вот он какой! Как никто!

Но Софья ведь тоже прелесть, ведь Чацкий *ее* любит. Софья, и Лиза Гребнева, и даже наша мать. Ты им: *хотел я похвалить* — они хором: *а кончили бы злостью.* Я уже понимаю, что Влад Гребнев не Данте и даже не Грибоедов, но все-таки он одаренный и симпатичный. По нашим временам. По нашим палестинам. По нам. По мне. Я знаю, какой ты, ты, может быть, действительно лучше всех, по крайней мере лучше всех, кого я знаю, ты, как Чацкий, *зол и горд*, а это по нашим временам и палестинам высокий комплимент, по крайней мере для меня. Но помнишь: мсьё Репетилы! вы! мсьё Репетилы, что вы! да как вы!

*можно ль против всех!?* То есть хлеще не бывает, восхищаюсь грибоедовским ядом. А только я тут все равно со *всеми*. Я предвижу, да и сейчас уже вижу, в человечестве бесконечно много неожиданного, бесконечно. Составленного из банальностей и дешевки, по отдельности скучных, но в таких, а главное, в стольких комбинациях, что любой Шекспир-расшекспир и вообще любой самый-рас-самый *один* могут собой представить в лучшем случае что-то лишь отдаленно с этим сравнимое.

Я хочу, не всегда, но, по крайней мере сейчас, жить со всеми. Дай мне пожить с другими, со всеми. Я бы тебе это раньше сказал и легче, если бы не материно письмо. Ты в обморок не упадешь, но я почти упал. Сейчас привык. Этого я ей не прощу, наверное, никогда. Она написала, что я... что, в общем, не ты мой отец. Подожди! подожди! Я только сильнее тебя заобожал, я в тебя просто влюбился. Окончательно влюбился. Ну чего ты так невозможно молчишь! Если тебе так, то я свободно останусь. Да я никуда и не собираюсь — подумаешь, к Гребневым... С чего, сказал я, ты взял, что я не хочу отпустить тебя? Что я не отец, мне не понять: я не отец, но ты мне сын, этого ни фактом, ни документом не отменишь. Но я не еврейский отец, чтобы держать тебя около. К Гребневым, не к Гребневым — всё в нашей воле. Если они хотят... Они хотят, сказал он сразу.

А насчет *всех* и *одного*, продолжал я, насчет всех и одного я бы сдался, я бы согласился, если бы не — чтоб далеко не ходить — Мандельштам. Не Чацкий, а Мандельштам. Он последний и ближний по времени идеальный образец невозможного человека. В смысле — неприятного. Его никто не любил — терпели, уважали, могли восхищаться стихами, но любить, как Ахматову или Пастернака, или просто мужчину с именем Осип Эмильевич, невысокого роста, в пиджачке или свитере, даже яркого, даже вдохновенного — таких, кроме двух-трех, ну четырех-пяти, да и то с дюжиной оговорок, не находилось. И совершенно понятно почему — потому что он был неприятный человек, неприятный до невозможности, и его яркость и вдохновенность были совсем другой природы, чем у Шалапина или у Качалова, или того же Пастернака: неприятной, раздражающей, возмутительной. А у них — приятной, у них восхитительной. Думаю, такой был Данте, за что — а не за политику — его, в первую очередь, и гнали. А прежде всех, как всегда — Иисус: лисы имеют норы, и птицы — гнезда, а мне негде голушке склонить.

И Мандельштам это знал и, что он прав, а другие неправы, отнюдь не думал, а, наоборот, хотел войти в человеческое собрание, *как в колхоз идет единоличник*. Но для того, чем и кем он только и мог в этом собрании быть, что и как говорить, и думать и себя вести, чтобы собой воплотить замысленного на небесном совете Мандельштама, он приговорен был торчать костью в горле людей... Ты, сказал Женя, не Мандельштам, ты обаятельный, ты нравишься Лизе, Владу Гребневу, мне, Зое, пьянице Кеше, священнику, этим, которые хоронили джазового человека, нашей математичке, кассиршам в гастрономе, врачу, нравился, по твоим же словам, Мадмуазель — а Кириллу? а моей матери?.. Подозреваю, ответил я, это только мешает мне быть тем «мною», который как это «я» задуман, — ровно так, как поэтический талант мог мешать Мандельштаму быть идеально «неприятным» человеком. Этого спора никому не проиграть, не выиграть. Да дело идет не о правоте. Плевать мне на правоту, на мою, на дачной компании, на твою, на чью угодно. Дело идет о том, что чем больше человек уходит в человечество, тем меньше он — человек.

Женя уехал на дачу к Гребневым, на Карельский перешеек. Гребнев-отец мне звонил, он раза два-три в неделю ездил на машине в город, он был каким-то теоретическим шишкой в физтехе, мог не каждый день являться. Говорил, что у

него записочка ко мне от Жени, и еще одна, и сегодня тоже новая, но у нас никак не получалось встретиться, я предложил послать по почте, но он сказал: да это записки, жив-здоров, ему там хорошо у нас. Зоя тоже не появлялась, только звонила, спрашивала, не нужно ли мне чего, а то очень много мороки с оформлением выписки Кеши. Я в свободные дни ездил в Солнечное, утром уезжал, вечером возвращался — как Кирилл, когда мы с Женей приехали из Прибалтики. Из-за Жени, из-за того, что мы все время были вместе и самое отвлеченное мое или его слово или движение всегда содержали в себе, как школьный ньютоновский вектор, компоненты одновременно нас обоих, а теперь всё его здесь, комната, книжные полки, плакаты битлз, футбольного форварда Росси с мячом в ногах, Влада Гребнева с бас-гитарой, скрученное в валик одеяло на диване, его запах в воздухе, но его нет и уже неизвестно, будет ли, и, уж во всяком случае, если будет, то никогда не вернется к прежнему, — постоянно и ровно болело сердце, и ничего с этим было не поделать.

К концу июля они вернулись, в августе начинались приемные экзамены, но он сказал, что разумнее ему, конечно, оставаться у Гребневых: общие с Лизой учебники, книги, конспекты. Звонил перед каждым экзаменом и, само собой, после каждого, забегал на четверть часа, я его быстро кормил, он оставлял носенные рубашки, забирал чистые. Оба они прошли, Гребневы устроили пир, я заказал в «Севере» полуметровой высоты торт — гвоздь стола. Хором пропели: ого! — когда хозяйка сняла с него, подняв вертикально, картонный цилиндр, хозяин воскликнул: гвоздь программы! Я сказал: не гвоздь, а в масть — и он спросил, немного растерянно: в масть чему? Я сказал: ну, всему, копченому языку и севрюге — и последовало несколько секунд тишины, как будто поежились. Там было две пары их близких друзей, Влад с умопомрачительно красивой актрисой, которая только что вернулась с кинопроб у Дзефирелли, — и Зоя: ее пригласил Женя. И друзья, и актриса были ужасно милые, Женя с Лизой — предупредительно-нежные друг к другу, но никак не сказать, что влюбленные, Зоя — ко всем ровно расположенная и при этом само достоинство. Атмосфера была праздничная и необыкновенно дружеская, необыкновенно было приятно, какая-то волна даже упоительная набегала временами. Я стал оглядываться, откуда это идет.

Я стал оглядывать сидевших вокруг, делая вид, когда их глаза встречались с моими, что мой взгляд мимолетный, просто скользит без определенной цели, однако на тот миг, что мы пересекались, я, вероятно, не успевал убрать какого-то выражения из своих глаз, отчего их — испуганно вскидывались и гасли. На миг — но в прежней беззаботности и доброжелательности уже не восстанавливались. Я быстро остановился, сходил в ванную, вернулся такой, каким был сначала, — *упоительность* улетучилась совершенно. Было славно, дружелюбно, уютно, но без превосходных степеней, не *необычайно*. И причиной был я. Это знали все, исключая, может быть, Женю и Зою, потому что для них я и то, что я думаю и что выражают мои глаза, когда смотрю на людей, были привычными. Люди пришли и сидели довольные тем, что Лиза и Женя так прекрасно сдали экзамены, начинают университетскую жизнь, так дружат и так любят друг друга и что это попадает на благополучие их родителей и общее благополучие всех собравшихся. Не просто довольные, а чрезвычайно, абсолютно. Только так и можно быть довольным. А я внес подозрение к этому, поставил под сомнение, стоит ли так по всем этим поводам радоваться, такие ли уж это поводы, эта университетская жизнь, близость юных душ и само это общее благополучие, и тем ни с того ни с сего испортил всем настроение.

Нам с Зоей было в одну сторону: пройдемся? — пройдемся. Я спросил: вы заметили? Она рассмеялась: да как тут не заметить? Вы даже если не лезете со своим несогласием, все равно своими манерами и темами разговора, просто ва-

шими «да» и «нет», занимаете место, и вас надо обходить... Я пробурчал: и Мандельштама надо было обходить... И чего хорошего? Чего хорошего, что кого-то надо обходить? Вы *диссидент*... Ну да я диссидент. Но не идейный. Если бы я был идейный, меня бы прощали и принимали. То, что я против, с лихвой перекрывалось бы тем, что я заодно с вообще *идейными*, а идейные — все. А я ведь в церкви могу остаться стоять, когда все падают на колени, и, наоборот, лежать на полу, когда после «святая святым» все начинают разминать ноги. Не из идеи, а потому что в тот момент знаю — я знаю — что мне так нужно... Плохой характер, усмехнулась она, тяжелый... Да если бы! Если бы характер, или заблуждения, или, в конце концов, оригинальность. Прощали бы и принимали. У меня — так, у другого — иначе, можно потерпеть, можно даже не обязательно снисходительно, а с интересом в это вникать, даже заражаться, даже дружить со мной. В том-то и дело, что выталкивает меня из людей, из любого их сообщества мое ничем не колеблемое и потому ничуть не аффектированное *знание* того, что это — *так*, а не *иначе*. Не точка зрения, не концепция, не убежденность, а знание. И разница между тем, что выражает *другой* и что я, ощущается всеми так же, то есть переживается с таким же неприятием и непримиримостью, как разница между убеждением, верой одного, другого, пятого народа в свою особость, особую судьбу, историю и готовность за это убеждение пострадать — и *знанием* евреев о своей избранности, не настаивающим, не требующим признания, абсолютно безразличным к тому, согласен мир с этим или несогласен...

Ну и что, сказала она, это значит только, что у всех евреев тяжелый характер... Мы шли вдоль Нахимовского училища и в аккурат возле трапа на «Аврору» я проговорил: ладно, сил моих больше нет, давайте поженимся — и поцеловал ее в щечку ближе к губам. Прошли еще шагов тридцать, и она ответила: да нет, позднонато; я расписалась с Кешей... Я остановился, схватил ее за плечи, развернул к себе, сильно прижал и, хотя всё уже понял, пролепетал: какая разница! вы же фиктивно. Или что?.. Или что, ответила она, не отодвигая лица от моей рубашки; моя мама переехала к нему, а он живет у меня... Я всё не отпускал ее, да и она не высвободилась, и тут я нестерпимо захотел, чтобы вот так, прижавшись, мы оказались дома и наконец я с ней и она со мной обнимались, целовались, валялись и не отпускали друг друга — ради самих объятий и ради того, что мы муж и жена. Я прошептал ей на ухо: пошли ко мне, она помогала головой, я продолжал, уже не слыша, что говорю: мост Свободы, два шага — и, схватив за плечи, боком повел-поволок ее. Она сказала: это ни к чему; ну мы сделаем это; для меня не такое большое дело; станет только хуже; теперь нам с вами от всего будет только хуже... Я снял руку с ее плеча, подошел к парапету, уставился на Неву. Она пошла к мосту.

Потом я пошел к мосту. Эй, стал говорить я себе, как будто лежащему в больничной постели, в комнатке для умирающих, которого надо подбадривать. Даже прикрикнул, на голос: эй — и неожиданно закашлялся. Смешно — а не изображай из себя больного. Но если не вслух, то: эй, ты же так и хотел, только так. Вот ты и один. Что, слабо? Кирилл говорил: *маргинал*. Ты — маргинал, вытесненный маргиналами за край страничного поля. Но ты же это знал, ты знаешь, что и маргиналов сбивает в стаю, и одно от этого спасение — быть неприятным и для них. Человек *должен быть* неприятным, ты же так искренне думаешь. Ну так и бреди выжженным лесом, и единственный звук, который можешь — по обстоятельствам и внутреннему разрешению — себе позволить, это кашель.

Назавтра пришел Женя: отправляют на картошку, надо собрать вещи, резиновые сапоги, мой старый плащ, мои джинсы подырявей, свитер поношенней. Вообще-то думает о поездке не без удовольствия, уже присмотрел нескольких ребят из поступивших вместе с ним, не говоря о Лизе, но все-таки свинство

слать, как будто это само собой разумеется, мальчиков и девочек, нацеленных на Проперция и Мюссе, в холодную колхозную слякоть — типичное коммунистическое свинство. И для подавляющего большинства это, действительно, само собой разумеется — и картошка, и коммунизм: если бы сделать свободные выборы, за них проголосовали бы процентов восемьдесят — как ты думаешь?.. Я сказал: да хоть сто. Не уговаривай меня, что они что-то собой представляют, потому что представляют за сорок или за восемьдесят процентов людей. Хоть, я говорю, за сто — с пусть единственным, может быть, исключением, но мной! Именно потому что за столь многих и именно потому что я единственное исключение, они представляют собой *ничего*, ноль без палочки — потому что палочка — это я. Ты лучше скажи, какие у тебя отношения с Лизой?..

Ой, Лизка — страшный *друг!* Я к ней привык, как к своему лицу в зеркале и к своей печенке и легким. Ну, представляешь себе, она надевает какие-то лифчики и колготочки из Франции, которые отец привозит, но я же ее знал в десять лет в черных физкультурных трусах. А отец у нее славный, ты не думай, и их приятели — симпатичные. Ну конечно — партийные дети партийных родителей, я имею в виду, что родители были коммунистами, а они антисоветчики, но держатся-то так же кучно, и я вчера поглядел на них твоими глазами, и ты прав, если я тебя правильно понял: самодовольства чересчур, до самолюбования, это есть — однако ведь и шарм есть... Тем временем я натер картошку, сделал картофельные оладьи, его любимые, поджарил антрекоты. Поели, и уже за чаем он вдруг рассмеялся, отставил от себя кружку и сказал: больше не могу, надо вытащить скелет из шкафа. Слушай, а что если мы разменяем квартиру, чтобы у меня была своя?..

Эй, проговорил я себе, продолжая прихлебывать из кружки — как в кино; надо, это самое, держать удар. Как в кино, но получалось плохо... Ничего, ничего, сказал он, ты привыкай к мысли. Ты не из папаш, которые разводят. Какой тебе интерес слушать мои дурацкие студенческие разговоры по телефону? А мне — какой интерес ради тебя делать их короче и умнее? Все равно когда-то разъезжаться — какая разница когда? Или ты хочешь нянчить внуков? Так разменяемся, чтобы жить поблизости, и милости просим, когда будут. И вообще! Ничего же не меняется — между нами; ни-че-го... Я сказал: в общем согласен. Еще подумаю, но в общем согласен... И только он ушел, зазвонил телефон: Кеша. Выпивши. Здравствуйте, наше вам. Как Женя: не говорил насчет размена? Мне Зоя сказала, и я покумекал: что если ему — в ее квартиру, ну, в нашу, вам — в мою комнату, а нам с ее матерью — в вашу? У меня в коммуналке, но на Кировском, большая, и всего две семьи. Она мне с вами говорить запретила, так что не выдавайте. Но я звоню не чтобы сразу цап-царап, а чтобы вы знали, что есть вариант... Нет, сказал я, нет варианта. Размахнулся трубкой, хотел шваркнуть, но перед самым гнездом тормознул, поднес опять к уху и попрощался: Кеша, до свиданья.

Разменялись опять быстро и довольно удачно: мне однокомнатную, почти на углу Среднего и Восьмой линии, в доме после капремонта, а Жене однокомнатную в панельном, в Гавани. Можно было бы наоборот: у него халупистая и далековато; но он настаивал, а я не сопротивлялся. Моя все равно на него записана, нотариально — если со мной чего-нибудь, как сказал нотариус, не того. Честно же говоря, наоборот было бы неправильно, я, как тем, кто меня знает, известно, не альтруист, и почему мне жить хуже, чем ему, не понимаю. К зиме уже обосновались на новых местах, как будто всегда так было. Переезд Женя взял на себя, с командой тонкокостных молодцов все упаковал, погрузил-разгрузил, я только наблюдал. Первый месяц приходил чуть не через день, вбивал гвозди, двигал, вешал — видно было, что получает удовольствие. После Нового года пропал, в феврале появился, на бегу: как ты? — торопился на вечеринку. При-

ходить стал раз в десять дней, раз в полмесяца, звонил почаще. Я тоже ему позванивал, оба разговаривали, как будто пять минут назад на пути из кухни в прихожую перекинулись парой слов, а одно, столь же обыденное, забыли и вот договариваем. Легко, необязательно, нормально — опять, как в таких случаях полагается, *чересчур* нормально. Я вспомнил, что у него и с матерью так складывалось, уже с детства. Может, самозащита, а может, и черствость.

Я знал, что если бы нажал немного, да просто почаще бы звонил, повеселей, поинтересней, не говорю уж, разок-другой разжалобил бы его своим одиночеством, то *имел* бы его больше, ближе. Всё равно не столько, сколько хотел, потому что хотел каждую минуту, как все его семнадцать лет от рождения, и думал о нем безостановочно, и самое легкое из болезненных состояний, этим думаньем насылаемых, было томление, постоянное, а находила и подавленность, и прямое отчаяние, — но все-таки несравненно больше того почти ноля, который он пустил ко мне, как детский обруч, вместо себя. Может быть, и ему тогда было бы уютнее и спокойнее — он ко мне был привязан и, наверное, когда отдалялся, совесть погрызвала его. Только зачем мне, чтобы он *такой*, намеренно мною притягиваемый и разжалобленный, меня любил, если, как я видел, может не любить? Фальшью-то, и совсем-совсем крошечной, я и Зою бы сохранил, а чуть большей — и *душой общества* сделался.

В мае — как раз пошел ладожский лед — позвонил филолог: кто старое помянет и проч., а он уезжает, навсегда, всей семьей, в Штаты, проводы тогда-то. Адрес дал материн, на Гражданке, что-то, видимо, химичили с собственной квартирой. Спустился в метро и уже на эскалаторе услышал объявление, что из-за ремонтных работ поезда ходят медленнее обычного и, кто хочет, добирайся «наземным транспортом». Я вез «Вторую книгу отражений», девятьсот девятого года, в подарок на прощанье, решил, что как раз почитаю. Поезд ехал очень медленно, останавливался, гас свет. Вдруг подумал не подумал, показалось не показалось, что давно уже мы вне Ленинграда, а ползем подо всей Россией. Стала разыгрываться фантазия — с, увы, реальным самочувствием: заблудиться в этих пещерах, надвигающийся поезд, прижался к стенке, присел спиной к бетону, смерть от страха все ближе, «из-под земли молитва не доходит», телефон — куда? — не отвечает, озноб, слепота... Когда наконец доехал, вышел на улицу — вот вздор-то, наплевать и забыть. Ни на символ не тянет, ни на комплекс — так, в рассказик вставить. Рассказик, например, про иностранца, которому русский говорит: «Отцы и матери в России есть, а комплекса Эдипа нет».

Двенадцатизэтажный дом-башня, квартира на первом этаже. У подъезда телефонная будка, в ней два стукача, третий ходит около, шморгает носом. Дверь на лестницу открыта, последние гости стоят в дверях, и полная тишина. Как-то пробираться внутрь, квартира-распашонка, вижу Германцева, протискиваюсь. Что случилось? — не шепотом, но очень тихо, сдавленно. Хозяева поехали к тетке Солженицына. Или к тетке его ближайшего дружбана, с которым он сидел. Под благословение. Скоро приедут. Литература, говорит мне Германцев одними губами, должна вдохновлять нашу жизнь. И вдохновляет. Или хотя бы определяет. Но эта литература — для бедных. Потому что мы — бедные... Я скрежещу: и твоя любимая акмеистическая? Он так же беззвучно: акмеистическая была искусством для искусства, малым для большого — чтобы было о чем потом в Тарту говорить, на конференции...

Вдруг справа, дама с сигаретой в уголке рта, незажженной, на нашей частоте: совершенно с вами согласна... Так стоим минут пять, без движения. Она наклоняется к моему уху и шепотом — все-таки по-человечески, шепотом, не с губ читать: вы сверхъестественное улавливаете? есть в вас это? Я ей в ухо: письмо в почтовом ящике — могу, не спускаясь, угадать от кого. Она поворачивается к типу, стоящему за ней, шепчет, тот строго смотрит на меня и несколько раз ки-



вает. Еще пять минут. Они снова шепчутся, тип начинает протираться к телефону, все за ним напряженно следят. Набирает номер. Это я — обыкновенным голосом, но впечатление — в этой немоте — что заорал. Возьми пирог и приезжай... Нет, на второй полке — прикрывает трубку и глуше: на-вто-рой-пол-ке. Мычит: ну-вто-рой-эк-зем-пляр. И тут — хозяева. Вспыхивает возбужденный разговор, в обеих комнатах, все друг с другом знакомятся, бурно, темпераментно.

Я выпил рюмку водки, начал продвигаться к филологу. Дарю книгу, обнялись, с женой поцеловались, и по дюйму, по дюйму поплыл к двери. А оттуда встречная струя, вновь пришедших, и среди них вижу философа, вижу осветителя, вижу — Женю вижу. И мы в сильно замедленной съемке сближаемся. Примерно с метра начинаю улыбаться философу, а когда лицом к лицу, проговариваю: рад тебя видеть — и вдруг он очень спокойно, тихо произносит: а я вот не знаю, умри ты сейчас — перешагну и не замечу, или екнет в поджелудочной? Так спокойно, и твердо, и ясно, что я ушам не поверил. Побыли с полминуты друг против друга и миновали один другого. Немножко, признаюсь, в нокдауне принимаю в объятия осветителя. И — Женя. Похлопал его по щеке, он меня в щеку чмокнул: как ты? А ты как? Поворачивает голову назад, показывает на парня за спиной, его возраста, и говорит: познакомься — мой брат.


Есть короткое время сообразить, и я говорю: давай все-таки на минутку выйдем — и мы ползем к двери. В прихожей втыкаюсь в человека со знакомым лицом, машинально всматриваюсь, он делает пальцем у губ: тс — и лицом: тс; прошу; не надо. На лестничной клетке в толпе еще двое, которых тоже вроде где-то видел. Они профессионально мгновенно прячут лицо — и тут понимаю, что это стукачи из будки, а тот в прихожей — с улицы. Уже темно, я Жениных глаз не вижу — мозгло и темно. Он говорит: мне мать тогда написала, что родила меня от писателя... Я вставляю: зачала... ..зачала — он когда-то-некогда написал про тебя какой-то рассказ, а это его сын от первой жены. Мой сводный брат... Я постоял, потом протянул — в определенном смысле, наугад — в темноте руку, потрепал его по щеке и пошел из двора на улицу. И ничего вслед себе не услышал.

Я просыпаюсь, лежу в декабрьской полутьме. Как же так, я ему восемь лет делал утром завтраки в школу, два бутерброда с колбасой или сыром и яблоко, а он... Что он — не знаю, не могу сказать, потому что опять: каждое утро два бутерброда, восемь лет — сколько же это завтраков, полторы тысячи? — а он... Я лежу в декабрьской полутьме, меня подташнивает, у меня болит сердце, а он... а он даже не может вынести мусорное ведро. Мусорное ведро всегда была его обязанность, он сам предложил, что будет выносить. Полторы тысячи мусорных ведер. Сердце поболит, потом проходит, через несколько секунд опять, каждый раз по столько и терпимо, но когда болит, это болит *сердце* и каждый раз *последней*, не снимаемой ничем болью. Болят мышцы шеи и спины, как будто это грипп, ломит шею и спину — и я один, никого ни рядом, ни вокруг, нигде. Кто-нибудь — помилуй меня, погладь, помассируй спину, поласкай, помилуй.

Ладно, надо вставать. Он сейчас в Калифорнии — писателя пригласили на год в университет, *райтер-ин-резиденс*, и он вывез и своего, и Женю. Женя мне пишет, раз в две недели, в три, скоро должно быть очередное письмо. От письма к письму всё больше зрелости — которая во все более ровном сквознячке горечи, потягивающем из строчек. Я отвечаю. Писать особенно нечего, но на две страницы, а то и на четыре, набираю: в промежутке записываю что поинтереснее, потом свожу в письмо... Вдруг пришла открытка из Японии, складная: раскрыл — музыкальная фраза Вивальди. Внизу «целую, Лика»... Зоя — Зоя звонит, даже приходит. Пришить, помыть плиту, ванну, подмести. Я умею все это

делать сам, иногда делаю, редко — потому что не тронь пыль и она тебя не тронет. Я прошу не приходите, даже уходил пару раз из дому — она говорит: мне лучше знать. Никого не родила. Кеша прибаливает, так что, смеется она, если с ним «чего-нибудь не того», мы еще можем пожениться.

Ладно, надо вставать. Нет, правда — этого спора никому не проиграть, не выиграть. Я Жене не врал: дело идет не о правоте. Правоту берите — а как быть с... с тем, о чем идет дело? Оно же идет о том, что чем больше человек уходит в человечество, тем меньше он — человек. Что человек и человечество — самые непримиримые и принципиально не могущие быть примиренными антагонисты. А в то же время человечество рождает человека, он без него невозможен. То есть тут трагедия, заложенная в мироустройство. Как в жизнь смерть. В ее неразрешимости есть то же, что в самом акте творения. Пусть не целью, но центром его был крест. Не рай и вечная жизнь, а грядущий крест. И *сказал Бог*. «Сказал» — то же имя Бога, что и «Слово». Сказал-Бог=Бог-Слово, Христос. Он санкционирует акт творения и сотворяет. А что Он «увидел, что это хорошо» — это признание в любви к созданию. К созданию, которое в высшем своем проявлении — человеку, «подобии Бога», то есть не в Боге, а лишь слабом, жалком, *убогом* подобии, всю жизнь будет отталкивать Его и в конце концов убьет. Потому что вся эта боль: унижение, разрыв, уход и убийство — заложена в любви. И, сделав то, про что Он-Сказал «да будет», из любви, Христос соглашался принять ту, позднюю боль распятия. Поэтому Послал-Сына-Своего-на-смерть — не Иисуса в пять тысяч пятьсот сорок первом году от сотворения мира, а Себя, когда Сказал «да будет». Это и значит Бог есть любовь. Боль — проба любви, как клеймо на золоте, пыточное клеймо. Так что крест предлежит Мессии даже не верящих в Иисуса иудеев. Человечество — микронный слой живой материи на поверхности земли. Земля, как известно непредвзятому зрению, плоская, горизонт. Человек, *прямоходящий*, — вертикаль. Пересечение человека и человечества — вот и крест. Крестик на карте.



## Мерцает, высится ИЗЪЯН...

\* \* \*

Всегда нелеп, когда не пьян,  
Среди миров незримо-ложных,  
Ты отчего-то внес изъян  
В свое творение, художник.

Прошло мгновение, и вот  
Среди откровений невозможных  
Твое творение живет —  
Ты прав, взыскательный художник.

Анчара стрелы пронеслись,  
И снова — все светло и голо.  
Лишь в бедном сердце запеклись  
Неизреченные глаголы.

Мы — очертанья темных ям,  
Так безответно, неподкупно  
Мерцает, высится изъян  
И взор любой тупит преступно.

\* \* \*

Растаял снег простуженных аллей,  
Где ты гулял с отсутствующим видом,  
Густую шапку сдвинув до бровей,  
Навстречу детским страхам и обидам.

Двадцатый век — двадцатые года —  
Тоска и мрак, разбавленные кровью:  
Прекрасное пленяет навсегда,  
След сапога смывается любовью.

\* \* \*

Когда бы нас подняли по тревоге  
И сколотили в серые полки,  
Мы были бы тогда не так убоги,  
Не так от этой жизни далеки.

И на полотнах, застывая в красках,  
Из тех времен глядящие сюда,  
Мы были бы суровы и прекрасны  
И далеки от Страшного суда.

\* \* \*

Я убит подо Ржевом, но только убит  
И поныне стою под прицелом.  
Вот еще один волос, в хребте перебит,  
Стал единственным и драгоценным.  
Вены я перерезал садовым ножом,  
И они проросли, как сумели.  
Утром судного дня я покинул Содом,  
Посмотреть, как цветут иммортели.  
От счастливой судьбы, от красивых людей  
Я вернусь молодым и любимым,  
Чтоб клевал мою кровь на снегу воробей,  
Как застывшие капли рябины.  
Чтоб леталось легко по земле воробью  
И душа не просилась на волю,  
Потому что тогда я его не убью  
И другим убивать не позволю.

\* \* \*

Рыдает над «Фаустом» Гете  
Районный механик Петров.  
Гадают о нем на работе:  
Он запил иль так, нездоров?

Неделю в духовной погоне  
Метался и рухнул без сил,  
Но, кажется, в целом районе  
Мгновение остановил!

Столетий распались цифири.  
Был немцами Гете забыт.  
Но где-то в далекой Сибири  
Мгновенье Петрова стоит!

\* \* \*

Эту осень нельзя переплыть.  
Тонет мир между Волгой и Вяткой.  
Даже галки крестовой девяткой  
Карты всей не сумеют покрыть.

И уже не найти берегов —  
Как подумаю, вдруг обмирая,  
Что разлив Волго-Вятского края  
Не спадет до декабрьских снегов...

Там живут на земле, от земли,  
Проплывая по глинному морю,  
А к дорогам причалят зимою  
До весны деревень корабли.

В редкий день прозвенят небеса  
Пустотой опрокинутых ведер.  
Я не спрашивал: «Как вы живете?..»  
И родным ничего не писал.

\* \* \*

Себя мы в детстве плохо повели.  
 Нас вывели из образного ряда,  
 Зашив пустых карманов пузыри.  
 По яблоку надкушенного взгляда —  
 Ногтем редактора, прививкой против тли,  
 В остывшем гении перемешав угли,—  
 Дипломы выдали и выгнали из сада.  
 Из детского, вишневого, пешком!  
 Пустеть в садах словесности российской,  
 Где мальчиком резвился босиком  
 И бабочек ловил и василисков.

\* \* \*

Я шел по мостовой, где проливалась кровь,  
 Из пункта А в пункт Б перетекая.  
 Но в этот страшный год я был такой живой,  
 Что воздух протекал, мне вены протыкая.

Все длилось, все цвело и таяло в пыли,  
 Но были мы прозрачны для металла.  
 И только взглядом, брошенным с земли,  
 Накрыло нас, лежащих как попало.

\* \* \*

Не говори, что время умирать!  
 Пускай уйдут последние поэты,  
 В пустой толпе сотрутся силуэты,  
 В линейку синяя закроется тетрадь,  
 Исписана, на слове «благодать».  
 Проснется ангел рано утром, в пять,  
 Протрет глаза и молча скажет: время.  
 Какое время? Строк не разобрать!  
 Свернет тетрадь. Ты не успел со всеми!  
 И слышишь слово. Слово — незнакомо...  
 Словарь откроешь — нет такого слова!

\* \* \*

Вот нет меня, и год спустя  
 Найдется пара идиотов,  
 Кто, мой убогий стих прочтя,  
 Воскликнут: гений, кто ты? Кто ты!  
 А я никто, ничто, нигде —  
 Как ты, мой друг, меня читавший,—  
 Так незаметно по воде  
 Забрел в конец. Совсем не страшный.

\* \* \*

Мы не уедем больше в Ленинград,  
 Где львы годами мяса не едят,  
 И у Казанского ступени пред дверьми  
 Людьями истоптаны, а пахнут — лошадьми,

Где в чугунах зачумленных оград  
Закованы деревья без дриад.

Но, в Летний сад войдя, как в отчий дом,  
Застынем, оглянувшись на Содом.

\* \* \*

Ну вот мы и в аду.  
С закрытыми глазами,  
Ощупывая тьму, я эту щель найду.  
Здесь растворились все,  
Кто взглядами пронзали  
Остывшую в стекле опавшую звезду.

У смерти есть лицо.  
Но может показаться — у смерти нет лица.  
Прозрачны и темны,  
Расходятся черты, глаза ее таятся,  
Так смотрят зеркала с обратной стороны.

Я смерти не искал.  
От твоего дыханья  
Туманится стекло, кружится голова.  
И пробует лицо корнями в нежной тайне  
С обратной стороны растущая трава.

\* \* \*

Срезая прошлогодний виноград,  
Не помню как, впервые принял яд —  
От друга — слов печали задушевной.  
И если слово в сердце запереть,  
То от печали можно умереть,  
И умер бы, но Бог пометил шельму.  
Из сапога, как самодельный нож,  
Он доставал убийственную ложь  
И по привычке бил меня под сердце.  
Но рана старая впускала сталь легко,  
И по ножу не кровь, а молоко  
Течет. Не промахнешься, как ни целься.

\* \* \*

А Любочку мне было жальче всех,  
Она жила в России Мандельштама,  
Где не проходит дождь, не тает снег,  
Куда из дому выгоняет мама,  
И не приходит ни за кем успех,  
И ни о чем не говорится прямо.

Так много нас бежало в ту страну  
И с полпути бесславно возвращалось.  
А если кто и встретился кому —  
Бесслвно обнимались и прощались  
Затем, чтобы пропасть по одному.

Любимая, я шлю тебе привет  
Из этих мест в Россию Мандельштама.  
У нас с тобой другой России нет.



## Западный экспресс

*Варшава — Франкфурт-на-Одере*

Весь день поезд шел через Польшу. Виталий Геннадьевич то спал, храпя и облизываясь, то бегал в соседний вагон, о чем-то договаривался, что-то таскал туда-обратно. Его волновала немецкая граница, и интерес ко мне улетучился. Я пытался читать... пытался заняться французским языком... Но это были только благие намерения. На самом деле я час за часом смотрел в окно, курил и ни о чем не думал.

Москва всё отдалялась, и московские заботы расплывались. А заботы были, и весьма серьезные. Через три месяца я должен был начать — впервые в жизни — снимать «свой фильм»: «ЧЕРНОВ» — моя постановка и сценарий по моей же повести. Всю осень и зиму я готовился. Писал режиссерский сценарий, договаривался с оператором, с художником, создавал группу. Я знакомился с десятками и даже сотнями людей, составлявшими сложный механизм «Мосфильма». Шел четвертый год перестройки. Крупнейшая кинофабрика страны доживала свои последние сроки, но всё еще производила впечатление мощной и неприступной. То, что я проник сюда со своей повестью, можно было назвать чудом. Десяток лет назад я совершил уже пробег по этим коридорам и кабинетам. Тогда я остро пережил жутковатый эффект внезапного отчуждения, эффект «мгновенной смены лица». Мне казалось, что я знаю каждый закоулок «Мосфильма». К тому времени я нашагал по этим коридорам не одну сотню километров, с моим участием были насняты здесь и прокручены тысячи метров пленки. Со мной здоровался каждый встречный, и я здоровался с каждым встречным. Мы все знали друг друга... Так казалось. Казалось, пока я шел в гриме и костюме Бендера, или Импровизатора, справа от меня шла ассистентка, слева костюмерша... Так казалось, пока я был (довольно долго!) снимаемым, УТВЕРЖДЕННЫМ актером. Но вот меня вдруг перестали УТВЕРЖДАТЬ — это еще только начиналось... еще и слухи не успели расползтись, но запах пошел... И тут уж ничего не поделаешь... Большинство лиц стали незнакомыми, оставшихся знакомых захлестнули дела, у многих отшибло память, в самых любимых, самых уютных уголках студии как-то разом везде начался ремонт, в очереди в буфет перестали находиться люди, кричащие: «Сюда, сюда, он передо мной занимал!»

Я принес тогда на студию заявку на постановку фильма по повести Зои Журавлевой «Островитяне». Мне нравилась эта повесть, я «заболел» ею. И вот претендовал на то, чтобы стать режиссером. А как раз в это время меня как актера и раз, и два НЕ УТВЕРДИЛИ на роли, а я лез в режиссеры, то есть в начальники. Ах, как неосторожно! Ах, какая ошибка! Я ведь уже под колпаком, а вести об этом распространяются быстрее света... Да нет, меня принимали, при некоторой настойчивости принимали даже в самых главных кабинетах, но... уж слишком смело сверкали глаза при словах: «Я-то лично был бы за то, чтобы вы попробовали начать переговоры о возможности встретиться с кем-нибудь в Комитете по этому вопросу». Режиссер-то — должность распорядительная, а значит,

номенклатурная. Потому и стояло отчаяние в глазах того, кто похлопывал меня по плечу и говорил: «Но во всех случаях не надо отчаиваться!»

Странными рывками шло дело — уже и группа создавалась, и с оператором мы познакомились, экономисты начали обсчитывать экспедицию на Дальний Восток... Потом всё стопорилось и со мной говорили в больших кабинетах грустные вежливые люди: «Вы, стало быть, даже и беспартийный? А какие у вас отношения с вашим обкомом?.. Странно... очень странно... Тут может быть... хе-хе... знаете, пятый пункт... Как? Так вы не?.. Неожиданно... Что, совсем не?.. Ах, отчасти, все-таки... Тут вопрос внешности может играть роль... Ах да, вы же режиссер в данном случае, ха-ха, при чем тут внешность?..»

Опустив глаза в пол, тогдашний директор студии (надо сказать, человек мужественный и прямой, у меня осталось к нему чувство симпатии) вручил мне бумагу: «В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ УКАЗАННАЯ ВЫШЕ ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА ВАМ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ». И мы расстались.

И я расстался с моими режиссерскими претензиями. Потом с родным БДТ. Потом с Ленинградом.

Так что мое проникновение на студию теперь, через десять лет, с собственным сценарием действительно можно было назвать чудом. Это было смелым решением Юлия Яковлевича Райзмана — одного из патриархов нашего кино, непритворно мною уважаемого. Ему понравилась повесть. Но многое настораживало. Пугала «еврейская тема» — боковая, но очень важная в будущем фильме. Опытный Райзман согласился на Гольдмана, но уже второго персонажа — Когана — решительно потребовал заменить на армянина. Райзмана раздражали двойственность финала, возможность различных толкований. Попахивало мистицизмом. Его категорически не устраивал предложенный мной исполнитель главной роли. Я хотел, чтобы Чернова сыграл Андрей Сергеевич Смирнов. Андрей был тогда секретарем бунтарского Союза кинематографистов. Во время какого-то пленума или собрания я сидел в зале и глядел на него — в президиуме... на трибуне... Этот глухой голос, эта гримаса улыбки, эта мука в глазах... Прекрасная речь... Мы с Андреем были шапочно знакомы, встречались пару раз. Я дал ему прочесть сценарий, и он не пришел в восторг... Сделали пробу... Да, это был мой герой! И (так мне кажется) персонаж был настолько близок Андрею, что он не мог воспринимать его объективно. Он его, можно сказать, «пропускал», как собственное отражение в зеркале. Мне еще предстояло склонить его к самоанализу и концентрации внимания. А пока что его забавляло само предложение — ему, не актеру, играть главную, даже две главные роли.

На это же давил и Райзман: да, Андрюша — сын всеми нами любимого Сергея Сергеевича Смирнова, да, Андрюша снял «Белорусский вокзал», и этот фильм в золотой десятке лучших. Но он не актер. Он не сумеет. И зрители не знают его в лицо. С таким героем картина обречена.

Я и сам сомневался. И Андрюша Смирнов сомневался. А в картине еще более пятидесяти ролей и почти со всеми сомнения. Но всё же во взаимоотношениях с актерами, с художником, с композитором я по крайней мере могу сформулировать задачу, объяснить, чего ищу, а в организационных делах, в сложнейшей мосфильмовской дипломатии у меня ни опыта, ни (как оказалось) способностей. Я хожу по кабинетам, объясняю, прошу, умоляю, стараюсь быть обаятельным, стараюсь использовать свою актерскую популярность, но... тут совсем другие законы общения.

— Заграничная экспедиция нам необходима — поезд идет через всю Европу, в этом смысл картины. Я могу заменить Барселону на Лиссабон, могу на Марсель, но не могу вместо Барселоны снимать Ригу, — втолковывал я директору объединения. — Нам необходимо хоть в некоторых эпизодах снимать заграничные поезда — другие вагоны, другие платформы, другие светофоры. Там же всё другое — от километровых столбов до дверных ручек.

Старый директор много повидал таких, как я, и много подобных монологов слышал. Он вежливо улыбался, понимающе кивал головой и говорил:



— Вот и ищите, ищите... Никто для вас не будет таскать каштаны из огня...

— Какие каштаны? Почему мне? Вы же директор, и это ваша забота организовать съемки в соответствии с утвержденным сценарием! (О, я уже начал овладевать демагогической речью!)

— А я и организирую,— легко парирует босс,— немедленно организирую, как только будет приказ и будут выделены вам средства. Пожалуйста, я даже сам лично съезжу с вами в Барселону.

— Хорошо, я пойду на прием к нашему министру. Как его имя и отчество? Как его зовут?

Директор объединения поднял глаза к потолку и вдруг впал в странную задумчивость.

— Есть у вас его прямой телефон? — настаивал я.

— Лена! — крикнул директор объединения.— Принесите мне чаю с лимоном. Хотите чаю? — обратился он ко мне.— Не хотите? Тогда зайдите ко мне в пять часов. В пять часов, но не позже!

В душе моей вспыхнула неясная надежда.

В пять часов я уселся в кресле перед его столом и крепко сцепил в замок слегка дрожащие руки. Мудрый директор смотрел на меня с улыбкой превосходства и некоторого упрека.

— Возьмите,— сказал он и подвинул ко мне конверт.

О Боже! В конверте был сложенный вчетверо лист. Я развернул. Крупным почерком было написано: «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО КИНЕМАТОГРАФИИ — такой-то (фамилия, имя, отчество) — ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ такой-то» — всё!

Директор укоризненно покачивал головой:

— А?! Работает контора? — спросил он гордо и сам себе ответил: — Как часы работает: полдня — и готово! Можете звонить! Попробуйте попасть на прием. Попытайте счастья — может, и помогут... А мы, что могли, сделали.

В Москву приехал Тонино Гуэра — знаменитый сценарист, друг и соратник Феллини и других самых великих. Меня свели с ним, и он терпеливо выслушал волнующий (так мне казалось!) сюжет моего сценария. Но Гуэра не взволновался. Пушкинская фраза «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом» — фраза, из-за которой десятилетиями ломали копыя и которая в конечном счете была базой всех переживаний моего героя, эта фраза не показалась почтенному маэстро особенно значимой. Он родился в Италии, и его это, полагаю, вполне устраивало.

— А кто у вас играет главную роль? — спросил он.— Табаков?

— Нет.

— Почему не Табаков?

— Он не подходит, это не его ампула.

— А Михалков?

— Нет... Совсем нет... Это другой тип человека.

— А из европейских актеров кто у вас будет играть?

— Я сейчас пытаюсь договориться с Тадеушем Ломницким. Это мой друг. Я хотел, чтобы он сыграл дирижера Арнольда.

— Кто это — Ломницкий?

— Это очень крупный польский актер.

— Ах, польский!.. Я сейчас вам нарисую картинку.

Он быстро цветными фломастерами набросал прелестную миниатюру — стол, кусок окна, керосиновая лампа — и протянул мне.

— Это на память. Я подпишу. Напомните, как вас зовут... Так вот, Серджо, на Западе, кроме Табакова и Михалкова, других имен отсюда не знают. Вы должны договориться с настоящей звездой — американской, в крайнем случае немецкой, иначе это не реально.

— Но своего героя я уже нашел... Это Андрей Смирнов, он известный режиссер, он снял замечательный...

Гуэра уже завершил подпись на рисунке и протянул рисунок мне:  
— Вы никогда не снимете вашего фильма.

Ах, как он был прав! И как он был не прав! Ведь я все-таки снял этот фильм. Он есть на пленке. И Чернов в исполнении Андрея Смирнова едет в поезде по Испании и погибает на площади San Agustín в настоящей Барселоне. Фильм этот не раз шел по телевидению и имеет своих поклонников. И этих поклонников волнует проблема — «Черт или кто другой догадал нас родиться в России». И Андрей Смирнов получил даже приз за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале. Так, значит, он есть, этот фильм, и существует мой Чернов?! Для нас — есть.

Но Тонино Гуэра говорил от имени мирового кино, к которому и сам он, несомненно, принадлежит. Там другие законы, другие актеры, другие темы, проблемы, ценности, деньги... Там другие качества, другие количества, другие кинотеатры, другие премьеры, другие вкусы... И там — НЕТ, нет ни моего фильма, ни меня самого, ни моих коллег, ни нашей актерской школы, нашего опыта жизни, наших успехов, провалов, достижений. Там, у них, есть великие актеры. И у нас есть великие актеры. И режиссеры. ВЕЛИКИЕ — для нас! Не для них. Это не ниже. Это по другому списку. И то, что некоторые фамилии встречаются и в том, и в другом списке, следует считать приятным совпадением, случайностью... или результатом невероятных, долгих (а может быть, ненужных?) усилий.

Это не трагично. Это даже не печально. Это просто так есть!

Через пару лет после «Чернова» я уже всерьез оказался в самом сердце Европы. Полгода я работал актером в парижском театре Bobigny. Потом еще и еще раз пробовал — играл (в Национальном театре в Брюсселе) и учил играть (во Франции, в Англии). В результате начал понимать: не ленись, имей терпение, имей упорство — и ты займешь свое какое-нибудь 564-е место (или 1564-е?) в списке ТОЙ культуры. Я буду 564-м (или 1564-м) в очереди за товаром, который называется «интерес заграничной публики». Однако не только я от нее далек, но и она далека от меня. Я стою в необыкновенно длинной, очень медленнодвигающейся очереди за абсолютно ненужным мне товаром.

Только, умоляю, не скажите мне сейчас: а наши музыканты? А балет? А Барышников?! Преклоняюсь перед музыкой, перед ее всемирностью. Обожаю мастерство наших гениев. Счастлив, что довелось дружить и вместе выступать с Крайневым, Спиваковым, Крамером, Стадлером, Китаенко, Федосеевым. И балетом я до слез восхищался, и великие Катя Максимова, Володя Васильев и Миша Барышников — мои товарищи. Но... (боюсь кого-нибудь обидеть, боюсь на что-то посягнуть!), но... молчаливые искусства, искусства звуков и движений, есть все-таки... услада! Вот вывел это слово на бумаге и опять испугался. Но повторю: УСЛАДА! Услада жизни — во всей амплитуде взлетов и снижений, откровенности и изыска, ностальгии и предчувствий.

А слово... СЛОВО — это другое. (Удержусь, не произнесу напрашивающегося: «Вначале было СЛОВО...»), хотя и в этом смысле понимаю великий зачин Евангелия от Иоанна.) Слово есть явление, требующее не только восприятия, но ответа... Не только со-чувствия, но диалога. Слово принадлежит определенному языку и не может быть от него оторвано. Оно не ВСЕМИРНО, оно ВСЕ-МЕРНО — в нем все меры: и музыка в нем, и скрытый жест, и правда, и красота, и милость, и истина, — всё в нем. И потому в конечном счете не государственная граница есть барьер, а предел культурного анклава, тяготеющего к определенному языку. К ритму, интонации, краскам этого Слова.

Поезд шел через Польшу. Вперед, вперед! Я ставлю эксперимент — за три месяца до начала съемок я сам, как мой герой Пьер Ч., еду и еду по Европе, всё на запад и на Запад. Я абсолютно частное лицо (впервые в жизни). Я получил частное приглашение от моего друга Маркиша. За свои собственные деньги купил билет — впервые в жизни — в заграничный поезд. И во всех таможенных дек-

ларациях на разных языках на вопрос о цели поездки я пишу гордое слово PRIVATE — частная!

Мы едем на закат. Вечереет. Солнце, наверное, бьет машинисту прямо в глаза. Летящие тени от вагонов косо отброшены назад. Я считаю: одна, две, три... Всего нам нужно преодолеть двенадцать границ. Две позади. Впереди десять.

### *Франкфурт-на-Одере — Берлин*

Необычное путешествие. Странные границы. Еще столько увижу я их через это мутноватое окно: польско-немецкая, немецко-польская, немецко-немецкая (Западный Берлин), Западный Берлин (Zoo), третья немецко-немецкая (Западный Берлин — ГДР), четвертая немецко-немецкая (ГДР — Западный Берлин), пятая немецко-немецкая (ГДР — ФРГ), шестая немецко-немецкая (ФРГ — ГДР), немецко-швейцарская, швейцарско-немецкая.

Тени бегут назад, а мысли постепенно от Москвы начинают перемещаться вперед — в неведомую, хоть и вечно на слуху, Женеву, к нашему свиданию после стольких лет разлуки с моим самым близким другом. Впрочем, свидание уже состоялось, но краткое, не давшее настоящего общения. Это было два года назад.

27 марта 1987 года я дал сольный концерт в Большом зале парижского театра «ODÉON». Вел переговоры и осуществил мою поездку Госконцерт СССР. Мне оказывалась большая честь, и, чтобы я вполне это осознал, меня вдоволь погоняли по кабинетам и этажам дворца Госконцерта на Неглинной, 15. Все время не хватало либо чьей-то подписи, либо какой-то справки. Госконцерт был настолько заботлив, что тщательно проверял тексты каждого номера моей программы. А так как программа была на двух языках, потребовал представить напечатанные на машинке французские тексты и их перевод на русский язык. Большой частью это были стихи Пушкина в переводах Марины Цветаевой и произведения Проспера Мериме в переводах Пушкина. На всякий случай, ограждая меня от любых неприятных случайностей и провокаций, Госконцерт приказал дать на проверку и пушкинские тексты. Машинки с латинским алфавитом у меня не было, и я писал от руки страницу за страницей печатными буквами. Вот, ей-богу, мне искренне интересно: кто это читал и читал ли это кто-нибудь?

Переводчика мне не полагалось, поправить мое произношение в международной организации «Госконцерт» никто не помог (да и умел ли?). Поклон и благодарность дорогим моим приятелям Лене Наумовой и французскому поэту Анри Абрилю, поселившемуся тогда в Москве,— они прослушали мою программу и по мере сил и времени попытались «вправить» мой французский.

Пришла пора, и Госконцерт вручил мне заграничный паспорт, билет туда-обратно и (даже!) деньги — три тысячи франков. По тем временам это примерно пятьсот долларов. Это суточные и гонорар за сольный концерт в зале почти на тысячу мест. Мне сообщили, что гостиница оплачена за двое суток, а если я задержусь, то должен как-то сам что-то придумать. И вообще (сообщили мне) заграничный литературный концерт — это у них впервые, они не считают это направление перспективным, и, честно говоря, они сильно удивлены, что французская сторона меня пригласила. Я и сам был удивлен, хотя и осчастливлен.

(В скобках!!! Хотите узнать то, что я узнал куда позже: откуда взялось приглашение? Хотите? Могу рассказать! Но в скобках! Это можно и не читать. В 85-м, во время свирепой войны с пьянством в нашей стране, приехал к нам знаменитый театр «Comedie Francaise». Был прием в Доме актера — еще в том, прежнем, на Горького, 16, возле Пушкинской площади. Вино запрещено КАТЕГОРИЧЕСКИ! За этим следят специальные люди. Если что, все началь-

ство снимают с работы. Но как ФРАНЦУЗОВ принимать без вина и вообще без... короче, с лимонадом?! Меня по-дружески попросили броситься на амбразуру — вести это застолье человек на восемьдесят и без спиртного. Я как мог изворачивался, льстил, рассказывал анекдоты, поздравлял, восклицал, объяснял...

В числе прочего читал по-французски Пушкина для отвлечения внимания от главного. И всё говорил, что, дескать, воздержание полезно, что, мол, столько выпито, что теперь уж можно бы и... обойтись, что ли... Вот, не угодно ли, на столах русский квас, отличная вещь... Французы сперва думали, что я шучу, весело смеялись и всё потирали руки в предвкушении, когда же принесут то, без чего застолья, собственно, и не бывает. Потом глядят — не до шуток. Один квас! Опять я им Пушкина почитал. И они очень-очень внимательно стали слушать — может, думают, тут местный секрет какой: стихи вместо выпивки? А потом смекнули и послали троих в гостиницу в бар «Только для иностранных граждан», и те в шести сумках... Короче, понятно? Вечерок получился отличный, особенно по тем «сухим» временам. К полуночи мы от всей души братались. А была среди них и давняя моя приятельница, замечательная французская артистка и душа-человек Катрин Сальвиа. Она по своей открытости и наивности даже не поняла, что произошло, и всё поздравляла меня, как я остроумно всё это затеял и провел.

Прошло время, у нас вернулось питье в прежнем объеме и откровенности. Французы жили себе и играли в своем Париже. И тут парижский «ODEON» становится Театром Европы, а директором его — великий Джорджо Стрелер из Милана. Катрин Сальвиа играет в постановке Стрелера и дружит с ним. Стрелер ищет спектакли и исполнителей из разных стран для интернациональных сезонов в своем Театре Европы. Из России приглашает «Гаганку». О! О них много говорят на Западе — знаменитые диссиденты. А нет ли еще кого, чтобы на новенького, чего-нибудь неожиданного и без больших затрат на перевозку декораций? Тут Катрин и говорит: да есть! Есть один — Пушкина читает по-французски довольно неожиданно. Вот и коллеги подтвердят! А коллеги: ах, это тот, который за стол без вина посадил и с которым потом так славно пили? Да, это была неожиданность, конечно, о чем говорить! Стрелер и говорит своей секретарше: вызывайте, и думать нечего! Один человек с одним чемоданом? Вызывайте! И получает Госконцерт телеграмму...)

Повторяю: это в скобках, это гипотеза. Может быть, так все и было, а может, и нет. Только со Стрелером у нас тогда дружба была односторонняя: я его знал и восхищался его спектаклями уже лет двадцать, а он обо мне и понятия не имел. Потом мы действительно подружились, я трижды выступал в Милане по его приглашению. И был потрясен им как актером — видел его в нескольких ролях и на репетициях. И тяжело переживал его кончину и писал некролог. Но это всё потом, потом, а тогда...

Получает Госконцерт телеграмму... и...

Париж! Quartier Latin! Odeon! Узкая длинная улица Вожирар идет возле театра от бульвара Сен-Мишель к бульвару Монпарнас (названия-то какие!). И там, на этой Вожирар — буквально пять минут пешком, — отель(чик) «ТРИА-НОН». Номерочек малюсенький, окно выходит чисто по-парижски — в глухую стену соседнего дома. Туалет, умывальник, душ — всё на одном квадратном метре за довольно замусоленной занавеской. Скрипучая пропрыганная предыдущими постояльцами широкая кровать. Узкий шкаф. Чемодан поставить некуда. При этом цена номера около четырехсот франков par jour! Это при моих трех тысячах на неделю. Боже ты мой, ногу поставить некуда. Это, стало быть, мне, гастролеру, живавшему в люксовых анфиладах Перми, Горького, Кемерово и Иркутска?! Как же тут репетировать, тут же руками не взмахнуть, но... Париж! Quartier Latin! Odeon! Rue Vaugirard! Hotel «Tryanon»!

Я иду по ЭТИМ камням, мимо ЭТИХ кафе... Каждый шаг, каждый уголок и закоулочек здесь многократно описаны (в обоих смыслах этого емкого русского слова). Здесь дышат века культуры и традиций... и великие традиции художественного пренебрежения любыми правилами и предписаниями.

Роскошный, мощный, с классической колоннадой театр «ODEON». В нем два зала. И сперва предполагалось, что литературный концерт должен идти в малом зале. Но потом — мне это объяснила мадам Айс, секретарь Стрелера — было много заказов на билеты и концерт перенесли в большой зал. Элизабет Айс! Я никогда не видел вблизи такой ослепительно ухоженной, такой роскошно-хрупкой женщины. Самого маэстро Стрелера в Париже сейчас нет, объяснила она мне, но она сделает всё, чтобы мое пребывание здесь было комфортным. Что мне необходимо?

— Прежде всего поменять билет! Я хотел бы пробыть здесь не двое суток, а хотя бы неделю. Жестоко отправлять меня из Парижа в семь утра на следующий день после концерта.

— Но мы просто полагали, что господина Юрского ждут неотложные дела.

— О, не беспокойтесь! Господин Юрский отложил все дела и жутко хочет задержаться в Париже до конца недели. И потом... если билет меняют, нельзя ли попросить оплатить мой отель на этот срок?

— Но... — Ослепительная Элизабет смотрит на меня с недоумением. — Но господин Юрский мог бы и сам... — Тут она начинает смущенно запинаться и тень подозрения возникает в ее прекрасных глазах: может ли она спросить, каков гонорар за концерт господина Юрского, полученный им в Госконцерте.

— Три тысячи,— говорю я.— Trois mille.

— Долларов?

— Франков.

Мадам Элизабет вздрагивает, опускает глаза и долго не подымает их. Сквозь дивный макияж проступает естественная краска. Это стыд за Госконцерт — очень уж крутые коммиссионные. М-м Айс поднимает наконец на меня глаза и говорит, что она всё устроит.

Утром 27-го приезжает Маркиш. За полчаса до прихода женевского поезда я уже мерил шагами платформу Лионского вокзала.

Симон был налегке — сумка через плечо и зонтик. Мы не виделись четырнадцать лет. После его эмиграции было много сложного и в его, и в моей жизни. Мы переписывались — с оказией, а иногда и прямой почтой. Как ни странно, письма доходили. Они шли по месяцу и более, но доходили. Два-три раза мы рискнули говорить по телефону. Двадцать лет перед этим мы дружили крепко и захватывающе интересно. У Симона был широкий круг знакомых в среде московской литературной интеллигенции. Его ценили и его любили за талант, за легкость, за широту взглядов, за колоссальную образованность, обаяние. В него влюблялись женщины, и он влюблялся в них. А у меня был свой — тоже широкий — театральный круг. На наших московско-ленинградских встречах круги смыкались и перемешивались к удовольствию тех и других.

Двадцать лет мы дружили. Потом четырнадцать не виделись. И вот он идет мне навстречу по крытой платформе GARE DE LYON. Издали мне показалось, что он и не изменился совсем — та же легкая, быстрая походка, та же отрывистая жестикуляция. Руки раскинуты в позиции удивления и приветия. Седины и не видать. Издали. Вблизи... вблизи мы обнялись, и я не разглядывал его лицо.

Через час у меня репетиция. Вечером тот самый концерт, ради которого я приехал. Мои мысли дwoятся между нашей встречей и вечерней ответственностью. Мы даже выпить не можем за встречу! Я никогда — это закон — ни капли не пью перед выступлением.

Вечер. Odeon почти полон. Сажу в гримерной и слушаю по внутреннему радио шум зала. Речь больше русская, редко услышишь французскую фразу. Началось.

Я исполняю по-русски и по-французски Пушкина, Бодлера, Верлена, Превьера. Слушают. Хлопают. Успех переменный. Второе отделение только по-русски. Чехов, Мопассан, Булгаков. Смеются, но как-то не очень. Бернс — кантата «Веселые нищие» — почти овация. Но удар был в финале — «Сапожки» Шукшина. История про то, как ездили в город за запчастями и Сергей Духанин купил

жене Клавде жутко дорогие сапожки — шестьдесят пять рублей. А они оказались малы.

Я разыгрывал этот рассказ, сидя за столом среди пустых стульев. Курил «Беломор». То есть все собирался закурить, да неприятности разные отвлекали — то продавщица нахамит, то свои же кореша-работяги не так поймут. И только в самом финале наконец закурил, пуская в зал едкий дым. Зал затих... Последние слова: «Дело в том, что... дело в том, что... ничего... хорошо». Не нашел слов, помолчал, снова выдохнул дым и ушел со сцены. И тогда... тогда было хорошо, было здорово.

Зажегся свет в зале, и я увидел среди аплодирующих моего коллегу и товарища по Ленинграду Толю Шагиняна, моего опального друга — выдающегося литературоведа и переводчика, изгнанного из Союза Ефима Эткинда. И великого смельчака — ирониста и эксцентрика, бывшего советского заключенного, бесконечно талантливого Андрея Донатовича Синявского с его верной Марией Васильевной Розановой. И утирающего слезы — постаревшего, но как-то юношески красивого и стройного Виктора Некрасова.

Потом были дни разговоров и молчаний. Были пивные на бульваре Сен-Мишель и рестораны с устрицами (уже тогда начал понимать, что это блюдо не для меня). Были белое вино и красное вино. И была водка. С чоканьем и с молчаливым вставанием.

Вышел очередной номер «Русской мысли» — и в нем рецензия Некрасова на мой концерт. Одна из самых памятных для меня рецензий за всю жизнь. Он в статье всё недоумевал: зачем надо читать по-французски? Кому это надо? И зачем на мне смокинг? И бабочка?! И к чему Мопассан и даже Чехов? К чему столько усилий, если есть шукшинские «Сапожки», расстегнутый ворот рубахи, простая история человеческого примирения и выдох прогорклого дыма от сырой «беломорины».

**ВИКТОР НЕКРАСОВ.** В коротенькой курточке, карманы почти под мышками, с непокрытой головой, шикарные, можно сказать, пижонские усики на позавчера выбритом лице, озорные внимательные глаза. Некрасов смотрится настоящим, исконным парижанином и вместе с тем абсолютно НАШИМ, прежним — каждым жестом, каждым шагом перечеркивающим и время, и расстояние.

Пиво, пиво! Он очень любит пиво и по ходу прогулки несколько раз угощает меня пивом. Мы отправляемся на «La Defense» — к Эткинду ужинать. Это довольно далеко. Едем на метро, потом на R.E.R. — скоростной электричке. Ему хорошо в этом городе. И с ним хорошо в этом городе. Он местный, но его язык, слова, словечки, мысли, интересы — всё русское. Он переполнен нашими политическими новостями — ставку делает только на Ельцина (это совсем не очевидно — вспомните: март 87-го!). Ругается, шутит. Рассказывает смешные байки.

Говорит: «Мы с Володей Максимовым поругались вдрызг... и не так просто, а по принципиальному поводу. Я сказал ему, что порога его «Континента» не переступлю. И всё! Оборвали все связи. И вдруг как-то — он к тому времени уже восемнадцать лет в Париже жил — ночью телефон у меня звонит. Часа в два. «Извини, Вика, что, может, разбудил». Я сразу в крик: «Как ты смеешь? Конечно, разбудил! А если бы я спал?! Что за хамство?! Что за нецивилизованное поведение?!» Он всё терпит — и опять: «Вика, извини, у меня безвыходное положение. Я не дома. Надо такси вызвать и адрес назвать, номер дома... Я забыл, как по-французски ВОСЕМЬ?»

Смешно? Можно еще смешнее:

«Еще тогда — в Москве — притащили меня в знаменитый театр на знаменитый спектакль по Достоевскому. Я жутко не хотел идти. Терпеть не могу, когда романы на сцене разыгрывают. В театре надо пьесы играть. Но, в общем, так или сяк сажу я в переполненном зале. Кругом восторг, вскрики, аплодисменты, а я злюсь, аж горло пересохло. Антракт. Духота. Хожу по буфету, пью пиво и всё боюсь самого-то постановщика встретить, мы ж друзья-приятели, а он нервный, нежный, мнительный, что я ему скажу? Третий звонок. Иду в зал. Публика

возбуждена, счастлива. Я сел, глянул на сцену и чувствую: ну не могу, не выдержу. Всё, думаю, убегу! А если его встречу и он спросит: «Что, Вика, спектакль — говно?», я скажу: «Да нет, живот схватило!» Выбегаю из зала и по лестнице вниз. Точно! Внизу он стоит, меня поджидает. «Что, — говорит, — Вика, живот схватило?» А я говорю: «Да нет, спектакль — говно».

Уже совсем темно стало, когда добрались до «Defense».

Ефим Григорьевич Эткинд совсем не изменился. Сколько пережил человек! Сколько горечи, сколько опасностей, сколько потерь, а вот весел, шурится хитро. Лекции по всему миру читает, пишет много. И Симон здесь — Маркиш. Но о нем разговор особый, отдельный. Сегодня он помалкивает, дает нам поздороваться. Нас пятеро — Эткинд, его дочь Катя, Некрасов, Маркиш и я. Ночной Париж за окном. И из всех пятерых я единственный — «оттуда», советский, московский. Во как жизнь повернулась!

Вышли за полночь. До чего-то доехали, вышли наружу из подземелья метро... расходимся. Мы с Маркишем на rue Vaugirard, а Виктор Платонович к себе... Уходит легкой походкой. Холодно, снег пошел. Руки сунул в карманы курточки. А курточка коротенькая, карманы высоко, локти оттопырились. Как два крылышка. Уходит в снег смелый, невероятно талантливый, трагичный и веселый русский писатель. Совсем не постарел... Только жизнь прошла... И не там кончается... Улетает.

Февраль, конечно, не из радостных месяцев, но в Германии было как-то особенно и постоянно серо. Мрачный вокзал Франкфурта-на-Одере. Мрачный магазин Free shop, и действительно сигареты дешевые, как предсказывал мой сосед Виталий Геннадьевич — пфеннигов на восемьдесят за блок дешевле, почти целая марка экономии.

Берлин. Серо-черные кварталы, через которые, над которыми пробирается поезд. Долгая стоянка, долгие осмотры, проверки, сбор паспортов... раздача паспортов, лазанье под полками, под колесами. Медленное, медленное движение... Названия городских вокзалов, знакомые по фильмам о разведчиках... Фридрихштрассе... и, наконец, СТЕНА.

Да, я ее видел, я проехал сквозь нее. Она была внушительная, монолитная и колючая. И почти сразу мы окунулись в море искусственного света — вокзал Zoo, Западный Берлин. Другие походки, другие женщины, другие шляпы. Не скажу — лучше, скажу — виднее! Очень много света, и вдали, над всеми домами, сверкает вращающийся гигантский знак «Мерседеса». Да-а! Это «застенные» жители. Там и тут действительно несовместимо. Это действительно другой мир.

Этой стене оставалось тогда жить несколько месяцев.

### *Берлин — Франкфурт-на-Майне*

Десять лет прошло, прежде чем я снова оказался в Берлине, теперь уже объединенном. Мы играли «Стуля» Ионеско в Русском доме на Фридрихштрассе, то есть в бывшем Восточном Берлине. Там и жили. А в гости и на прогулки ездили в Западный Берлин — поглядеть на Курфюрстендам с его современной церковью, выросшей из руин, с его ослепительными фонарями и наркотическими подростками с раскрашенными лицами.

Это был уже 1997 год. И опять февраль.

В зале — день и второй — сидели новые эмигранты из России. И в гости мы ездили к эмигрантам. Как же их много в Берлине — и писатели, и актеры (!), музыканты, композитор (дорогая моя Катя Чемберджи, замечательный композитор, автор великолепной музыки к фильму «Чернов/Chernov» — и она тоже здесь!). Телевизионщики, адвокаты, инженеры, пенсионеры и просто наши граждане. Угнетенные (здесь или там?) евреи, немцы из Сибири, забывшие и язык, и приличия, лихие мошенники, унылые неудачники, романтики, искатели

счастья... Поверить трудно — несколько лет назад только строгие граждане строгого государства ГДР и скрытная махина советского военно-промышленного комплекса. А теперь — несколько телевизионных программ на русском языке и множество газет и газеток и больших журналов... Русские в Берлине! Фантастика!

В конце спектакля, уже на поклонах, женщина подошла к самой рампе и протянула мне записку. За кулисами я прочел: «ВАС ХОЧЕТ ВИДЕТЬ ВАШ СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ КУРТ» и номер телефона.

Ах ты, Боже мой, Курт К. — соученик по юридическому факультету Ленинградского университета. Самый старший на нашем курсе. Да, это было очень давно. Это были еще сталинские времена. Последний год жизни генералиссимуса — 1952-й.

Прием на юрфак был резко сокращен. Вместо обычных шестисот — семисот приняли только сто человек. Говорили — ставка сделана не на количество, а на качество. Из нас должны были приготовить классных специалистов социалистического права. Правоведы в стране бесправия — машина ГУЛАГа работала на полную мощность, по стране шла волна звериного антисемитизма, раскручивалось «дело врачей». А мы сидели в большой аудитории в форме амфитеатра в старом здании университета на Менделеевской линии и слушали вступительную лекцию старого профессора — о традициях академии, о славе университета, о законах, которые превыше всего, об обычаях студенческого братства и профессорской солидарности. Один из аспирантов — учеников этого профессора — под его же руководством работал над диссертацией на тему «Адвокатура в 1917 году». Получил доступ к архивам. Отрыл какой-то документ, где его учитель — ныне старый профессор — упоминался в числе поддерживающих Керенского, а не большевиков. Аспирант и защитился благополучно, и сообщил куда надо о своем маленьком открытии, а старый профессор, руководитель его работы, был тут же арестован.

Итак, на курсе было всего сто человек. Но была еще одна особенность — впервые вместе со своими учились иностранцы. Три немца, два словака, чех, три китайца, монгол. Память о войне — страшном фоне всего нашего детства — была еще свежа. Странно было сидеть рядом с немцами, странно и интересно. А Курт... Курт был совсем особенный... Он воевал! Да, он воевал в гитлеровской армии против нас и был на русском фронте. И он, Курт К., был настоящий антифашист. Он — солдат вермахта — возненавидел гитлеризм и дезертировал. Он увел с собой несколько товарищей. И шел через фронты и через смертельные опасности с двух сторон. И вышел! И выжил, хотя на всю жизнь заполучил мучительную болезнь позвоночника. Мы все были мальчишками, больше или меньше (скорее меньше) соображающими, а Курт был идейным человеком — он был членом партии и верил в коммунистическую доктрину. И вот этот честный, зоркий, много повидавший и при этом молодой человек прибыл к нам. Был допущен, был приближен к светочу коммунизма — СССР. Своими глазами он увидел теперь (не мог не увидеть!) страну тоталитарного режима, народ, живущий под страхом, жалкий быт и нищету победителей. Видел, но говорить об этом не мог... не смел... С кем говорить? С нами, семнадцатилетними сосунками, воспитанными вчерашней школой на верность партии Ленина — Сталина? Бессмысленно, опасно... Да еще, попросту говоря, слов мало — он плохо знал русский язык, он только учился.

Вот наиболее близкие из моих соучеников — русские Валентин Томин и Анатолий Шустов, немец Курт Кене, чех Богумил Барта, китаец Цзен Цинмин. Нам преподавали «Советское государство и право». Теория государства и права. История государства и права. Права не было — мы это начинали понимать. А ГОСУДАРСТВО — было. Могучее, беспредельное, всеохватывающее. Мы вступили во взрослую жизнь на переломе. На наших глазах стали ломаться, выходить из строя и заменяться новыми отдельные части этого чудовищного государственного механизма. Смерть Сталина. Новая Ходынка в Москве на его по-



хорохах. Откат в «деле врачей». Расстрел Берии (а ведь мы-то поначалу гордо назывались «Бериевским набором юристов»). Первые вести о существовании ГУЛАГа. Начало реабилитации, в которой мы отчасти принимали участие как следователи — практиканты в райпрокуратурах.

Мы слушали лекции по уголовному праву, в которых нам доказывали убедительно и неопровержимо, что смертная казнь необходима для санации общества, для торжества справедливости. Для торжества поправленного преступлением морального духа общества. Однако через год смертную казнь отменили, и тот же профессор столь же блестяще доказывал, опираясь на примеры из истории юриспруденции, что смертная казнь никогда не могла действительно снизить преступность, что она противна самой природе социализма. Социализм не карает, а перевоспитывает! Но еще через год смертная казнь снова была введена в УК, и тогда тот же профессор... Я не знаю, что было тогда — я покинул юрфак и ушел в Театральный институт.

Из сегодняшнего далека, с точки зрения людей новых поколений, и время, о котором я рассказываю, должно выглядеть абсолютно беспросветным и безнадежным, университет — застенком без проблеска радости и здравого смысла. Но это не так. Для нас, тех, кого миновали тюрьмы и лагеря, жизнь была интересной. Об изнанке, о великой лжи воспитавшего нас строя мы... не то что знали, пожалуй, нет, мы... начинали догадываться. Но мы отстраняли от себя догадку. Мы думали, что теперь уж... Иначе и быть не может! Да, все не очень хорошо, но это лучшее из худшего! И потому — несмотря ни на что — не мрачным был фон нашей жизни. В ней было много открытий, радостей, всплеск таланта, настоящей молодой любви, молодого счастья, светлого ожидания еще больших свершений.

В книге «Кто держит паузу» я уже рассказывал подробно об удивительной театральной студии ЛГУ и ее руководительнице Евгении Владимировне Карповой, о блистательных (без преувеличения!) спектаклях этой студии, замеченных и отмеченных театральным Ленинградом: «Осенняя скука» Некрасова, «Ревизор» Гоголя, «Гартюф» Мольера, «Обыкновенный человек» Леонова, «20 лет спустя» Светлова, «Предложение» Чехова.

Скажут: ну это сфера искусства, это эмоции. Но ведь и наш юридический (а, значит, в первую очередь идеологический!) факультет странным, непостижимым образом соединял в себе и карьеристов, тупых, завистливых служаков, навсегда лишенных мыслей и вдохновения. И обломки старой профессуры, хоть и придавленных страхом, но несущих наследие подлинной культуры слова и мысли. И, наконец, необыкновенно талантливых молодых, выросших уже в сталинское время, но совершенно лишенных устои взглядов и рабской покорности.

Расскажу об одном — самом ярком из них (а они — новые талантливые — были на всех факультетах: и у филологов, и у историков, и у геологов, и у астрономов. Их искореняли, их давили, а они были!).

**ОЛИМПИАД СОЛОМОНОВИЧ ИОФФЕ.** Вот какое сочетание! Вот какой был у нас молодой доцент в самое антисемитское время. Он был ярк и оригинален во всем. Он стоял на возвышении, локтем опираясь на кафедру. На нем была рубашка с небрежно расстегнутым воротом — это при общепринятой униформе: пиджак, застегнутый на все пуговицы, и галстук. Он позволял себе КУРИТЬ, читая лекции. Он шутил и заигрывал с девушками.

В большой аудитории, где в углу на помосте стоял рояль (аудитория была одновременно актовым залом), Иоффе читал нам лекции по авторскому праву. Он приводил примеры переложений музыкальных произведений: орган — фортепьяно, фортепьяно — скрипка... Кого следует считать автором? Иоффе, перекатывая папироску в толстых губах и щурясь от дыма, садится за рояль и играет токкату Баха. Потом, после аплодисментов, поднимается со стула и говорит: «Есть еще переложение для скрипки. Я бы вам его показал, но, к сожалению,

здесь нет инструмента». Пижонство? Пожалуй, чуть-чуть. Но какой блеск, какой артистизм! И, главное, он же действительно всё умеет.

На экзамене по римскому праву один из наших немцев вдруг совсем забыл русский язык (скорее всего, конечно, от незнания предмета) и начал с диким акцентом экать, мекать... «Я плёхо каварю по-русски... я не знаю, как это скасят по-русски...» А Олимпиад ему: «А вы не затрудняйтесь, коллега, отвечайте по-немецки, я разберу...»

Но это всё что! Иоффе читал у нас сперва курс римского права, а позже гражданское право. Так вот, вступительная лекция. 53-й год, февраль. Олимпиад Соломонович, брезгливо глядя поверх наших голов через немытые стекла высоких окон на серый, грязный снег, валивший с неба, говорит: «Мы начинаем изучать фундаментальную для юристов науку — римское право. Я мог бы сказать вам о влиянии, которое оказала на римское право работа товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», но я этого не скажу и перейду прямо к делу».

Февраль 53-го! Вождь еще жив, и любая речь, любая лекция обязаны начинаться с поклона его трудам, как любой концерт в любом зале страны обязан начинаться «Песней о Сталине». «О Сталине мудром, родном и любимом...» — это молитва новой церкви. Это обязательное славословие обоженного идола. Уже потом, позже, это было перенято: в Китае — Мао, в Северной Корее — Ким Ир Сен.

И при этом вот такое начало нашего римского права. Таков был Олимпиад Иоффе, блестящий молодой лектор, несший в тех условиях традицию вольного духа университетской автономии.

Я бросил юриспруденцию, но никогда не забывал этого выдающегося человека. И несколько раз наши пути перекрещивались. В 79-м снимался я в Одессе в фильме «Место встречи изменить нельзя». И вот будто название сработало: недалеко от аркадийского пляжа вижу на одинокой скамейке одинокого человека. Сидит, задрал голову к солнцу. Пригляделся — Липа! — так мы его за глаза звали. Мы оба постарели, и оба это заметили. Мой учитель, мой профессор, автор многих учебников и советская знаменитость, собирался покинуть родину. «Семейные обстоятельства и... скажу вам прямо... вообще... делать здесь больше нечего... Видимо, жизнь на закате». Одесса. Семьдесят девятый год... застойный.

А еще через пятнадцать лет в антракте моего концерта в городе Hartford, USA, мой продюсер сказал: «Вас хочет видеть ваш профессор», — и в актерскую комнату вошел... неизменный, незабываемый ОЛИМПИАД СОЛОМОНИЧ ИОФФЕ, наш Липа, известный ныне американский ученый, юрист. И новые книги написаны уже здесь. И жизнь, оказывается, не на закате.

Ох, Америка! Резиновая Америка! Всех готова принять! Эх, Россия! Щедрая Россия! Сколько у тебя талантов, и всех готова отдать!

Но я отвлекся. Я получил записку от Курта — это было в Берлине в феврале 97-го. От того Курта, с которым мы вместе слушали лекции Иоффе, с которым рядом пережили перелом истории, а потом на многие годы потеряли друг друга из виду.

Мы встретились теперь у него в квартире в Rotehaus — в самом центре бывшего Восточного Берлина. Курт болен — старая, еще военная травма спины опять дает себя знать. После получасовой прогулки чувствуется, что ему не по себе. Но к этому он привык. Скверное его настроение от другого. «У нас опять наступает фашизм, — говорит он. — После разрушения стены постепенно началась настоящая аннексия со стороны Запада. Мы люди второго сорта, и как таковых нас эксплуатируют и унижают». Он говорит, что все восточные немцы под подозрением, и каждый должен постоянно доказывать свое право на жизнь. В кругах университетских откровенная разница в зарплате тех, кто получил образование на Западе, и «восточников». Совершенно абсурдная ситуация среди славистов и особенно русистов. Педагоги, получившие знание русского языка в

России и владеющие им абсолютно, увольняются или снижаются в должности. На их место приходят воспитанники западных университетов, откровенно плохо знающие и язык, и Россию. Значит, опять правит идеология. Опять проверки и грозные комиссии, добирающиеся до твоих мыслей, выискивающие пятна в твоей биографии.

Я верю в честность Курта и в его объективность. В следующие дни другие «восточные» немцы рассказывают сходные истории. Я подавлен их рассказами. Я не знаю, как оценить это новое знание, как сопоставить с тем, что знал раньше, что казалось очевидным. Неужели стена неистребима? Ее разрушают в одном месте, она возникает в другом. Уничтожают видимую стену, возникает невидимая. Ее сносят с лица земли, а она идет через людские отношения и прямо через сердце.

Об этом еще надо подумать. Надо почитать книги умных людей, послушать, что говорят другие. Надо подождать и не спешить с выводами. Надо больше знать. Еще есть время...

До этой встречи с моим другом Куртом еще целых восемь лет. А пока за окном 1989 год. Я еду по Германии, и она разрезана на части. Границы, границы внутри одной страны. Как в дальние века, когда Германия была просто набором отдельных княжеств. Как в будущие времена, когда моя родина — Советский Союз — станет территорией множества государств и мне будут ставить в паспорт строгий штамп на российско-украинской границе.

Поезд стучит колесами. Мой сосед все чаще отлучается — готовится к какой-то сложной затее с пересадкой или перегрузкой, бегают к проводникам и в соседний вагон. Всего два вагона и осталось от нашего поезда. Поезд назывался «Москва — Берлин». Но Берлин позади, мы оставили там все вагоны с нашими военнослужащими, туристами, со всеми, кто «до Берлина». А мы едем дальше и дальше на запад. Теперь нас цепляют, как добавку, к разным составам, где каждый вагон другой формы и каждый идет в своем направлении — на Париж, на Милан, на Остенде. Поезд стучит своей морзянкой по Западной Германии.

Здесь густо населено. Много больших и маленьких станций. Мы экспресс, мы мчимся мимо платформ, строений, вокзалов, мы ныряем под мосты и эстакады. В обе стороны ответвляются новые пути. Чувствуется приближение громадного железнодорожного узла. И вот началось торможение. Спокойнее, спокойнее... За окном уже городской пейзаж и масса движения — электрички, встречные и попутные поезда, отдельные товарные вагоны катятся с горки на сцепку... Еще медленнее... Мы въезжаем под невероятно высокий стеклянный купол. Нарядные, умытые составы почетным караулом стоят по обе стороны нашего движения. Как игрушки — чисто вымытые стекла, сверкающий металл. Откуда вы такие? Где же пыль и копоть дальних дорог? Где пожухлость краски? Где усталость металла и ранняя ржавчина? Ничего этого нет! Игрушки! Игрушки в размер природы. Еще медленнее. Совсем медленно... Стоп! Солнце бьет сквозь стеклянный купол. Совсем не похоже на зиму, на февраль. Где это мы? А? Запад!

### ***Франкфурт-на-Майне. Стоянка***

Если случится, я потом расскажу про этот город. Про замечательных «западных» немцев. Про семью капиталиста (и инженера), и благотворителя (и интеллигента), и меломана (и человека с юмором) — Петера Хофманна. Про то, что герр Хофманн — глава серьезной фирмы, производящей и торгующей различными — от микро- до гигантских — режущими инструментами, — одновременно постоянный и влюбленный участник местного любительского хора, разъезжающего по разным городам и странам на всегда успешные и всегда бесплатные гастроли. Про его темпераментную жену Вальтраут. Про их детей и

внуков, про сложные внутрисемейные отношения — сложные по причине моральных и религиозных расхождений. Про их гостеприимный дом — постоянно гостеприимный, дающий кров и поддержку молодым малообеспеченным музыкантам, студентам. Про их истинно христианскую ориентацию на безоговорочную помощь и сочувствие всем нуждающимся — в том числе «восточным», в том числе эмигрантам, в том числе инноверам. Я хорошо помню и потому, надеюсь, смогу подробно описать их дом возле большой башни красивого пивного завода Хейнингера (не Хейникен: Хейникен — это другое).

Я расскажу про несомненный и многосторонний талант нашей эмигрантки Ольги Конской, умудрившейся открыть здесь русский театрик. Про франкфуртский симфонический оркестр под управлением бывшего знаменитого «нашего», а теперь знаменитого «ихнего» Дмитрия Китаенко, с которым довелось мне выступать в «Иване Грозном» Прокофьева в местной Alte Oper.

Есть что рассказать, и расскажу... но потом... и может быть...

А пока я стою на платформе, подавленный громадностью вокзала. Я прогуливаюсь по неведомой земле, живущей по непривычным правилам. Мне все интересно — носильщик с тележкой, тележка без носильщика, газетный киоск, автомат с прохладительными напитками. Наш проводник, в полной форме и на этот раз застегнутый на все пуговицы, стоит возле вагона и поглядывает на меня снисходительно и, пожалуй, чуть-чуть настороженно... Чемодан мой, конечно, остался в купе, но все-таки... Ну мало ли?.. Ну черт нас всех разберет!

Вот обменный пункт. Интересно! Очень интересно: это прямо так открыто меняют одни деньги на другие? И никакой очереди? А я перед поездкой на Садовом кольце, на углу улиц Чкалова и Гайдара, три дня занимал очередь. Ну, правда, и радость в результате большая. Я заплатил много — четыреста рублей (моя зарплата народного артиста триста пятьдесят в месяц) и получил за четыреста рублей около шестисот долларов. Вот он какой, рубль-то! Правда, это только с разрешения ОВИРа (месяц ожидания) и только с загранпаспортом (с помощью ВТО — иначе очень сложно) и с долгой очередью, и пробить такую поездку можно только один раз в два года — не чаще. Но ведь в результате: шестьсот долларов за четыреста рублей.

Ну-с, а тут у них что? Поглядим... Та-ак, 0,65 доллара за немецкую марку. Ну примерно то же, что доллар к рублю, только в обратную сторону. Ой, запутался! Короче, приблизительно за два рубля три доллара, точка. За два доллара три западногерманских марки, запятая, следовательно, за два рубля (примерно) семь-восемь марок, точка.

Ага, вот еще японская иена, швейцарский франк, фунт стерлингов. Это все в общей таблице. Цифры ясные, четкие. А это что за бумажка криво пришили-на внизу? И на ней от руки написано фломастером... Что, что?

10 RUB rus

Э, да это про нашу десятку!.. Это что же, черный рынок, что ли? Наши деньги вывозить запрещено! Или в связи с перестройкой все начало меняться? Это прогресс! Но почему червонец, почему не рубль, а 10 RUB? Та-ак, что тут написано?

10 RUB rus=0,18 DM

Не может быть! Этого просто не может быть! Наш рубль дороже доллара. Я знаю! А тут 0,18 DM. Да вы что? Если 10 RUB=0,18, то один RUB вообще 0,018. Значит, ЗА ОДНУ МАРКУ НАДО ОТДАТЬ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ РУБЛЕЙ? А за доллар — почти семьдесят? А моя зарплата народного артиста триста пятьдесят рублей в месяц. Значит, МОЯ ЗАРПЛАТА — ОКОЛО ПЯТИ ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ!

Что такое? Грабеж, обман, спекуляция! Только я никак не могу определить, кто грабит и кто обманывает.

Конечно (наука твердит), все относительно. Но ведь не настолько! Кто же я такой, этот артист из загадочной страны, где мне позавчера на углу улиц Чка-

лова и Гайдара дали шестьсот долларов за RUB rus четыреста, а сегодня оказалось, что во Франкфурте я эти четыреста рублей запросто мог обменять в вонючем обменном пункте без всякой очереди на восемь марок или на шесть долларов?!

Где я? Кто я? Откуда я взялся и куда мне сунуться?

Для моих зрителей я народный артист. Для России я государственный служащий. А для мира? Для мира я нищий! Как же мне входить в этот мир, где все другое, даже цифры? Кто кого обманывает?!

Не было ни звонков, ни гудков, было какое-то объявление по вокзальному радио, но я ж не понял, что там было сказано. Слово «Москва» давно исчезло из названия нашего поезда. Что Москва — далеко Москва! Мы теперь вообще непонятно как назывались... То ли «Берлин — Рим», то ли «Франкфурт — Барселона», то ли просто номером... Да еще в немецком произношении даже названия города не разберешь! Повторяю: не было ни звонков, ни гудков, было какое-то неуловимое беззвучное шевеление на пустой платформе. Да, я вдруг обнаружил, что она совершенно пуста. Я один — и поезд, который не дернулся, а поплыл, покачиваясь, как лодка. Радио опять хрипло заговорило. Нет, это не радио, потому что даже слова разобрать можно. Наш проводник, стоя на подножке, с выпученными глазами обреченного человека кричал: «Товарищ Юрский! Товарищ Юрский!» И при этом удалялся от меня с нарастающей скоростью.

Я кинулся вслед.

### *Дорога на Базель*

Ей-богу, я человек некоммерческий. Я редко считаю деньги и думаю о деньгах. Но вот уже поезд стучит колесами на юг — на Швейцарию, а у меня всё стоит перед глазами это жуткое математическое уравнение, определяющее мое место в этом мире:

$$10 \text{ RUB rus} = 0,18 \text{ DM}$$

Или я всех обманул, ухватив за мою зарплату целых шестьсот долларов? Или мой труд ничего не стоит? Или мир сошел с ума?

Скорость поезда сильно возросла. А шума меньше. Другие рельсы, другие стыки (или их нет, этих стыков?). Всё другое. Впереди последний пограничный пункт — Базель.

Ах, Мишка, Мишка! Мишка Данилов! Это он придумал среди сотен своих шуточек дурацкую надпись на пивном ларьке:

ВРЕМЕННО ЗАКРЫТО

УШЛА НА БАЗЕЛЬ

Мой замечательный друг, истинный артист на сцене и на экране. И в жизни — художник, человек от Бога. Мишка Данилов! Теперь тебя нет. Ты умер от мучительной болезни там, далеко, в Бостоне. Там сожгли твоё тело в хорошо и чисто организованном крематории, а потом прах твой похоронили в Ленинграде, который уже перестал быть Ленинградом, но принял ново-старое и странно звучащее название: Санкт-Петербург. Хоронили твой прах осенним днем под мелким дождем при большом скоплении актеров. Прощай, Миша. Так будет через несколько лет.

А пока ты жив и мы просто давно не видались. Ты в Ленинграде, я в Москве. Но я уверен: ты будешь играть в моем фильме о человеке, едущем в поезде через всю Европу, но душой и телом остающемся при этом там, в России. Ты всегда участвовал во всех моих затеях, для тебя в них всегда была роль. Но, кроме этого, в общении с тобой я всегда черпал силы, когда уходила уверенность, к тебе я обращался, когда не знал, где искать правду.

Мишка, я думаю о тебе, выбираю тебе роль в этом сценарии... или сам ее выбери. Я думаю о тебе под мягкий перестук колес по немецким рельсам, при-

близаясь к Базелю. Я вспоминаю твою дурацкую и такую понятную мне игру словами и буквами — как ты город Наро-Фоминск называл Нейро-Фоминск, и эту надпись на пивном ларьке:

ВРЕМЕННО ЗАКРЫТО  
УШЛА НА БАЗЕЛЬ

Вот и я «иду на Базель». Через два часа швейцарская граница. Еще не финиш. Но близко. Скажем так — недалеко. Я думаю о друзьях. О тех, кто сейчас в снежном русском феврале, и о том, кто ждет меня там — в конце моего пути.

Симон придет из Женевы встречать меня в Берн. Дальше мы поедем вместе. Я не представляю их расстойний. Совсем не представляю. Женева — Берн — это как Москва — Ленинград или как Москва — Подольск? Сказал, придет на машине, а может, на поезде... Симон Маркиш — мой самый старший, самый серьезный, самый важный для меня друг. Два года назад в Париже мы просто повидались — всего неделя среди многих других дел и обязанностей. И среди других встреч. Здесь у нас будет целых три недели — всё вспомнить, обо всем поговорить. Попробовать понять, как большая часть жизни прошла.

**СИМОН МАРКИШ.** Сын выдающегося советского еврейского поэта Перца Маркиша, убитого советской властью вместе с другими членами Еврейского антифашистского комитета. Вдова поэта Эстер и два сына: старший — Симон и младший — Давид были высланы на далекое поселение. Возвратились в 54-м, после смерти «отца всех народов». Симон снова поступил в МГУ на классическое отделение филфака, где он раньше учился. Летом 54-го вдруг получил путевку в Дом творчества ВТО (Всероссийское театральное общество) под Ленинград — в поселок Комарово. Там мы и познакомились.

Мы жили на веранде старого деревянного дома — пять человек отдыхающих — кровати одна возле другой. Мои родители тоже отдыхали здесь. У них была отдельная комната.

Юрий Сергеевич, мой отец, никогда не приказывал мне — он советовал, заинтересовывал. Вот и на этот раз — на пятый или шестой день «смены» (тогда ведь и в дома творчества приезжали все разом и разом уезжали — это называлось «смена») — так вот в какой-то из начальных дней «смены» отец сказал: «Ты совсем заигрался в свои волейболы и пинг-понги. Рядом с тобой очень интересный человек. Ты обрати внимание». Так мы познакомились.

Отец мой умер через три года в этом самом Комарове, опять во время «смены». Молодым еще умер. Он оставил по себе светлую память в сотнях (не преувеличиваю!) друзей, коллег и подчиненных (последние годы он был художественным руководителем Ленконцерта). А мне он оставил свою шкалу жизненных ценностей. Ценностей не оставил — их у него никогда не было, а шкалу оставил. Свет от тьмы он меня научил отличать. И еще — вот этим коротким разговором — оставил он мне самого главного друга моей жизни.

Мы жили в тоталитарном государстве. Были годы свирепого давления — клещи власти, бывали и плоскогубцы — давит, но не режет. Бывали и оттепели с прояснением и синим небом над головой. Однако мы жили в тоталитарном государстве — всегда! Сейчас нередко ностальгически вздыхают и удивляются: куда девалось прежде единение с друзьями, с соседями, с коллегами? Теперь, дескать, все врозь, каждый за себя, а тогда...

Да, тогда было иначе. Коммунальная квартира, почти тюремная кучность жизни одних ожесточали, других сплачивали. Из первых выросли оскаленные волки, из вторых — вздыхатели по прошлому. Дружба была настоящая, и взаимопомощь была. Но всё это от бедности, от беды, от тесноты: деваться некуда — начинаем дружить. Выбора не было — всё, как Бог дал. Вернее, не Бог — Бога не было. Случай! Чьи нары рядом — с тем и дружить. Либо ненависть, либо дружба. Дружба во имя ненависти к другой группе. Спокойное, нормальное соседство невозможно. Это советский вариант общины, землячества, коллегиальности.

Исключения бывали. И наша дружба с Симоном — жителем другого и довольно далекого города — с самого начала имела оттенок какой-то исключительности. Это был собственный выбор, а не подчинение обстоятельствам. Он в Москве, я в Ленинграде. И у каждого много обязанностей — учеба, работа. И денег у каждого очень негусто — особенно не разъездишься. Но шли годы, а нить не обрывалась. У меня начались съемки в Москве, гастроли. Симона иногда заводили в Питер издательские дела. Я всячески старался при поездках в Москву выкроить денек лишний, и лучше, чтобы этот день был первым, а то потом дела закрутят...

Прямо с вокзала на метро или на такси (если схватишь!) — на Плющиху. Поворот возле странного, вечно облупленного мельниковской архитектуры клуба «Каучук» — и тут же близко 2-й Тружеников переулок. Дома пятиэтажные, барачного типа, одинаковые, 30-х годов постройки, наверное. Теперь они кажутся очень уродливыми. Тогда не замечалось. Ветерок шелестел в деревьях, девушки сплошь казались красивыми и заставляли оборачиваться, в голове громоздились планы, и вокруг было очень много нового.

«Гастроном» напротив Симкиного дома открывался в девять. Приедешь чуть пораньше, значит, прогуливаешься туда-сюда в ожидании открытия. Вон Симкино окно. Иногда он подойдет к окну и замахает руками: «Ничего не надо! Завтрак готов! Бабушка ждет!» Нет, надо! Есть традиция, и есть своя гордость. Водки взять «маленькую» и что-нибудь по сезону — овощей, фруктов... или конфет в сером кульке. Время — конец 50-х. В Москве у магазинов очередей еще нет, продуктов не много, но чем-то торгуют. А нам что надо-то? И водка еще не нормирована ни по времени торговли, ни по количеству. Гордая красавица Вера Марковна — бабушка — завтрак приготовила аппетитнейший. Эти рыбные котлетки, эта селедочка под лучком! А Симкин кофе из зеленого щербатого кофейника! Ну и принесенная «маленькая». И целый свободный день впереди — оба подгадали.

Прелюдия окончена. А теперь главное — говорить! Общих дел у нас нет, а значит, нет и общих врагов. Мы не запутаны в интриги. У нас еще нет — и не скоро будут — автомобилей. Это все для нас не темы. Женщины?! Ну, конечно! Отчасти. Тема важная, но живем-то в разных городах, тоже, стало быть, всё разное. Кино, книги, журналы — это общее. Разумеется, пробежались и по этой теме. Ничего себе «пробежались» — в разговорах отмахали пешком километров десять, уже и пообедали, и еще вина взяли, и одолели бутылку-другую. И день начинает клониться к вечеру. И всё говорим.

Дружба в тоталитарном обществе — это исповедь, это проверка курса, это спасение от безумия, погружение вглубь. Фасад жизни отлакирован, все тени стерты, темные пятна вытравлены. А потому вокруг тебя сияющая ложь. Протестовать, опровергать не принято, опасно и бесперспективно. Ты раздвоен. Накипают невысказанные протесты, нестандартные оценки, которые нельзя произносить вслух. У тебя есть страхи и печали. Ты скоро лопнешь от их давления. Они распирают изнутри. И вот этот долгожданный день дружбы — ты приближаешься к самому себе. Ты говоришь без всяких оглядок. Ты слышишь НЕОЖИДАННЫЕ возражения. Наконец-то ты слышишь НОВЫЕ мысли и слова. Ведь ежедневно по радио, в газетах, в официальном общении и по большей части даже в театре ты заранее знаешь ВСЕ СЛОВА, которые тебе скажут. И заранее знаешь все слова, которые ты ДОЛЖЕН произнести. А в этот день ты радостно замечаешь, что и сам-то наконец говоришь новое, идущее изнутри. Открывается клапан, и ты оказываешься совсем не таким плоским, как казалось. Это счастливое ощущение. Хорошие дни!

Мы не были диссидентами — ни он, ни я. И не стали ими позже. К лучшему это или к худшему — не знаю, но было так. Конечно, наши отношения были «подпольем» не в смысле заговора и склоненных над столом мрачных фигур при закрытых окнах, а в смысле чего-то сугубо личного, не предназначенного для чужих глаз и ушей. А уж от наших характеров зависело, что это было не угрюмое мудрствование избранных, а шутливое по форме и всегда наполненное юмо-

ром, я бы сказал, «трепливое» общение. И всегда Симон был учителем, а я учеником. И по возрасту, и... и по всем другим качествам.

Больше всего Симон переводил с латыни. Но переводил и с древнегреческого, и с английского, и с итальянского. От него я получил пачку листов со странным обжигающим новизной текстом — это был напечатанный на машинке роман «Мастер и Маргарита», первые страниц пятьдесят. Задолго до публикации. В разговорах с Сином я вслушался в стихи Пастернака и полюбил их. В квартире в Тружениковом переулке я познакомился с Юрием Домбровским и буквально «утонул» в его романе «Хранитель древностей». Одно зимнее утро в доме Симона я провел с о. Александром Менем. И он — отец Александр — впервые ввел меня в церковь во время службы — как гостя. На моих глазах Симон из переводчика стал превращаться в автора. После переводов из Эразма Роттердамского последовала книга о нем. За веселым застольем с вином и водочкой задружился я здесь с молодыми фантастически талантливыми переводчиками чуть ли не со всех языков — Витей Хинкисом и Володией Смирновым. (Ну вот, к примеру, Смирнов перевел и издал переводы с английского, немецкого, французского, датского, шведского, финского, японского и китайского — не с подстрочников, а с оригиналов!) Симон натолкнул меня на Томаса Манна, и я прочел эти слишком толстые книги. Было очень важно прочитать их, хотя, признаюсь, в то время это было скорее тренировкой воли, чем удовольствием.

Мы попробовали даже работать рядом. В 67-м году мы взяли путевки в Щельково — Дом творчества ВТО, имение А. Н. Островского. Все двадцать четыре дня была веселая молодая жизнь в большой компании. Но была и работа. Симон писал пересказ эпизодов римской истории из Тита Ливия. А я делал первую в своей жизни инсценировку для театра. Это была «Фиеста» Хемингуэя.

В Хэма, в бородатого Эрнеста, было влюблено все наше и все соседние поколения. Так получилось, что именно он открывал нам тайны «взрослой жизни». Да, да, о мужских и женских тайнах мы узнавали из Хемингуэя, как об Иисусе Христе — из Булгакова, он оказался для нас пятым евангелистом со своим «Мастером и Маргаритой». Вот такие были мы — городские, лишенные корней, литературные, безбожные мальчишки и девочки. Я так зачитывался «Фиестой», что, кажется, знал роман наизусть. Когда приехали в Щельково и распаковали чемоданы, оказалось, что стопку чистой бумаги я взял, десяток авторучек тоже, а вот саму книгу с «Фиестой» забыл. В библиотеке Дома творчества ее тоже не оказалось. И я стал писать по памяти. Написал в Щелькове весь первый акт — почти полпьесы. Когда вернулся, проверил по тексту — было почти точно.

Я замирал в счастливом предвкушении будущего спектакля. Мне мерещилось: откроется занавес, и на сцене будет Париж с его кафе, с подстриженными деревьями его бульваров, с малюсенькими комнатами его дешевых гостиниц, с парашетами набережных. Абсолютно нейтральный, лишенный интонаций голос скажет в микрофон: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит...» и дальше всю цитату эпитафии из Екклесиаста. А потом короткая пауза и так же нейтрально: «Все вы «потерянное поколение». Гертруда Стайн в разговоре».

И тут вступит музыка. Тихая и ритмичная. Рояль, контрабас, ударные. И тогда на сцену со всех сторон пойдут персонажи пьесы.

Это мы — «потерянное поколение», это про нас. С нами талант и опыт Хемингуэя, с нами наше горячее желание воплотить нашу боль и нашу надежду. Ей-богу, мы кое-что уже умеем.

Так думалось тогда и казалось, мы еще сможем изменить мир. Нет, нет, мы не будем «рушить до основанья» «весь мир насилья». Мы вообще не будем бороться с миром. (Повторю, мы не были диссидентами.) Мы изменим мир тем, что ПЕРЕУБЕДИМ его, заинтересуем нашим взглядом на вещи.

Но случилось иначе. И порыв наш, и пафос оказались наивными и немного смешными. В 70-м Симон эмигрировал. Сперва в Венгрию по женитьбе на вен-



герке, потом дальше — в Швейцарию. В его венгерский период мы еще повидались пару раз. Мы с Теняковой побывали у него в Будапеште, а он приехал по приглашению к нам в Ленинград.

Многое изменилось к тому времени. Спектакль «Фиеста» был сделан, показан и... запрещен. Я сделал тогда телефильм «Фиеста». Его ждали, о нем говорили. Он был показан один раз в ночное время и без объявления в программе. После этого запрещен. Я потерял мать: Евгения Михайловна Романова-Юрская, дорогая моя мама, умерла через четырнадцать лет после отца, но в тот же день года — 8 июля.

В 73-м году зимой я выпускал на сцене БДТ свою первую постановку — булгаковского «Мольера» и сам играл заглавную роль. Наталья была беременна Дашей, но еще работала и играла в «Мольере» Арманду. Время было нервное и суматошное. Тут и явился Симон.

Что-то переменялось. Забот много или уже наступала новая угрюмая эпоха, но радость в общении как-то не высекалась. А потом его бегство в Швейцарию — и захлопнулась дверца. Стенка глухая.

Маркиш преподавал на отделении славистики в Женевском университете. Приезжали в Москву на практику его ученики — молодые швейцарцы. Рассказывали о нем. Было очевидно, что его любят, что там оценили его, поняли, что он «особенный». Мы писали друг другу с оказией. Изредка рисковали говорить по телефону. Но не было живого общения, а без него... Мы, видимо,плыли теперь разными курсами. Мы стали немного расходиться в оценке людей, событий. «Надо встретиться!» — этим кончались каждое письмо и каждый телефонный разговор. Но как? Я невыездной, он невыездной.

Потом зашатался монолит власти в нашей стране. Пошли перемены. И вот в 87-м вдруг возник и осуществился этот парижский концерт в «ODEON'e». Мы встретились, о чем я уже рассказал. Я привез тогда Симону рукопись моей повести «Чернов». Вот про это самое (как мне казалось) — про друзей, разделенных границей. Честно говоря, в глубине души я рассчитывал на «ах!». Ну, если не на восхищение, то на полное понимание. Симон ведь не только литератор и переводчик, он еще классный профессиональный редактор. Столько людей дорожат его мнением, в том числе даже Иосиф Бродский. И вот я чего-то ждал. Слишком долго лежала в ящике эта повесть. Кому же оценить, как не Симке — знатоку и другу! Но, может быть, именно потому, что знаток, Симон не раскритиковал, не обругал, а как-то... пропустил мимо. Указал на отдельные фактические неточности в описании западной жизни (Господи, да откуда ж мне ее знать?), а про всё в целом сказал только: «Да... грустно, очень грустно».

Его малословие было приговором для моих писательских начинаний. Признаюсь, преодолеть этот приговор было нелегко. Не он же виноват, что его «не побрила» моя повесть — это повесть виновата.

Но вот прошло два года, и я еду через Европу, примеряя к себе психологическое состояние героя моего будущего фильма. И еду я по приглашению Маркиша. И фильм этот по повести «Чернов». Повесть уже дважды издана — в альманахе и отдельной книжкой. Тираж раскуплен, но откликов никаких. Я не знаю, что и думать, однако всё думаю и думаю: что будет и кому будет нужен мой фильм?

А поезд уже замедляет ход. Базель. Город на стыке трех стран — Германии, Франции, Швейцарии. И каждая страна даже называет его по-своему. Здесь много шпионов, которые передают друг другу микрофильмы, справляя нужду в вокзальном туалете, — я сам читал про это и видел в кино. Город Базель, должно быть, очень строг и наводнен полицейскими в форме и в штатском. Я очень удивлен, что в реальности все оказалось совершенно иным, даже противоположным. Не было вообще никакой проверки документов и осмотра вагонов. Не было никаких людей в форме. Ну разве что швейцар возле ресторанной двери (ШВЕЙЦАР, а не ШВЕЙЦАРЕЦ! Хотя, может быть, он был и швейцарцем). Я побродил по вокзалу, полному мирной суеты и доброжелательности ко всем жи-

вым существам — гражданам города, и приедем, и проедем, говорящим на одном из трех европейских языков и не говорящим ни на одном из них, к собакам при хозяевах и собакам без хозяев (одну такую видел, но это, видать, недо-разумение).

Я спокойно расслышал объявление, что мы отправляемся через пять минут. И почему-то все разобрал в иностранном языке. Я загодя подошел к своему вагону и увидел, что проводник на этот раз совершенно спокоен и даже улыбается. Климат, что ли, влияет? Я вспомнил, что попутчика моего я давно лишился — он перешел в брюссельский вагон и едет теперь в другую сторону. Я порадовался, что наш вагон теперь почти пуст: две молодые женщины с маленькими детьми, видимо, семьи дипломатов, и немец с портфелем и в очках, неизвестно когда и как затесавшийся в наш вагон,— стоит всё время в коридоре, сопит и смотрит в окно.

Поехали! Вот платформа кончилась, мелькнули городские кварталы... Это Германия или Швейцария? Или это Франция мелькнула? Как же это всё близко! Поехали... Как славно, что мы с Симоном затеяли это путешествие! Как славно, что через несколько часов я увижу его! Как великолепно находится в этом чудесном поезде, к которому я так привык и с которым жаль будет расставаться!

### *Базель — Берн*

Часто-часто пошли туннели. Вряд ли можно так выразиться, однако АЛПЫ УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ! Мы мчим по федерации самых древних (по Рождестве Христовом) демократий.

Швейцария. К этой стране у нас какое-то особое отношение. В нашем сознании именно Швейцария — прямая противоположность нам. Не Австралия, где ходят головой вниз, а Швейцария. «Le cote de l'anvers», как говорят французы,— изнанка. Вернее (нам так кажется) — это мы изнанка, а они — один сплошной фасад. Ну вот, что ни назови, всё у них наоборот!

Они маленькие, мы большие — это в смысле пространства, расстояний.

У них (в принципе) — чисто. У нас как-то в принципе грязно.

У них гористо. У нас (в принципе) — просторно и плоско.

Они богатые. Мы (в принципе) бедные.

Нас как-то (в принципе) все время лихорадит, у них (в принципе) порядок и давно все устоялось.

У нас все время жутко весело. У них (в принципе) мирно и скучно.

У нас много-много национальностей и есть (по крайней мере подразумевается) пятая графа в паспорте, но один государственный язык и неразрешимая проблема — как сочетать его с родным языком в автономиях. У них все швейцарцы, но ТРИ или даже ЧЕТЫРЕ государственных языка.

Вспоминается замечательная интонация Романа Карцева в одном из скетчей Миши Жванецкого: быстро-быстро повторять: «Как это? Как это? Как это?» Ну действительно: «Как это? Как это? Как это?»

А вот так! Так случилось!

Швейцария для нас — это как «тот свет», как загробная жизнь, как утренний сон под праздник, который, по пословице, никогда не сбывается.

Я еду по Швейцарии. Что я знаю об этой стран? Вильгельм Телль... Ой, не надо, дежурное блюдо. Это всегда, только произнесут слово «Швейцария», и сразу перед глазами Вильгельм Телль с его сыном и яблоком, и океанской бурей на маленьком озере, и невероятной и гордой смелостью... Всё это так, всё прекрасно, но уж слишком... Общеизвестно, что ли? А знаете, почему возникают всегда одни и те же ассоциации? Да потому, что мало, почти ничего не знаем об этой стране!

Швейцария. Страна гор и банков. Долин и богатства. Труда и чистого воздуха. Отдыха и тайных вкладов. Свободы и строгого порядка. Страна, умудрившаяся сохранить нейтралитет даже во время чудовищных мировых войн. Это как же так? Почти раздавленная между двумя фашистскими государствами (от столицы до Германии километров триста, не больше — мы сейчас как раз и отмериваем этот путь). Рядом с аннексированной Австрией, вплотную с оккупированной и наполовину фашизированной Францией — и нейтралитет? Грандиозно! При столь малых размерах? При пятидесяти процентах населения, говорящего на немецком? При целом кантоне, говорящем на итальянском и примыкающем к Италии? Потрясающе!.. Или тут какое-то лукавство? Некая условность... маска, надетая на подлинное лицо?

Позже, через годы, возникли какие-то глухие, но грандиозные обвинения. Это тут, в швейцарских банках, оприходовали несусветные советские партийные миллионы и тонны золота. И что ни обвинение в космических кражах новых российских властителей, то упоминание о швейцарских банках. А вот и «еврейское золото», награбленное фашистскими убийцами, сорванное с рук, вырванное изо ртов, спрессованное в благородные слитки, обращенное в мировую валюту, — и его приголубили просторные подвалы могучих банков «абсолютно нейтральной» страны?

Обычным гражданам приальпийской конфедерации недосуг раздумывать, а тем более болтать на столь щекотливые темы. Они заняты своими делами, и у них свои трудности. Но не все таковы! Есть, к примеру, Дюрренматт... и есть Макс Фриш... выдающиеся, имеющие мировой авторитет писатели. Их ирония, переходящая в скепсис, порой взрывающаяся криком отчаяния, — вот какие голоса доносятся порой из кристальной, благополучной Швейцарии.

И мой приятель журналист Б., и мой друг адвокат Ш. — оба коренные швейцарцы — кривят рты и опускают глаза, когда я пускаюсь в восторженные комплименты идеальному устройству жизни на этой земле возле обширного Женевского озера — Леман и бездонных озер в краю «четырех кантонов», гражданином одного из которых стал человек-дьявол Николай Ставрогин, то ли порожденный фантазией Достоевского, то ли выхваченный им из жизни.

Интересно, что не только ужасный Ставрогин, но и ангельский князь Лев Николаевич Мышкин являются в Россию по воле Достоевского именно из Швейцарии.

«Я приближался к месту моего назначения». Это, конечно, цитата из классики, но я действительно приближался к месту моего назначения. Опыт научил, что неплодотворно и опасно упереть даже небольшой кусок своей жизни в одну точку. Сказать себе: вот дойду туда — и тогда всё, вот доплыву до того камня... вот сыграю эту премьеру... вот кончу фильм... вот добьюсь этой женщины... И тогда! Что тогда?..

Вот добегу первым до ленточки! Жажда рекорда! Победить прежнее достижение — чужое! Чтобы все видели. А в виде тренировки ежедневно ставить маленькие личные рекорды. Сегодня чуть больше, чем вчера — ощутимый прогресс. А если сил не хватает, можно бесконечно варьировать виды соревнований и выдумывать новые. Теперь-то я знаю, что самая великая тщета — суета — это Книга рекордов Гиннеса. Сделать так, чтобы весь мир... и сразу... У Камю в «Чуме» есть персонаж, который все собирается написать книгу, но никак не начнет. Не может начать, потому что все ищет фразу, от которой ВСЕ, абсолютно ВСЕ разведут руками... и... *Chapeaux a bas!* — ШАПКИ ДОЛОЙ! Вот это и есть формула дилетантизма. Мастерами так не становятся.

Вспоминаю мимолетный, но не канувший в забвение разговор с Георгием Александровичем Товстоноговым. (За двадцать лет совместной и очень тесной работы не так уж много было у нас доверительных разговоров один на один. Тем важнее ВСЕ их вспомнить, что я и сделаю в дальнейшем ходе этих записок.) На гастролях, если не ошибаюсь, в Кишиневе, поздним вечером вышли покурить

под деревья возле гостиницы. Говорили про конец сезона, про начало будущего. Г. А. вдруг спросил: «Скажите, а вот вы про себя — торопите время? Есть такая мысль — скорее бы! Хорошо, если бы не было этих двух месяцев, а уже премьера?» «Конечно! — сказал я. — Жутко интересно, что у нас получится и как это поймут и примут». «Мне тоже. — Потом несколько раз затянулся сигаретой и продолжил: — Но теперь я стал ценить ожидание. Знаете, теперь я думаю, что не надо гнать дни к собственной цели».

Хочется думать, что Георгий Александрович развил в себе это умение, хотя по натуре — совершенно очевидно — он был рекордсменом, человеком, стремящимся к финишу. А что касается меня... Следуя своему характеру, я проповедовал и внушал себе одно, а делал порой прямо противоположное.

Пример же настоящей последовательности в этом решительном НЕТОРОПЛЕНИИ ДНЕЙ — этот пример передо мной. Наталья Т. — абсолютно творческая натура, огромный неувядаемый талант, решительно лишенный рекордсменства. Она никогда даже не двинула ногой, чтобы взойти на следующую ступеньку успеха. Ни разу ни на йоту не прибавила скорости, чтобы кого-то обойти... Но оставим... то, что о жене, — дела семейные.

Не беги так быстро, мой дом на колесах! Туннель, еще один... и еще... Не крутитесь так быстро, колеса, по этим гладким рельсам. Я стремлюсь к моей цели, к встрече... Но я не хочу торопить время. Не спеши так, мой вагон, мне нравится быть в тебе.

Вечереет. В Берне поезд будет стоять всего четверть часа и потом помчит дальше — через Домодоссолу в Милан, потом (если я не путаю) Триест — Загреб — Белград — Афины... паром — и... Истанбул... Тогда это уже «Восточный экспресс», о котором читано и столько сочинено романов от Агаты Кристи до Грэма Грина. Как я увлекался этими романами, но на сегодня это не по моей части. На сегодня мой экспресс — «западный». В Берне наш вагон отцепят — он так запылился в дальней дороге, затуманилась на его борту табличка «Москва — Берн». Ему надо отдохнуть. Наши кряжистые проводники с цепкими глазами отдадут последний салют мне — последнему пассажиру — и станут готовиться в обратный путь.

А я? Я двинусь дальше на Запад. Если меня встретят... Если... Я уперся лбом в стекло и вглядываюсь в наступающие сумерки. Где же?... Где же?... Кто это так непротокольно машет руками на платформе?

### *Берн — Женева*

А это Маркиш так непротокольно машет руками на платформе. А рядом с ним стоит и улыбается незнакомая мне женщина. Вот если можно быть совсем заграничной, каждой клеточкой заграничной, то это она — Хайди Тальявини. Ну всё заграничное — одежда, жесты, улыбка, фигура, прическа, запах. Только речь ясно-русская, хотя и с акцентом. Она бывшая студентка Симона, а теперь... О! Теперь она дипломат. Приятное знакомство. В ее доме мы проведем этот вечер и ночь, а утром тронемся в Женеву.

С этого дня и по сегодня Хайди — мой друг. Тогда я не знал еще поразительных талантов этой приветливой женщины. Мог ли я предположить, что мы будем встречаться в Москве, где в должности советника в посольстве Швейцарии она станет заметной фигурой в культурной жизни нашей столицы в самое бурное и переломное время. А потом мы увидимся в Гааге, где она будет уже послом. Она снова вернется в Москву в качестве полномочного министра-посланника. И она покинет Москву ради Чечни — почти год жизни среди смертельных опасностей в составе представительства ООН во время войны. В 98-м она опять в одной из самых опасных, по-настоящему «горячих» точек мира — госпожа Тальявини возглавила миссию ОБСЕ в Сухуми на грузино-абхазской границе.

Хочется вспомнить нашу последнюю встречу, но... наша последняя встреча не состоялась. У меня был концерт в Тбилиси. Хайди собиралась приехать на не-

го — повидаться. В Тбилиси меня поселили в гостинице «Аджария». Два верхних этажа шестнадцатизэтажного здания оставались еще гостиницей. Все остальное пространство занимали беженцы. Густой, многосемейный быт бедных, отчаявшихся людей в коридорах и комнатах, не приспособленных для быта. Часто отключали электричество — и тогда замирали лифты в высотном доме и прокисали продукты в холодильниках, которые переставали холодить. Телефоны работали плохо, а периодически отключались вовсе. В городе появилось много нищих стариков — этого никогда не было раньше в Тбилиси. В магазинах, на рынке очень мало покупателей — у людей нет денег. Дороговизна. В театрах — и в зале, и за кулисами — припахивает нечистотами. Все коммуникации требуют ремонта, а средств нет. Трогает душу и восхищает, что тбилисцы не жалуются, а стыдятся своей беды и даже в этих условиях сохраняют свое несравненное гостеприимство и победную улыбку на измученном лице.

Я дозвонился в миссию. Сказал, что привез журналы, книги и письма от друзей для госпожи Тальявини. Приехал молчаливый шофер и забрал пакет. Телефон окончательно замолк. Связи больше не было. Выступление мое было в самом центре города на проспекте Руставели в театре Грибоедова. Зал полон (и это не исключение — я был здесь недавно на фестивале, на всех сценах ежедневно шли десятки спектаклей и концертов, и всегда, везде залы были полны — таково отношение к театру и к гостям в этом удивительном городе). И я с волнением и благодарностью вижу, что практически все, кого я знал, с кем дружил, с кем вместе выходил на сцену, — все пришли на этот концерт. Хайди не было.

В антракте принесли большой букет и записку в конверте. Ночью на границе снова обострилась обстановка, Хайди не могла покинуть Сухуми. Мы не увиделись в этот раз.

А предыдущий... (Вспомнил теперь!) Предыдущая встреча была в больнице. Меня всерьез прихватило, и назначили одно лекарство, которого нигде не было. Но нашлась Хайди (с которой перед этим не видались, пожалуй, опять с полгода) — нашлась сама и нашла лекарство. Такой вот дипломат! Есть понятие — «карьерный дипломат» — это закономерный постепенный по заслугам рост в должности. У Пушкина сказано о таких: «Кто славы, денег и чинов /Спокойно в очередь добился». Хайди совсем иная. Не в должности растет, а душой растет, и возрастает ее влияние на окружающих. А должности... на удивление, должности тоже растут.

Мы движемся втроем по старым кварталам города Берна. К вечеру слегка подморозило. На перекрестке стоят четыре фигуры в латах. В руках алебарды. При нашем приближении алебарды скрещиваются — проход закрыт. «Чего они хотят?» — спрашиваю я. «Денег! Денег за проход!» — смеется Симон и протягивает им полфранка. Стражи важно кланяются и освобождают дорогу. В Берне зимний карнавал. И вечером, и утром мы встретим еще много костюмированных групп, танцующих, поющих, разыгрывающих малопонятные сценки. Настроение веселое, но не разгульное. Необычность праздничного дня уравновешена обычностью вековых традиций.

Настоящий, реальный Берн выползал из-под крепко впечатанного в память иностранного кусочка знаменитого фильма «Семнадцать мгновений весны». Я узнавал улицы, по которым шел странной походочкой профессор Плейшнер — выдающийся мой коллега и мой товарищ по сцене Евгений Евстигнеев. Какая славная сцена, когда он с наивным умилением разглядывает бернских медведей в открытом вольере. В память о Жене мы с Маркишем тоже подошли к медведикам и тоже умилились.

В середине дня мы простились со столицей (вернее сказать — административным центром) швейцарской конфедерации. Снова вокзал и поезд.

Иностранные поезда. Как они нужны мне в моей будущей картине! Формально мое путешествие называется «частной поездкой». Но, говоря языком профессиональным, киношным, это называется «выбор натуры». Просто у

«Мосфильма» нет денег на такой «выбор», и поэтому еду на свои. Натуру я нашел — вот она, вокруг меня, на каждом шагу. Но как приблизиться к ней с актерами и с камерой? Найду ли я средства? А натура хороша! И пейзажи, и мосты, и туннели... и поезда! Так вот где ты живешь теперь, друг мой Маркиш? Хорошо живешь!

Чистенькие немецкие поезда по сравнению со швейцарскими показались мне пыльными и потертыми. Вагоны швейцарских поездов сверкали уже не как игрушки нерадивого школяра, а как выставочные экспонаты, с которых сдули и смыли все микрочастицы, которые могли бы затуманить их природный блеск. О, этот глубокий зеленый цвет! О, эти буквы на боку (на борту!) каждого вагона:

### SBB CFF FFS

Что это? Магическое заклинание? Шифр счастья? Нет, это надпись: «Общегосударственная железная дорога» — начальные буквы слов на немецком, французском и итальянском языках. Немножко длинновато? Ничего, переживете, зато никто не будет обижен. Единство страны обеспечено тем, что каждый кантон обладает **АБСОЛЮТНОЙ ПОЛНОТОЙ ПРАВ**. И это он сам — кантон — решил отдать **НЕКОТОРЫЕ** из этих прав центральному правительству конфедерации. Да, на итальянском языке говорит только один (один из двадцати двух!) кантон Тичино. Но он говорит по-итальянски. И потому итальянский язык полноправен в общем хоре. И на боку каждого вагона есть и итальянские литеры.

В швейцарском поезде все объявления очень длинные — каждое на трех языках. Вот поезд идет из Лугано в направлении Цюрих — Берн — Фрибур — Лозанна — Женева. Все объявления сперва на итальянском, потом на немецком, потом на французском. Потому что мы едем по италоязычному кантону, а впереди немецкоязычный, а франкофоны... еще далеко. Проехали Беллинзону (маленький городок, но он административный центр кантона, в который входят такие всемирно известные города, как Локарно и Лугано). Вдоль быстрой горной речки, среди громоздящихся гор и водопадов мчится поезд по узкому ущелью, и вот очередная станция — начинается немецкоязычный кантон. Порядок объявлений меняется — впереди немецкий, потом итальянский, потом французский.

Мчатся на больших скоростях чистенькие поезда с телефонным обслуживанием пассажиров. Куда желаете позвонить? В какой город, в какую страну? За окном ухоженные, словно нарисованные городочки, фермочки, поселки... Грюер... Постой, грюер, грюер — это сыр такой «Грюер». Так вот он откуда, этот «Грюер» — вот с этих лугов и полей. Молоко конкретно вот от этих самых коров, которых я вижу сейчас в окно поезда. Привет вам, коровы, я о вас много слышал! И Эмменталь... ах, эментальский сыр! Это тоже конкретно здесь. Не вообще «швейцарский»: что значит «швейцарский сыр» — федеральный, что ли? Тогда надо написать на его боковине FSF (Federale Suisse Fromage) и на трех языках — Сыр Общегосударственный Швейцарский.

Оп-па! Мы и не заметили, как в объявлениях радио впереди встал французский язык. Мы уже в кантоне Во — Лозанна. Следующая — Женева. Немецкий язык теперь второй. А итальянский... он третий. Но он есть! Он звучит и здесь — язык единственного кантона, говорящего по-итальянски. Потому что это государство **РАВНОПРАВНЫХ** кантонов и равноправных граждан.

Еще не раз все эти бытовые наблюдения вызовут мои восторги. И уважение. И сомнения. И разочарования. И даже отчуждение (может быть, абсолютное несправедливое) — уж слишком на нас не похоже!

Это будет потом. А пока... вот он, Леман,— Женевское озеро, похожее на море. Паруса вдали, уютные домики у берега, легкая озерная волна.

Придет время, и мы с Маркишем тронемся на его машине по шоссе, змеящемуся вдоль берега. Симон уступит мне руль, и я впервые почувствую, как это

приятно — вести хорошо сделанную машину по хорошо сделанной дороге. Манящая полоса зелени между шоссе и синевой озера. В тот будущий визит будет лето, будет жаркий день и будет неодолимое желание искупаться. Дурные мы, что ли, — не окунуться в эту блаженную синеву? Сворачиваем к берегу по первой же боковой дорожке... Стоп! PRIVEE — частное владение. Сюда нельзя, назад. Ну ничего, свернем к воде через двести метров, делов-то, тут всюду дороги и всюду асфальт... Верти руль на-пра-а-а-во! Стоп! PASSAGE INTERDIT — проход запрещен. Дальше, дальше... еще попытка: PROPRIETE PRIVEE — частная собственность... Тут просто закрытые ворота... Тут знак запрета — «кирпич».

— Скажите, да где ж тут озеро? Где вода? Как тут выкупаться?

— О, мсьё, я не знаю точно, но, кажется, там дальше, за поворотом в Nyon возле ресторана... там есть дорожка, там есть стоянка и можно подойти к воде.

— И так по всему берегу?

— Ну, в общем... Да, так по всему берегу.

Ничего себе! Вот до чего дошла цивилизация! Вот они, прелести капитализма! Как говорилась в «Покаянии» Т. Абуладзе: «Каждая улица должна вести к храму!» А тут до воды не доберешься — всё частная собственность. Вы вот социализм ругали, а тут получается — каждая дорога ведет к PRIVEE и INTERDIT. Интересно получается! Вот у нас... у нас...

Вспомни! Вспомни, что у нас. Черное море... Ялта... Идешь к морю... Да, правда, там тоже весь берег нарезан теперь уже на ломтики санаторских пляжей и везде нужен пропуск. Но есть городской пляж... Есть! Но, во-первых, он плохой, а во-вторых, до него тоже километров пять. Ну ладно, ну не пойдем купаться. Обмоем лицо и руки в ручье и тронемся в горы. Вот они, дивные тропы дивного массандровского парка. Хоть ноги уже не очень слушаются, но так манят эти тропы, так они сами тебя ведут, так идешь всё выше, выше. Доберусь вон до той вершинки с рощицей... Стоп! Ни надписи, ни «кирпича» — просто колючая проволока... или стенка. А за стенкой слышен мужской хор: «Здра-жла-тва-герал!»

Ой, подальше отсюда — здесь уже не PRIVEE, а государственные интересы. У нас любая улица тоже кончается не храмом, а воинской частью.

Куда же деваться срединному гражданину, у которого нет своей PROPRIETE и нет «ПРОПУСКА ВСЮДУ», гражданину, которого не везут машины со спецномерами и с холуями спереди и сзади?

Вот и думай! И не распускай слюни насчет «храмов на каждой улице». Идеализм! Сказка! Обман! И никогда такого не было. Это мерещится из-за дальности исторического расстояния. Иди своей дорогой, пока тебе ее не перекроют. А потом думай — куда сворачивать. И еще не забывай наличность в карманах проверить. А лучше всего — знай свое место и не шатайся по дорогам!

Нет, шатаемся, набиваемся в поезда и самолеты, покупаем автомобили, плетемся пешком и подсаживаемся в чужой транспорт. И не остановит. Всё увеличиваем скорость. Какие виражи, какие повороты! Какие судьбы в это десятилетие, когда наше поколение, и предыдущее, и последующие, и совсем молодые — все мы вихрем летим на закат — к концу тысячелетия.

До Женевы поездом и двух часов не ехали. Утро сероватое, но мне — европейскому новичку — все кажется ослепительным. Множество флагов и нарядный женевский вокзал Coprain. Бурная Рона, лихо впадающая в Женевское озеро, многометровый фонтан, бьющий из водной глади. Громадная Place Du Cirque — площадь Цирка, совсем пустая сейчас зимой и солидная буржуазная улица Vouy-Lisberg, 3, где теперь проживает мой друг Симон. Да, это не похоже на 2-й Тружеников переулок возле Плющихи. Как, может быть, сказал бы Остап Бендер: это гораздо лучше.

Третий этаж (по-нашему — четвертый). Дверь с табличкой «Sh. Markish» — теперь уже не Маркиш, а Маркiш — ударение сменилось, и не Симон, а Шимон. Здравствуй, брат мой по судьбе!

### *И еще двадцать километров*

Поехали на прогулку. Так много впереди времени, что пока даже не говорится. Молчим. Недалеко отъехали — километров двадцать всего. И пошли пройти по зимнему леску. Вот канавка. Или, может, русло ручья. Сейчас сухо — подмерзло. Симон встает левой ногой на один бережок, правой — на другой.

— Вот я одной ногой в Швейцарии, а другой — во Франции.

— Это граница?

— Ага. Это граница.

Так уж устроено... Где-то бетонные стены, где-то люди с автоматами, а где-то подмерзший ручеек и лесная тишина.

В поисках выживания человечество ставит опыты на себе самом. Кипящая ненависть, высохшие души, слезы, мечты, заблуждения, тоска по невозможному. Робкая улыбка надежды.

А без границ-то нельзя! Не эти, так другие. Здесь невидимые, там невидимые. Границы. Пределы. наших сил, нашей веры, нашей грусти и радости нашей жизни.

Точка. Я закончил мое путешествие.





Татьяна РИЗДВЕНКО

---

## Ночь выныривает в утро...

\* \* \*

Ползучим гадом, бестией, червем  
последняя ночная электричка  
крадется — где ж, вы спросите, огни?  
— Погашены невидимою волей.  
Нас из розетки выдернули вдруг.  
Как стыдно быть ползучим пассажиром,  
подглядывающим простодушный мир  
невидимым и вездесущим оком.  
Лазутчики, шпионы — хороши  
в своей коварной легкости и прыти,  
и бьет неуловимое в мозгу —  
дурное или доброе? — о, если б,  
о, если б знать! Куды себя поймешь!  
...Вся черным шевелением полна  
змеится электричка, будто полоз,  
чья полость непонятна и темна  
и тягостным молчанием набита.  
Ба! Свет включили! Боже, стыд какой!  
Мы прикрываем точки глаз рукой.  
Как если бы от скважины замочной  
нас оторвали, как от сливы сочной  
отъяли, и за ухо повели  
прочь от разгадок мира и земли.

1998

\* \* \*

Читая братьев Карамазовых,  
глубоких и неодноразовых, —  
как жизнь твоя встает на цыпки,  
на цыпках дышит и живет!..  
Но как моменты эти зыбки..  
Вот груша — плод полузапретный:  
бедраст, фигурист, золотист.  
Чу! Сладкий дух ее конфетный  
тебе предсказывал дантист.  
Читая братьев окаянных,  
жалеешь всех больных и пьяных,  
старуху на одной ноге  
и эту жизнь на букву «Г».  
Так и живи, читая братьев,  
все двери в мир законопатив,  
и слыша вопль из-за стены —  
не верь подначкам сатаны.  
А верь печатному листу...

Чу! Русью пахнет за версту —  
здесь русский дух, здесь Русью пахнет.  
Проезжий проститутку трахнет,  
забравшись с нею под перрон,  
а ты не верь — все это сон.  
Все это пахостное чтиво,  
а жизнь — возвышенно-учтива,  
в обложке черно-золотой  
под теплой литерой литой.  
1998

\* \* \*

Молиться о стихах и детях,  
канючить, дергать за полу  
кого-то темного в углу,  
лица не вспомнив, не заметив.

Вот жизнь: вино и молоко,  
бисквиты, яблоки, орехи.  
Как жить противно и легко,  
как относительны успехи!

Стихи и дети, как цветы,  
торчащие в соседской клумбе,—  
смеются с дикой высоты  
и насмеваются из глуби.

Я их подобием сачка  
ловлю, я расставляю сети.  
Сулю конфет и молочка:  
ко мне, мой стихи и дети.

Одной-единственной тоски,  
высокой, выношенной, строгой,  
я расплетаю волоски  
с неостывающей тревогой.

Распахнут мой пустынный дом,  
отверсты форточки и окна,  
трепещут нежности волокна,  
у сердца взятые с трудом.  
1998

\* \* \*

Сорок дней небесной влаги.  
Вянут бабочки и флаги,  
сохнет летняя душа —  
влага ей нехороша.  
Что могу сказать на это —  
для меня, как для поэта,  
роскошь злого водолитья  
затмевает все события.  
Ночь выныривает в утро,  
день течет, как Брахмапутра,  
от моей ладони правой  
до моей ладони левой  
восхитительной отравой,  
обреченной королевой.  
Выстрел в небо — черный зонт  
застит серый горизонт.  
Не в богатстве, не в нужде —

полноби его в дожде,  
 растворенного в холодной  
 поступательной воде.  
 Это кончится, как сон,  
 крику «Хватит!!!» в унисон.  
 От кисельной от болезни  
 мы оправимся вполне.  
 Бродит истина кругами  
 в черной луже, как в вине.  
 1998

\* \* \*

Отведать лета сполна: луны, висящей на ветке,  
 чужой дачи с душем, с поющей калиткой в лес.  
 О, пикнический ритм бытия, небо в теннисной сетке,  
 маятник злой тарзанки, пьяный ее отвес.

Участок мира запущен, как запущена мне в окно  
 черешня с рынка, черная, как вино.

Что остается? Есть, пить, рисовать,  
 лениться стоять в очереди к телефону,  
 ко всему московскому остывать,  
 привыкать к бесхитроственному фону.

Ночью следить траекторию комара:  
 ладонь изготовить и проснуться с утра  
 с огромным солнцем, сующим тебе в окно  
 ветку, муху поющую, лилию — все равно.  
 1998

\* \* \*

Как тяжело обрушилась зима —  
 листву лимонно-желтую сбивая  
 и в пену белоснежную сбивая  
 большие некрасивые дома.

Зачем такая сила вам дана,  
 снега небес, внезапной сединою  
 летящие, идущие стеною,  
 и в чем-то вы сильнее, чем стена.

Рука застыла, ветром октября  
 оставленная в недопетом жесте,  
 и вот гнедою варежкой из шерсти  
 ее зима уздает, теребя.

О, тихий сон, желток на белизне.  
 Оранжевое с белым и зеленым,  
 как кислое со сладким и соленым —  
 нехороши в притворной новизне.

Смерть осени в начале октября  
 поэту пищу горькую откроет,  
 и снегом ему голову укроет,  
 и вложит в горсть священный матерьял.

1998



Леонид КОСТЮКОВ

---

## О счастливой любви

РАССКАЗ

Чайки касались воды.

Море резко пахло йодом.

Тогда в моде были оранжевые купальники — они буквально полыхали: тут, и чуть левее и выше, и совсем высоко, на полпути к горизонту, где кривоватая линия пляжа упиралась в небеса и три стихии сходились, как на диаграмме. Пробегавший ребенок засыпал песком край моего покрывала — я приподнял его и потряс.

Пальцы помнят — я могу свести их ровно настолько, что между ними появится толщина одеяла — но без него. Мерой вещей становится пустота.

Как, впрочем, и, наоборот, вещи вокруг человека зачастую становятся лишь мерой пустоты, и это может случиться с каждым.

Там был белесый парень с выгоревшими ресницами и красноватой рябью на руках, заменявшей ему загар. Он любил девушку — ладную, с черными волосами будто целым куском — по ним ее можно было везде отыскать, куда бы она ни забрела или ни заплыла. В ее отсутствие парень бродил вертикалью среди полуплоских размытых тел, подходил к сугубо мужским компаниям, спрашивал закурить. При девушке он становился неуступчив и хмур. Она то ластилась к нему, то обижалась и надолго исчезала — все в шутку. А если вкратце, она его не любила.

Я наблюдал за ними от нечего делать, но иногда мне становилось отчего-то не по себе, как бывает, когда выдается день душный, пасмурный и абсолютно тихий и люди ходят как под куполом. Тогда я отвлекался на остальных. В то лето меня интересовали люди, переставшие стесняться своих тел: коротконогие и чудовищно толстые женщины, рахитичные мужчины с острым пузом на отлете. Они откровенно жрали жареных кур на прозрачных от желтого жира газетах, играли в меру своих возможностей в бадминтон и мяч. В их отрешении от телесной оболочки мне хотелось видеть начатки земной мудрости. Подходя близко, я заглядывал в их глаза, как будто душа могла полыхнуть там на манер оранжевого купальника. Кажется, раз или два мне удалось что-то уловить, но чаще взгляд натыкался на масляную пленку и увязал в ней.

В мои планы входило отдохнуть летом на море — я и отдыхал. Вставал примерно в один и тот же час без выражения на лице и мирно завтракал в тенистом кафе. Часто за моим столом оказывалась дама средних лет с неуловимыми чертами лица, так что я никогда не мог сообразить, кто это, прежде чем она со мной не заговаривала. В отчаянии я попытался запомнить ее одежду, но как раз одежду она меняла изо дня в день.

Вот о чем мы говорили: она спрашивала меня *как вода*, я отвечал, что не был еще у моря, а потом добавлял, что, *вероятно, как вчера*. Этот ответ вполне ее устраивал, и мы допивали сок в благожелательном молчании. Она неизменно уходила первой — я наблюдал ее небольшую и почти квадратную фигурку в цветастом девичес-

ком платье. Она шагала бодро и легко, мне нравилось ее отношение к собственному одиночеству. Так, со спины я узнал бы ее из тысячи. Иногда на ней оказывалась соломенная шляпка с ярко-красной лентой, лента плясала на ветру.

Потом парень надолго поссорился с девушкой. Черные волосы одним куском мелькали там и сям. Она играла в волейбол ослепительно белым мячом, ловила красивых синих медуз, кокетничала с почти чернокожими фотографами. Он бродил, спрашивал закурить и курил.

Я, пожалуй, ненавидел эту черноволосую девушку, но слабой, разбавленной ненавистью. Мысли и желания сворачивались на солнце, как молоко. Жар парализовал меня, как ящерицу парализует холод. Я ненавидел ее, и мне не было до нее дела.

Я шел на пляж не спеша — так, что меня все обгоняли. Огромные сумки, иностранные дырчатые кепки с темными козырьками, спортивная обувь больше и белее обыкновенной. Седовласые ноги пожилых курортников и просто волосатые — молодых парней. Так много красивых женщин, что они сливались в праздничный фон. Мелкокудрявая зелень, и в ее прорезях — ровно голубые небеса. Чебуреки, плов и шашлык составляли аромат одновременно притягательный и отвратный, потому что я был сыт. И везде, устно и письменно, изливались рекламные призывы, сводящиеся к одному: все хотели моих денег.

Я шел одним и тем же маршрутом, накладывая день на день, как похожие негативы, чтобы напечатать в итоге нечто слегка расплывчатое, но лишенное временной метки, — так, тень кипарисов и тополей, солнце, небо, волна.

Мне нравилось купаться — медленно входить в воду, перегоняя вверх по телу острую границу стихий, потом плыть, разгребая тяжелую воду ладонями и толкая ногами, нравилось пробовать языком ее соль, смотреть в зеленоватую муть. Мне нравились полосы холода и тепла, чередующиеся по неизвестным мне законам.

Загорать мне не нравилось совсем. Как я ни ложился, вскоре приходилось вставать, при этом кровь в голове угрюмо плескалась, как кипятки в чайнике. Я клал на лицо унылую местную газету, которых накупил десятков в первый день, чтобы хватило на нехитрые хозяйственные нужды и в то же время чтобы не лупило по глазам это чертово приращение даты. Теперь газета, истребленная в урне, мусорном ведре или того хуже, возрождалась буква в букву в следующей инкарнации. Не желая читать, я ее прочел. Не сразу, но мне понравилась беспомощная заметка о совершенно хорошей школьной учительнице, *счастливой оттого, что она нужна людям*. Мне постепенно стало очевидно, что эта бедная женщина действительно существует и счастлива, причем по указанной в заметке причине. Но солнце начинало печь и сквозь газету, черный шрифт раскалялся, я вставал, садился, бесцельно перестилал одеяло, выжидая момента, когда можно будет снова запустить в воду собственное раскаленное тело.

Но сильнее любви к купанию и нелюбви к загару было во мне немецкое почтение к самому распорядку, к чередованию купания и загара, сна и еды. Я ощущал себя борцом с распадом и гниением на вверенном мне участке материи и вел эту борьбу *физически*. Я боролся со временем как таковым — гнусной категорией, отделяющей человека от того, что выше его.

Мало-помалу я различил еще нескольких завсегдатаев пляжа.

Были три деятеля средних лет, чем-то напоминающие *охотников на привале* с известной картины. Их совершенно состоявшиеся лица с бородками, очками и прочей утварью не принадлежали пляжной жизни и казались приставленными к телам. Точно так же морща лбы и щуря глаза, иронично и живо эти лица существовали в горе и радости, на симпозиуме и в койке. В частности, охотники были, несомненно, из Москвы. По большей части они играли в карты, в преферанс.

Была девушка с тонкой высокой шеей и глазами, как у олененка из детской книжки, но, кроме того, у нее была превосходная широкая задница и шикарные бедра. Ее тело было словно собрано из запчастей высшего сорта, но заказчик отчего-то не заметил, что части не подходят друг к дружке. С девушкой приходила на пляж старшая подруга — в черных очках, каком-то флере на голове и с воздушным шарфом на шее, но безо всего этого, без косметики, она оказывалась вовсе без лица, так, с заготовкой.

А еще был мужчина с яростным выражением толстого лица. Собственно, он весь был толстый, но не дряблый, а литой и загорелый. Яростное выражение происходило от светлых, почти белых глаз и короткой стрижки. Его жесткие волосы стояли дыбом, и, когда он приподнимался на локте и оглядывался, это напоминало кадр из боевика.

Я сидел в кафе и пил апельсиновый сок. Напротив сидела женщина в соломенной шляпке и вроде бы та же, что и всегда, но, пока она не спросит про воду, нельзя судить наверняка. Наши взгляды встретились, и я состроил на лице что-то вроде поощрительной улыбки.

— Вода как вчера? — спросила она.

— Вероятно.

Мы допили сок практически одновременно. Я смотрел в пустой стакан и не понимал, как мне всегда удавалось уходить из кафе вторым.

— Пойдемте? — сказала она очень естественно.

Мы собрались и пошли.

Мы шли рядом, однако я видел лишь шляпку, потому что эта женщина была очень маленького роста. Я хотел заговорить с ней, но обращаться к шляпке было так же нелепо, как говорить с автоответчиком. Теоретически я должен был испытывать досаду из-за вариации в распорядке дня, но отчего-то мне было спокойно на душе. Я верил, что море и солнце залечат эту царапину, что через час или два я снова впаду в ту невозмутимую реальность, которая теперь заменила мне жизнь.

— А почему вы один? — вдруг спросила она.

Я *затруднился с ответом*. Тогда она перевела свой вопрос на язык полных идиотов:

— Вы женаты?

Я понимал, что правдивый ответ прозвучит издевательски, но у меня не было сил опускаться в интересные бездны вранья.

— Я не знаю.

Она задрала голову и посмотрела на меня.

— Вы извините... что это так выглядит. Все очень просто. Мы поссорились перед отъездом, и моя жена ушла, но я не знаю, насколько это серьезно.

— А вы не пробовали позвонить в Москву, выяснить?

— Нет. Я не хочу.

— Бойтесь? — уточнила она.

— Не хочу, — повторил я, потому что уточнять было нечего.

— Но... хотя бы как вы сами хотите, ну, чтобы это кончилось?

— Я не знаю.

Сегодня меня обгоняли не все, потому что она шагала бодро и легко, а я шел с ее скоростью. Я покосился на ее шляпку, и мне показалось, что женщина сконфужена моими дурацкими ответами.

— Понимаете... я не такой дурак, как это выглядит. Просто у нас выросла дочь и вышла замуж, и теперь мы не понимаем, что именно нас связывает...

Я слушал со стороны собственные слова, и они звучали нестерпимо банально, как выдержка из *типовой инструкции по человеку*. Мне показалось, что моя спутница зевнула или сдержала зевок. Ее, вероятно, устроила бы яркая деталь, как я, на-

пример, швырнул в свою жену пепельницей, но я не швырял. Говоря эту *пустоту* и оцепенело глядя на круг шляпки, я подвернул ногу и чуть не упал. Тогда я остановился и взял женщину за локоть.

Она была моих лет или чуть постарше, но маленький рост превращал ее в девочку. Я взял ее шляпку за поля и повернул в сторону ушей и затылка.

— Я хочу видеть ваше лицо.

— Да? — не удивляясь, сказала она. — У меня всегда с этим проблемы.

— С чем?

— С ростом.

Мы отошли к скамейке и сели. Толпа равномерно текла на пляж. Скамейки столы совсем пустые, в густой тени.

Здесь, в тени, она сняла шляпку и взглянула на меня спокойно и прямо. Я понял, что никогда толком не видел ее лица: всегда смотрел мельком и украдкой, боясь быть уличенным в том, что не узнаю ее. И успел подумать еще: сколько мелочей беспокоят человека, которого, в сущности, уже ничего не должно беспокоить.

Между тем маленькая женщина была, пожалуй, очень красива — спокойной и прямой красотой. Ее красота не возбуждала, но в это лицо хотелось смотреть и смотреть.

— А как вы поняли, что я из Москвы?

— Господи, — сказала она устало, — это же написано на лице.

Я вспомнил *охотников* и кивнул.

Не сказав еще и десятка фраз, мы поднялись и побрели дальше на пляж. Там расстались так же естественно, как встретились в кафе и дошли вместе досюда. Я пошел налево, к своим влюбленным, охотникам и остальным, а она — направо, к неизвестным мне людям. Но перед расставанием я спросил ее:

— А вы, вы почему одна?

— Я, — сказала она задумчиво, — никак не могу отвыкнуть от Виталия Павловича.

После этих слов она простилась со мной очень сердечно и ушла, но, пожалуй, без обычной бодрости. Я наблюдал за ее маленькой фигуркой, пока она не затерялась в цветастой толпе. Она оказалась совсем не толстой — впечатление *квадрата* шло от силуэта ее платья, только и всего.

Кто такой этот *Виталий Павлович*? Вероятнее всего, это ее умерший муж. От чего от него осталось только бесполезное имя-отчество, по которому его уже невозможно позвать, как по устаревшему номеру телефона?.. И почему надо *отвыкать* от него, а не *привыкать* к новой жизни?

Я почувствовал себя так, словно круглый серебристый тоннель, висящий где-то сбоку и сверху и никому вроде бы не мешающий, развернулся и показался мне *в разрезе*, во всей своей гнилой кишечной внутренности. Вероятно, ту же конструкцию узрел перед смертью Державин и назвал излишне уважительно *жерлом вечности*. Я ощутил это как катастрофу, причем не личную. Как если бы беспечные купальщики начали вдруг тонуть, у волейболистов схватило сердце, а пляжный песок сам собой сложился в песчаную бурю. Каких-нибудь сто лет — и все эти прекрасные человеческие формы исчезнут, истлеют и в таком виде не вернуться уже никогда.

Это, наверное, была классическая *весть*: я ощущал ее вполне материально, как горячий куб где-то между ребер, неудобный и болезненный, но никому я не смог бы этот куб передать, все отмахнулись бы от меня и сказали, что сами знают о своей смертности или бессмертности — как у кого повернулся бы лукавый язык. Но в том-то и штука, что я говорил бы о другом знании. Нет нужды упоминать, что я не стал проповедовать курортникам. Я перебог в себе прообраз смерти, как изжогу.

Вот на какие мысли навел меня Виталий Павлович, жив он или умер.

Однако я исправно купался и загорал, купался и загорал, и читал о несчастной учительнице, которая так неловко любила людей и свою работу. Мне представлялись избыточные поздравления ей после злополучной заметки и ее конфуз, словно она ради этого работала и жила, и мучительная мысль, что она *недостойна*, и мучительная мысль, что она еще как *достойна*, да, пожалуй, достойна и большего. Господи, как мне было жаль наивную смертную учительницу, о которой мне было доподлинно известно лишь то, что она довольна работой и счастлива, да еще, пожалуй, что она человек и подвержена *типовой инструкции*. Пожалуй, я роптал против миропорядка — так сказать было бы точнее всего.

Солнце пробивалось сквозь неплотную местную газету, но вдруг запнулось. Две три секунды я пролежал в глубокой тени, потом отложил газету и открыл глаза.

Передо мной стоял черный силуэт титана, головой уходящий в небо. Силуэт что-то сказал.

— А? — переспросил я.

— Извините. У вас не найдется закурить?

Между тем на силуэте проступили черты. Это оказался белесый юноша.

Вот что я почувствовал: его существо, а если сказать точнее, организм нуждался в любви, и я не мог ему ничем помочь, а малой своей частью он нуждался в сигарете, и даже в этом я не мог ему помочь, потому что не курил. А еще я почувствовал, что при другом раскладе мог бы оказаться им, хотя на первый взгляд между нами не было ничего общего. Причем это была не абстрактная мысль, что любой человек мог бы родиться или очутиться другим любимым, а что именно я — *им*. К примеру, я не мог оказаться *охотником*, хотя умел играть в преферанс.

— Минуточку,— сказал я и вскочил. Через секунду я уже черным силуэтом нависал над яростным мужиком.— Извините,— сказал я ему.

Он приподнялся на локте с таким видом, словно у меня осталось тридцать секунд на объяснения. Я понял, что еще добавляло ярости к его облику: рот подковкой, типа улыбки вверх ногами.

— У вас не найдется закурить?

Он в высшей степени мирно залез в свернутые рулетом штаны, нашарил там пачку сигарет. Потом в другом кармане нарыл зажигалку и все это хозяйство любезно протянул мне.

— Я на минутку.

— Да на сколько угодно.

Я отнес сигареты и зажигалку парню; тот ждал со смущенным видом. Показал, кому отдать. Потом обернулся и ушел, потому что мне нечего было сказать этому парню. Единственное, что имело бы смысл,— *она тебя не любит*. Но это он и сам превосходно знал.

Я шел по пляжу, бесцельно вертя головой. Среди ярких цветowych пятен преобладали оранжевые. Сказать, что я искал соломенную шляпку... разве что подсознательно. В принципе этот мой поход был не *куда-то*, а *откуда-то*. Ноги, однако, сами занесли меня на правую оконечность пляжа, и вот холодная рука коснулась моего локтя. Я отдернул его и оглянулся — это была маленькая утренняя женщина.

— Я окликнула бы вас,— сказала она,— да не знаю имени. Извините, я только из воды, рука мокрая.

— Константин. А вы?

— Ольга.

Она подвела меня к местным *охотникам* и церемонно представила. Охотники чуть приподнялись и обозначили поклоны. Их имена я немедленно забыл. Они играли в преферанс, Ольга — с ними. Я собрался было идти, хотя идти мне было некуда.

— Садитесь,— сказала Ольга,— будете мне подсказывать.

Она была невелика, но и места нам двоим на подстилочке было мало. В двух или



трех горящих точках меня касался ее мокрый купальник. Охотники смотрели на нас понимающе, словно столкнулись с *типовой ситуацией*. Карты были мои любимые, в древнерусской стилистике, где валеты как витязи. Так я провел время — едва касаясь женщины, которая нравилась мне все больше, и глядя в ее карты. Это *полусуществование* вполне меня устраивало. Раз или два мне удалось окунуться; ходила купаться и Ольга, доверяя мне сыграть сдачу-другую. У нее были светло-голубой купальник и чудесная фигурка. Когда кончилась пуля и настало расплывчатое время обеда, мы разошлись. Мои вещи лежали нетронутые, не нужные никому. Не было уже ни парня, ни девушки, ни остальных моих персонажей. Волны показались мне выше обычного. Я рассчитывал встретить Ольгу на обеде в гигантской столовой, но не встретил.

Произошло то, что не должно было произойти, — мне стали важны совершенно посторонние люди, спокойно отдыхающие на южном море. Так бывает: сидишь у окна в автобусе и безмятежно смотришь на бегущий ландшафт — дома, деревья, стайки людей. Но вот автобус останавливается, и одна такая стайка всасывается внутрь, и вот они уже не за окном, а тут, на расстоянии руки. Против всякой логики мне померещилось, что это мои *мать, жена и дочь* протягивают щупальца из Москвы. Ритм моего отдыха сбился. Речь не о том, что после обеда мне не захотелось возвращаться на пляж: так бывало и в другие дни. Речь о том, что я пошел на поводу у своих желаний и предал свой немецкий распорядок.

Я потащился в город — ноги сами привели меня в молочную, где я так удачно брал последний кефир в эти дни — или что-нибудь еще, если кефир все-таки кончался. Теперь, в неурочный час, тут были и кефир, и весь прочий репертуар, зато стояла очередь — и не из отдыхающих, а из угрюмых местных жителей, которые купаются в море только в молодости. Они смотрели на меня косо, словно мне полагалось быть в этот час на пляже, а не им на работе. Я набрал им назло целый ворох продуктов, который еле отнес к себе в сарайчик. О том, чтобы съесть это все в разумный срок в одиночку, не могло быть и речи.

Теперь моя зависимость от человеческого сословия с ненужной наглядностью топорила на подоконнике. Из-за многослойной зелени в сарайчике всегда было темно, я воспользовался этим, чтобы попытаться обмануть время и уснуть.

Я уснул — затем лишь, чтобы проснуться посреди ночи. Часов у меня не было. На небе торчали *вот такие* звезды. Режим летел к черту.

Я встал и констатировал, что *отдохнул* и могу делать, что захочу. Прислушавшись к эфирному шороху своих чахлах желаний, я постановил, что хочу пойти и искупаться безо всякого загара.

Звезды светили отвратительно. Ветви хлестали меня по лицу. Предательская почва то уворачивалась от ноги, то встречала ее с упреждением. А потом сквозь непроглядную тьму все-таки открылось море. Я услышал его навязчивый гул. Я учуял йод с солью. Но я все же и увидел его, и не потому, что в нем отразились звезды (они не отразились). Просто море было настолько огромным, что проступало сквозь темноту.

Единственная серьезная проблема — как в полной темноте найти свою одежду. Но со временем даже эта мгла немного разбавилась, по черному загулял серый. Обозначились небрежное небо между звезд, галька и даже барашки на волнах.

Волны, кстати, показались мне больше обычного. Машинально передвигаясь по кромке стихий, я наступил на кучку одежды. Сперва у меня мелькнула дикая мысль — что я все-таки сумел обмануть время: вот, одежда на мне, и она же у моих ног. Но потом сообразил, что это чужая одежда. Я поднял вещь за вещь и рассмотрел. Зрение работало уже почти нормально, только в черно-белом варианте. Отчего-то я был почти уверен, что встречу кого-то из уже отмеченных мной людей. Мне достались туфельки, несколько легчайших лоскутов какой-то невятной материи и

черные очки. Вероятно, где-то в воде была подруга девушки с тонкой шеей. Мне стало интересно и смешно. Я начал ждать.

(Я даже не понял, голая она там, в воде, или в купальнике.)

Ждать пришлось совсем недолго — женщина вышла из воды немного сбоку своей одежды и, наклонив голову, выжала волосы. Потом стала оглядываться.

— Не бойтесь.— Мой голос прозвучал хриловато.— Я просто тоже хотел искупаться.

— Милости прошу,— ответила она, даже как-то обидно меня не боясь,— вода замечательная.

С другой стороны, вряд ли станет женщина ходить в одиночку купаться по очам, чтобы пугаться первого встречного. Она подошла ко мне так близко, что я уже ощущал холод и тепло ее тела, полосы холода и полосы тепла. Но по-прежнему не понимал, голая она или в купальнике.

Тут она оступилась на гальке, и мне пришлось поддержать ее за локоть. Как бы для верности я поддержал ее и за талию свободной рукой. Она оказалась в купальнике. Так мы простояли долгую секунду, потом она высвободилась мягко, но очень уверенно.

— Спасибо,— сказала она.— А вы ждете кого-то еще?

Я разделся и пошел прямо в волну.

Вода была теплой, тяжелой и даже твердой; пробираясь по волнам, я ощущал их геометрию: вогнутости и острые края. Казалось, что в них нельзя утонуть, но можно заблудиться. Борьба с волнами увлекла меня. Несколько раз я удачно перевалил через них, но потом меня накрыло волной, и я вдоволь хлебнул едкой соленой воды. Пытаясь вынырнуть, я угодил в следующую волну, рванулся изо всех сил и глотнул все-таки воздуха. В ноге хрустнуло, но так, неопасно. Я подумал еще, что опять сбился с ритма.

Барахтаясь на верхушке волны, я понял, что ко всему потерял берег. *Типовая инструкция* в таких случаях рекомендует плыть по разворачивающейся спирали, но на это у меня не хватило бы сил. Оставалось обратиться к женщине — не за помощью, а просто чтобы засечь берег. Мне некогда было обдумывать сигнальную фразу. Я развернулся ориентировочно к берегу, истерично вынырнул чуть не по пояс и заорал изо всех сил:

— Как там мои шмотки?

— Просытятся ко мне в сумку,— раздалось совсем близко и строго слева.

Я вышел из воды совершенно дохлый. Вот теперь ночная женщина стояла уж точно голая, выжимая купальник, как волосы пару минут назад.

Непонятно, где и как я поцарапал ногу, и там быстро сворачивалась густая черная кровь. Сегодня днем я получил *извещение о смерти*, а только что чуть не погиб в прибрежных волнах — это я-то, чья жизнь *в разной степени* нужна нескольким десяткам людей в Москве, и не было часа, чтобы я об этом забыл. Моя жена, вероятнее всего, утешалась сейчас с моим другом (впрочем, эта банальность была вынужденной: у нас за долгие годы попросту не осталось отдельных друзей). А еще сегодня утром я встретил женщину, которая сильно взволновала меня. Странно, но и последнее соображение, как и остальные, толкало меня к *этой* голой мокрой женщине у кромки воды. Видимо, все складывалось в одну весть: *я жив*.

Я подошел к ней. Она взглянула на меня, не выпрямляясь, лишь подняв голову. — *Брось*,— сказала она.

Но это означало совсем другое. Я обнял ее, взял на руки и отнес на песок. И там мы долго *занимались любовью*, сопровождая это занятие вздохами и стонами, как будто нас мучил кто-то третий. А потом, так и не сказав ни слова, отряхнулись и пошли к кучкам своей одежды. Она сумела одеться первой и молча ушла. Мы так и не узнали имен друг друга и не рассмотрели лиц.

На следующий день я постарался проснуться *как всегда*, но, по-видимому, это мне не удалось. Часов у меня не было, да они и не спасли бы меня, потому что я не знал, который час бывал тогда. В утреннем кафе завтракали совершенно чужие люди, Ольги там не было. Я шел на пляж, обгоняя всех, и пытался понять хотя бы, раньше или позже обычного я туда иду. По песчаной полосе я сразу завернул направо, но не встретил ни Ольги, ни ее охотников. Впрочем, их я запомнил нетвердо.

Потом, такой же одетый и озабоченный, я вернулся на свой участок пляжа. Тут был яростный сосед — приподнявшись на локте, он кивнул мне, как родному. Был парень с девушкой метрах в ста друг от дружки. Не было охотников. И — на границе гальки и песка располагались девушка с тонкой шеей и ее спутница. Сличая дневной ландшафт с ночным, я определил, что их подстилка находится примерно там же, где я был ночью.

Я не был уверен, она ли это. Я остановился возле них как бы в задумчивости, но наблюдая за некрашенной спутницей боковым зрением. Та взглянула на меня с холодным удивлением — я рассеянно смотрел на небо. Там, впрочем, ничего не происходило.

А если это и она — как она может узнать меня?! Разве только и у нее на мой счет было наблюдение, заготовка, скажем: *одинокий болван*. А если мы и узнаем друг дружку, ради чего нам фиксировать это в словах? *Погодите, погодите, это не с вами я вчера... Господи! а я-то думаю, откуда... присаживайтесь, будьте любезны. Хотите плавленого сыру?*

И, я думаю, выражение холодного удивления предписано *типовой инструкцией*. Я бросил вещи и ушел купаться. А когда средние волны вдоволь истрепали меня, я вернулся к своей одежде. И тут яростный мужчина обратился ко мне через два лежака:

— Вы слышали, тут утонул кто-то сегодня ночью.

...оранжевые пятна расплывались у меня перед глазами. Я не то чтобы был уверен, а *знал*: это была она, Ольга, оттого что я спутал место... спутал женщину. Я настолько точно это знал, что непонятно зачем двигался на ее участок пляжа. Во-первых, у меня не было никакой надежды, ни грамма, во-вторых, я все равно ни черта не видел. Я споткнулся о чьи-то ноги, остановился. И тут мокрые ладони закрыли мне глаза.

— *Ольга?* — сказал я не потому, что в это верил, а потому, что предпочел ошибиться в ее честь. Она обошла меня и стояла, как лист перед травой, смеющаяся, в розовом купальнике, маленькая и совсем молодая.

— Что с тобой? — спросила она, сама расстраиваясь. — На тебе нет лица.

Меня поразила эта вполне *типовая* фраза: ведь и я с трудом усвоил лицо Ольги, да и ночная женщина осталась в моем представлении без лица.

— Ночью утонул человек. Мне показалось, что это ты.

— Да что ты! Я не купаюсь ночью. Кроме того, меня никогда не называли *человеком*. Утонул — Господи! как жалко... Сегодня я не играю в карты. Я читаю женский роман. Хочешь, будем читать его вдвоем?

Я кивнул.

— Нет, не надо, какой ты смешной! Я пошутила. Лучше мы просто поговорим.

Мы опять уместились вдвоем на ее коврик. Она коснулась меня мокрой ногой — меня пробило, как конденсатор. Так мы просидели до обеда, говоря, в общем, о пустом. А расстались как-то глупо: мне ведь надо было забрать свою одежду, но я не решился пригласить Ольгу за ней или хотя бы попросить ее подождать меня. Она стала подниматься по лестнице, а я поплелся за штанами и майкой. В голове вертелась одна мысль: новой разлуки я не перенесу.

После довольно обильного обеда, вкуса которого я, впрочем, не почувствовал, я поддался на уговоры в мегафон и отплыл на экскурсию в Ялту. На полпути мне так захотелось назад, что я чуть не ввалился к капитану с ворохом денег и просьбой раз-

вернуться. Меня удержало простое экономическое соображение, что для таких романтических жестов нужны другие деньги. Я доехал до Ялты головой назад, как один из *типовых* грешников в скрупулезном дантовом аду, с мазохистским вниманием наблюдая, как возрастает расстояние между Ольгой и мной. В Ялте против ожидания я не бросился назад, а стал исправно шататься по набережной, стараясь встречаться глазами с красивыми женщинами. Это удалось мне так много раз, что взгляды их слились в один, голодный и долгий. Глядя в эти безымянные глаза, я съел шашлык. Вкуса он не имел, как и обед, но я различил обугленные фрагменты. В итоге оказалось, что я пропустил все обратные катера и автобусы. Пришлось брать машину. Нервно смеющийся кавказец в два счета довез меня до родного пляжа.

За каким-то чертом я свернул к воде. Тут как раз берег обшарил мощный морской прожектор, и я увидел то, что хотел, — кучку шмоток. Я подошел к ней, разделся и тщательно перемешал эти эфирные одежды со своими тупыми и грубыми. Потом, не испытывая судьбу, окунулся на мелкоте, как старик или ребенок. Сегодня ночью купальщица не ошиблась и вышла прямо ко мне в руки.

На следующий день я сделал все, чтобы не потерять Ольгу, и до самого вечера жил ее женской жизнью, трогательной, открытой и хлопотливой. Мы посетили рынок и купили хорошего творога и дешевых фруктов. Отыскали симпатичный сувенир из ракушек какой-то московской подруге. Я узнал, как жил и умер *Виталий Павлович*. Я услышал много бесполезного для себя о сыне Ольги Игоре и его разнообразных проблемах. Я записал в книжку местный адрес Ольги, московский ее адрес и два телефона — домашний и служебный. Осталось взять фото на память и снять отпечатки пальцев. Мы обедали, вернулись на пляж, ужинали, потом я проводил ее по известному мне адресу, и мы долго пили нестерпимо горячий чай с Ольгой и ее хозяйкой. Я стеснялся того, что потел. А потом мы очень сердечно условились встретиться завтра утром в кафе (я догадался оговорить час) и простились на крылечке. Я поцеловал ее в щеку — мне было совершенно ясно, что сегодня поцелуй в губы огорчит ее, *Ольгу, мою дорогую Ольгу*, но скоро, может быть, завтра ее огорчит отсутствие поцелуя. Я шел домой, и мне казалось, что, слегка подпрыгнув, я достану до самых высоких ветвей с трепещущей черной листвой. Придя в свой сарайчик, я честно лег спать, но проснулся посреди ночи *от любви к Ольге*. Я встал и выглянул на улицу. Светила луна. Я отправился к дому Ольги и долго, как исправный дурак, стоял под ее окном. Затем пошел назад, завернув на морской берег, так, искупувшись. А потом, после всего, долго плавал уже хмурым сероватым утром, отмывался от греха, смотрел, как мир наливается красками. А потом поспешил на площадь, чтобы узнать, который час, и за сорок минут уже успел в кафе, где и встретил Ольгу — минута в минуту.

Ночная женщина — я не знал, кто она в точности. Та *спутница*, которую я заподозрил с самого начала, исчезла на пару дней, но купальщица всегда была на месте. Вечно выходящая из морской воды, она состояла из плоти, но без своего запаха, без индивидуальных черт. Наш *роман*, если это слово тут уместно, не развивался во времени. Хрипловатое *брось* осталось последним словом, сказанным между нами, да и стоны скоро сошли на нет; соития проходили в жутковатом молчании, под ритмичное похрустывание песка. Строго говоря, я даже не уверен, что это из разу в раз была одна и та же женщина. Шмотки варьировались. Ее можно было бы назвать *типовой женщиной общего положения*. И от меня в ее присутствии оставался лишь пол. Я уходил, не чувствуя ничего — ни стыда, ни гордости, ни даже гарантированной каждому живому существу *печали*. И из этого бесчувствия постепенно всплывали радости и огорчения прошедшего дня, тревоги и надежды дня грядущего.

Пожалуй, по ночам мне удалось истребить время. Теперь я к этому не стремился, но организм решил поставленную задачу по инерции. Так бывает.

До отъезда оставалось два дня. Ольга уезжала сутками позже, мы условились

не менять билеты, чтобы *обдумать* все без помех. Мне нечего было обдумывать или устраивать. Одним звонком в Москву я все решил, вернее, выяснил, что и решать было нечего. Мы с Ольгой зашли однажды на левый участок пляжа — так, для разнообразия. Белесый парень был при своей девушке, яростный мужик — при своей фиктивной ярости. Охотники слиняли. Мне было странно, что эти люди как-то выделялись из фона. Сейчас они снова оказались за толстым автобусным стеклом.

Девушка с длинной шеей выходила из воды — так что ее сексуальная нижняя половина оставалась там, под зеленой поверхностью. Ее спутница лежала, подставив солнцу лицо в черных очках.

Она ли *купалась ночью*? Бог весть. Сейчас я видел, что это мне безразлично. Жизнь рассклалась на две: ту, что остается здесь, и ту, что отъезжает в Москву.

В Москве я встретил Ольгу с огромным ворохом роз. Мы совершили все действия, предписанные *типовой инструкцией*. Вот уже четыре года я совершенно счастлив. Я счастлив так, что мне нечего желать. Из надежд и тревог, составляющих будущее, остались одни тревоги.

Я встретил в дебрях Москвы белесого парня в строгом черном костюме. Он помнит меня, но не помнит черноволосой девушки. Это странно.

Те... ночные купания — я ожидал, что они исчезнут из памяти, скроются за поворотом времени, останутся как анекдот, случившийся вроде как и не со мной. Но они остались небольшой занозой и беспокоят меня. Идеальным исходом было бы обнаружить среди Ольгиных вещей черные очки и воздушные лоскутки, как лягушачью кожу. Но это была бы готическая сказка, а не московская быль.

Я сходил в церковь и, *как предписано*, исповедался молодому попу с глубочайшим взглядом. Он отпустил мне грех легко и даже поспешно. Тогда я рассказал обо всем этом Ольге. Она слушала меня невнимательно и сказала только:

— Будем считать, что ты окончательно полюбил меня в поезде.

Будем считать. Вчера я сидел вечером перед выключенным телевизором, и вялые мысли плавали во мне, как рыбы в аквариуме. Провернулся ключ в замке, я обрадовался и выскочил встретить Ольгу.

— Все в порядке? — бегло спросила она, вставая на цыпочки и целуя меня в щеку. — Что по ящику?

— Я не смотрел. Вероятно, то же, что вчера.

А под утро со страшной отчетливостью, присущей некоторым снам, я увидел ночную кромку воды и кучку цветастых тряпок. В жизни они были черно-белые, и я понял, что это сон.

С моря дул ровный ветер с запахом соли и йода. В небе сквозь облака пробивалось несколько звезд — я мог бы их сосчитать. Под ногами была галька, я переступил — острый камешек больно ужалил меня в пятку. И все это умещалось в пространстве моего черепа.

Из воды на меня шла женщина без лица. Я хотел досмотреть сон. Я хотел проснуться. В результате я проснулся со звуком лопнувшей струны в голове.

Я выбрался на кухню и налил себе стакан тепловатой кипяченой воды. Зазвонил телефон. Это оказалась Ирина, моя дочь.

— Привет. Ты не спал?

— Нет.

— Ты должен знать: у меня будет ребенок. Ты рад?

— Да. Очень.

— А кого ты хочешь — внука или внучку?

— Внука. А от меня что-нибудь зависит?

— Как знать, — промурлыкала она, — тебе все удастся. Как, кстати, Оля? Клянйся ей. Своего не хотите завести?

— Лучше уж вы к нам.

— Хорошо, хорошо. Ну пока.

Я повесил трубку и подумал почему-то, что такие судьбоносные разговоры можно доверять автоответчику. Человек хорош для пустого непредсказуемого трепа. Пришла Ольга, зевнула, зазвенела чашками. Завязался день.

Время движется на меня фронтом и занимает без боя. Моя память сыплется, как жесткий диск. Я все реже бегу за троллейбусом.

Я до конца исполню свой долг, в том числе *долг счастья*, самый глубокий из предписанных человеку. Я постараюсь просидеть с внуком столько времени, сколько понадобится, и отвести его во все секции и кружки. Я люблю Ольгу (и Ирину, и мать), но иногда не могу отогнать дурацкую мысль: *неужели нельзя было вообще обойтись без меня?*

Друзья говорят, что это простая усталость, и советуют отдохнуть на юге пару недель.



# Родословное древо

РАССКАЗЫ\*

## РАДИ БЛАГА ОТЕЧЕСТВА

**А** как Варя вернулась из роддома с дочкой, Славик сказал: — Ты не волнуйся. Теперь у нас много денег будет...

Варя даже и не слушала его, все девочкой любовалась.

— Хватит! — продолжал Славик. — Что мы всё как нищие! Я тут клад нашел!

И рассказывает следующее. Все последние дни пропадал он в архивах и библиотеках, искал сведения о своих предках. И вдруг среди разных бумаг находит документ — докладную записку некоего офицера на имя государя императора Александра Павловича. Офицер пишет, что, будучи во Франции в 1813 году, слышал рассказ одного француза, бывшего наполеоновского гвардейца, будто в России зарыт миллионный клад.

Дело было так. Осенью 1812 года при бегстве Наполеона из России этот гвардеец по приказу императора сопровождал повозку, груженную семью дубовыми бочками. В бочках — гвардеец знал — золото. У большой дороги близ Белостока он услышал конский топот. Гвардеец решил, что это русские, надо было прятать поклажу. Место подходящее — старая мельница, плотина, глубокий ров. Гвардеец скатил бочки в ров и закопал в яме.

— Вот, я выписал, — сказал Славик. — «Место, где эти бочки зарыты, у самой плотины, между старой мельницей и монастырем. Плотина заросла тополями, а клад находится влево от монастыря у тополей». Но что самое удивительное — это подпись. Я как прочитал, даже не поверил сразу. Петров Николай Васильевич. А вдруг это мой предок?

Варя не придавала значения его словам.

— Клад так клад, — сказала она. — Очень даже хорошо. Не иначе, как это твой предок дает тебе весточку.

— Вот я и подумал, — говорит Славик. — Надо бы съездить посмотреть...

— Да где же денег на дорогу взять? — беззаботно так, со смешком даже, спрашивает Варя, сама с девочкой играет, возится.

— Из вещей что-нибудь продать, — отвечает Славик.

— Вот и хорошо, — легко соглашается Варя.

А у нее, надо сказать, полно было всяких старинных вещей. Она говорила — от родителей, по наследству. Какая-то шкатулка, обтянутая шелком, с фамильным гербом, или, к примеру, веер из пальмового дерева с резьбой, потом складное зеркальце с перламутровой инкрустацией, часы малахитовые с бронзовыми фигурками, еще что-то.

На другой день собрали они большую сумку и Славик отправился на вещевой рынок. Ему бы, конечно, в антикварный магазин надо было, а он почему-то

---

\*Продолжение публикации своеобразного романа Григория Петрова, состоящего из самостоятельных новелл, объединенных одной темой. Начало публикации см. «Октябрь», 1998, № 9.

на рынок. Вот ему и не повезло. Сначала он долго искал место, где бы пристроиться. Но все места были уже куплены, его куда-то не пускали. Наконец, приоткрылся где-то у забора, возле мусорных бачков. Только огляделся, не успел дух перевести — сумка пропала. Возле него все какие-то подозрительные типы крутились, в мусорных бачках рылись. И вот смотрит Славик — сумки нет. Он туда-сюда, нет нигде.

Неподалеку какой-то небритый сидел на ящике — китель истрепанный офицерский, фуражка. Славик его спрашивает:

— Вы не видели моей сумки?

— Нет, не видел, — отвечает небритый. Потом встает и подходит к Славiku: — Это мы сейчас найдем.

Пошли они к небольшому домику напротив. Славик смотрит — отделение милиции. А небритый заходит, как к себе домой, и прямо к дежурному за перегородкой:

— Старшина! Тут пропажа! У моего друга сумка с вещами пропала!

— Опять ты! — сердится дежурный. — А ну ступай отсюда! — И к Славiku обращается: — Что у вас пропало? Опишите подробно.

Только Славик стал рассказывать, что было в сумке, — звонок телефонный. Дежурный берет трубку, слушает, у самого лицо сразу строгое. Потом бросает трубку и убегает в дверь рядом. Через минуту выходит оттуда с другим милиционером, толстым, китель еле сходится. У себя за перегородкой берет микрофон, включает какую-то лампочку на пульте и начинает говорить:

— Внимание! Внимание! Всем продавцам и покупателям! Экстренное сообщение! Поступило известие, что в торговых рядах заложена бомба! Срочная эвакуация! Всем покинуть рынок! Будут проводиться поисковые работы!

Тут толстый милиционер увидел небритого в фуражке.

— И ты здесь? Что тебе надо?

— У друга беда! Сумка с вещами пропала!

— Теперь не до вас, сами видите, — отвечает милиционер. — После, после. Ждите здесь.

Тут прибежали еще милиционеры с собакой, и все ушли. Славик с небритым остались в отделении. Небритого звали Николаем Васильевичем.

— Ты не думай, что я оборванец какой-нибудь, — говорит Николай Васильевич. — Не смотри на мой вид. Я училище военное окончил. Офицер-артиллерист.

Наконец, уже после полудня, милиционеры возвратились.

— Ну что? — спрашивает дежурный.

— Да не было никакой бомбы, — отвечает толстый. — Зря только людей выгнали.

Ушел в свой кабинет, потом снова выходит — и к Славiku:

— А вашу сумку искать будем.

Вышли Славик с Николаем Васильевичем из отделения, народу на рынке — ни души. Вещи все как были на местах, так и остались, а людей никого, пусто. Идут они себе к выходу, где милиция дежурит, проходят мимо мусорных бачков. Славик смотрит — сумка его стоит как ни в чем не бывало, будто и не пропала вовсе. Кинулся Славик к ней, открыл — все вещи целы.

— Я же говорил, что найдется, — сказал Николай Васильевич.

Тут как раз народ стали обратно пускать. Славик и говорит:

— Уж не знаю, как вас и благодарить.

— Обмыть находку надо, — отзывается Николай Васильевич.

— Тогда, может, ко мне? У меня как раз дочь родилась.

Взяли они по дороге вина — и домой. Варя увидела полную сумку, только смеется:

— Я так и знала!

Когда сели за стол, Славик говорит Варя:

— Николай Васильевич — офицер. Училище военное окончил.

— Боевой капитан, — поддакивает Николай Васильевич. — Служил в Таджикистане, в предгорьях Памира.

— А что же вы ушли из армии? — спрашивает Варя.



— Обычное дело, — отвечает Николай Васильевич. — Приезжают вдруг кадровики, говорят — полк будет расформирован. Ну, а мы как жили в казармах, так и остались. А тут война. Таджики между собой передрались. Режут друг друга почем зря. Одно слово — башибузуки. Россия-то отделилась, про нас и забыли.

— Что творится, что творится! — охает Варя.

— Вот боевики исламские нас и накрыли. Джихад — священная война. Кого насмерть, кого в плен. Меня контузило сильно. Привезли в Ростов, в госпиталь, там я и умер. Врач потом рассказывал: пришли за мной в морг, а я, оказывается, живой.

Варя опять:

— Что творится, что творится...

— После больницы — психушка. Полгода лежал. Потом ничего, вышел. Теперь вот здесь. Ни кола, ни двора. Угла своего нет. Торгаши на рынке подкармливают как бывшего офицера. По праздникам хозяин приезжает на машине, подарки раздает таким, как я.

Тут Славик не выдержал:

— Вот погодите! Я вас всех озолочу! Дайте только клад найти!

— Какой еще клад? — спрашивает Николай Васильевич.

— Да, да, — говорит Варя, — вы не знаете. Клад Наполеона. Французы при отступлении зарыли.

Николай Васильевич сразу как-то в лице изменился.

— Как вы сказали? Французы? Наполеон?

— Ну да, — отвечает Славик. — У меня и выписка есть. У большой дороги близ Белостока. У самой плотины, между мельницей и монастырем.

Николай Васильевич налил себе рюмку, выпил, потом вдруг и говорит:

— А ведь точно! Вспомнил! Только сейчас вспомнил! Все в точности! В овраге, влево от монастыря, у тополей. У меня же план есть!

— Не может быть! — в один голос воскликнули Славик и Варя.

— Есть у меня все бумаги! В надежном месте спрятаны!

Славик и Варя недоверчиво так на него косятся:

— Что ж вы сами-то до сих пор?

— Да ведь я только сейчас и вспомнил! Записку эту и все прочее.

Налил он еще рюмку и заявляет:

— В Ростов ехать надо! Где я в госпитале лежал. Там у меня друг, однополчанин. Он меня в госпиталь привез. Он нас на машине и доставит к тому месту, где бумаги спрятаны. Это там рядом. А потом оттуда сразу к Белостоку.

Когда Варя стала кормить девочку, Славик с Николаем Васильевичем снова сходили за вином и устроились на кухне. Дорогой еще, когда из магазина шли, Николай Васильевич сказал:

— Я тебе открою, так и быть. Чтобы ты не сомневался.

Потом уже, на кухне, он рассказывал:

— Я когда из психушки вышел, все вроде бы хорошо. Вроде бы я здоровый, вылечился. Только стал я чувствовать странную вещь. Будто живу я не первый раз.

— Как это — не первый раз?

— Будто я уже жил однажды. В прошлом веке. А сейчас — это моя вторая жизнь.

Славик даже засмеялся:

— Это что — двойник, что ли? Переселение душ? Мистика всякая?

— Ну уж не знаю, что там, только помню, что был я офицером. Сначала-то все как в тумане, смутно. Будто бы отец мой — екатерининский вельможа. Какой-то придворный библиотекарь.

Славик даже рот разинул.

— Не может быть! — ахает он. — Библиотекарь? Неужто Петров Василий Петрович?

— А кто его знает? Помню только, что стихотворец.

— Так это же мой предок!

— Вот сейчас стали вы говорить о кладе, я все и вспомнил. Теперь уже ясно все вижу. В Париже это, в тысяча восемьсот тринадцатом году, в марте меся-

це. Оказался я за столом с двумя французами. Даже имена помню — Альбер и Беллегрин. Беллегрин все о потерях французской армии в России переживал. Тут Альбер ему и рассказал про клад. Он тут же и план при мне набросал. Дорога, плотина, монастырь. Потом уже я записку императору Александру Павловичу составил. А как государь в Таганроге скончался, записка пропала куда-то.

— Да как же вы раньше-то? Все молчали?

— Да раньше-то я ничего не знал о своей первой жизни. Только недавно и узнал. Как из больницы вышел.

До рассвета сидели они на кухне, разговаривали. Утром Славик говорит Варе:

— Мы едем с Николаем Васильевичем...

Николай Васильевич в тот же день продал кому-то все старинные Варини вещи, купил билеты на поезд, и через два дня они выехали. В поезде Славик все уводил Николая Васильевича в тамбур, чтобы людей вокруг не было, и расспрашивал про его прошлую жизнь. Тот мало-помалу вспоминал.

— Воспитывался в Кадетском корпусе, выпущен в артиллерию. Мне тогда двадцать лет было.

— Вы что же, и против Наполеона воевали?

— А как же? Европа, Париж. Не помню где, то ли под Варшавой, то ли еще где, сражение было. У меня вся шинель пробита картечью. Подъезжает ко мне генерал Милорадович Михаил Андреевич. «Сколько у тебя ран?» — спрашивает. «Девять», — отвечаю. Он тут же на месте отсчитывает мне девять червонцев.

— Какое время было! — вспоминал в другой раз Николай Васильевич. — Вступаем в Париж! Я весь израненный, на голове повязка, рука на перевязи. Француженки из окон цветы под ноги бросают. Мимо государя проходим, я левой рукой салютую. Александр Павлович отметил меня, пожаловал золотым оружием за храбрость.

— Ну, а после войны что?

— После француза при штабе армии. Южная Россия. Местечко Успенка, под Ростовом. Квартировались у помещика Телешова, отставного майора. У него две дочери — Ольга Михайловна и Наталья Михайловна. Генерал Милорадович за Ольгой ухаживал. Как-то утром вхожу в комнату, Ольга сидит за фортепьяно, а генерал в полном мундире и звездах танцует перед ней мазурку. «Не так, не так!» — хохочет Ольга. Только истинной красавицей была младшая, Наталья. Прихожу я к отцу. Так, мол, и так. Прошу руки вашей дочери. А он мне — помилуйте, она еще дитя. Я тогда вынимаю из кармана пистолет. Отец сразу всполошился. «Что это значит?» «Это значит, — говорю, — что я не выйду отсюда живым». И пистолет к виску прикладываю. Он кинулся ко мне. «Женитесь! — кричит. — Господь с вами, женитесь!» Как мы были счастливы, кто бы знал...

Не доезжая Ростова, поезд остановился на какой-то станции. Николай Васильевич глянул в окно и говорит:

— Вылезем здесь...

— Зачем же здесь? — удивляется Славик. — Ведь мы в Ростов едем.

— Родные мои в этом городке. Отец, мать, сестра Люба. На шахте работают.

Проводник тоже удивился, когда они вылезали:

— Деньги теперь у людей шальные. Не жалеют.

Вот идут они по улицам, Славик удивляется — городок будто вымер. В центре несколько особняков за оградой, асфальт, деревья, а дальше — трущобы какие-то. Дом Николая Васильевича на самой окраине. Комната пустая — стол, стулья, кровать с шпешечками, больше ничего. На столе чайник, пустая сахарница. Старушка какая-то у окна. Увидела вошедших, руками всплеснула:

— А мне и принять вас нечем!

Тут девушка из соседней комнаты выходит, сестра Люба:

— Дома и правда ничего нет. Черный хлеб да вода из-под крана.

— Горе у нас, Коленька! — заплакала старушка и записку какую-то протягивает.

Николай Васильевич читает:

— «Из жизни ухожу по своей воле. Останки похоронить за счет города. Все, что мне причитается, отдайте семье».

Прочитал Николай Васильевич и говорит:

— Почерк отца...

Сестра кивает:

— Бросился в ствол шахты. Сорок лет на ней отработал и бросился.

— Сказал: не могу больше,— заливаясь слезами старушка.— Деньги-то в последний раз платили в прошлом году. Вот и не выдержал.

Вечером пришли в дом соседи — узнали, что Николай Васильевич приехал. Принесли кто что мог. Балахонова лук принесла, братья Панюкины — картошку, Семендяев — бутылку какой-то самодельной настойки. Худо-бедно, собрали на стол. Как выпили по рюмке, Балахонова Мальвина Марковна и говорит:

— Отца твоего, Коля, хорошо похоронили. Все начальство было. Из шахтоуправления приезжали.

— А у нас как с дедом? — перебивает ее Панюкин-старший.— Дед наш помер. Пришли в похоронную контору. Неужели, спрашиваем, человек гроба не заслужил? Всю жизнь на шахте работал. Гробовщики говорят: раз так, за работу не возьмем. Материал только оплатите, доски. А у нас ни копейки. «Шкаф дома есть? — спрашивает один.— Сломайте и принесите, сделаем гроб». Принесли, а он — не так, мол, сломали, не выйдет гроб. Плюнули мы, достали клеенки. Ночью на кладбище вырыли яму, завернули деда в клеенку и зарыли.

— Вот, вот,— вставляет Панюкин-младший.— Как самоубийцу или нехристя какого.

— А что ж начальство? — спрашивает Николай Васильевич.

— Какое там начальство? — отвечает Панюкин-старший.— Знаешь, кто у нас сейчас городской голова? Васяев Панхарий Карпович. Ты его должен хорошо знать. Он раньше на рынке с наперстком сидел. Потом торговлей занялся — белье женское продавал, кружевное. После этого маслодавилню купил. Еще дальше — хлебоприемное предприятие завел. Теперь вот глава города. Особняк в центре видел? Это его. Также квартира в Москве, дача за границей. Машина иностранная, все, как полагается.

— А рядом с его особняком дом — это директора шахтоуправления Однорылова,— вмешивается Панюкин-младший.

Тут Семендяев выступил, который настойку разливал:

— Все прогнано сверху донизу. Жулики жиреют, народ нищает. Все хозяйство на воровстве держится. Деньги в зарубежных банках, казна пуста. Потому и зарплату платить нечем.

Выпили еще по рюмке, Семендяев закончил:

— А что делать — никто не знает!

Когда гости ушли, стали на ночь укладываться. Славик и Николай Васильевич на полу легли, на каких-то мешках, не раздеваясь. Вот лежат они, Славик и говорит:

— А я знаю, что надо делать. Тайное общество нужно! Чтоб Россию переделать! Реформы нужны!

Николай Васильевич долго молчал, потом говорит:

— Такое общество уже есть...

— Какое еще общество?

— Нас там много,— говорит Николай Васильевич.— Пестель, Трубецкой, Рылеев, другие еще.

— Вот вы о чем,— отзывается Славик.— Декабристы, что ли? Это я знаю.

— Пестель так и говорит: многое в России надобно изменить. Учредить новый образ правления. Или Бестужев, к примеру. У нас, говорит, кто смеет, тот грабит, кто не смеет, тот крадет. Муравьев тоже, Сергей Иванович. Тот против начальников. В России, говорит, одно зло. Самовластие высших и самоуправство низших. Лицом — вылитый Наполеон. Он еще в Париже учился, в Политехнической школе, Наполеон и увидел его. «Кто скажет, что это не мой сын?» А Орлов Михаил Федорович, генерал? Это его слова: в России нет закона, нет прав. Обман и продажность! Безурядица сверху и снизу!

— Ну точно как сейчас,— вставляет Славик.

— Но что самое интересное,— продолжал Николай Васильевич,— все офицеры пишут стихи. Рылеев, Бестужев. И я писал. Даром, что отец — стихотвор-

рец. «Внемли, Творец, смирению души,/ Пошли друзьям моим спасенье,/ А мне даруй грехов прощенье /И дух от тела разреши».

А как Николай Васильевич стал читать стихи, Славик не выдержал, уснул после настойки. И снился ему странный сон. Будто человек с черной повязкой на лбу целится в него из пистолета. Весь он какой-то страшный на вид — глаза навывкате, налиты кровью, подбородок вперед торчит. И тут Славик понимает, что это дуэль, а у него в руках никакого оружия. Тогда он хватает откуда-то топор и кидается на противника, но тот исчезает. Вослед ему Славик начинает говорить что-то по-французски, хотя никогда не знал этого языка.

На другое утро, чуть свет, стали собираться в дорогу. Вот-вот должен быть поезд, а еще билеты надо переоформить. Мать и сестра не удерживали Николая Васильевича, только плакали. Соседи собрались провожать.

— Мне и дать вам в дорогу нечего,— всхлипывает старушка.

Семендяев тут протягивает бутылку с остатками настойки.

— Тебе здесь оставаться нельзя — пропадешь,— говорит он.

Когда сели в поезд, Славик сказал:

— Вот найдем клад, твоих озолотим. Там на всех хватит. Только бы найти.

— Найдем,— уверенно обещает Николай Васильевич.— У меня точный план.

— А все-таки где он? — спрашивает Славик.— Где этот план?

— Я теперь все в точности вспомнил. Как пошли аресты, как взяли Пестеля, я забеспокоился. Сложил все свои бумаги в ящик, заколотил и зарыл на кладбище. В том самом местечке под Ростовом. Там и план был.

— А какой он, Пестель? — спрашивает Славик.

— Обыкновенный. Низенький такой, чернявый. На цыгана похож. Говорит: мы очистительная жертва будущего преобразования России. Если, говорит, общество откроется, я не дам никому спастись. Всех назову. Чем больше жертв, тем больше пользы. Я его все убеждал: не надо бы бунта, рано еще. Не дай Бог народ поднимется. Погибнет Россия!

— Вы что же, и на Сенатской площади были четырнадцатого декабря? — спрашивает Славик.

— Ну, возле Медного всадника не стоял, врать не буду. А стороной видел. Я тогда в Петербург по делам приехал. Иду по улице, вижу — народ собирается. Спрашиваю у дворника: что за сбор? Он говорит: на Сенатской военные Константин Павловичу присягают. Тут мальчик из мелочной лавки. «Новый государь! — кричит.— Новый государь! Николай Павлович!» Я еще тогда подумал: как Николай Павлович? По закону должен быть Константин Павлович, старший брат. А тут кто-то в толпе говорит: Николай Павлович престол похитить хочет. А Константин Павлович, стало быть, под стражей.

Николай Васильевич как-то сразу загрустил, потом говорит:

— Не могу все это без тоски вспоминать. Надо бы выпить.

Вышли они в тамбур, допили остатки семендяевской настойки. Николай Васильевич продолжал:

— Ну, иду я за народом. Возле Зимнего царя видел. Уговаривает народ разойтись. А вокруг памятника солдаты, в одних мундирах. Мороз хоть и небольшой, но без шинелей зябко. Солдаты, чтобы согреться, кричат: «Ура! Да здравствует конституция!» Один в толпе спрашивает: «Кто это — конституция?» А другой отвечает: «Да супруга Константина Павловича». Народу много собралось. Смеются, шапки вверх кидают, снежками бросаются. Один снежок угодил в генерала Милорадовича. Тот конем на мастерового наехал: «Что ты делаешь?» А мастеровой упал и смеется: «А мы и сами не знаем, ваше благородие. Шутим, играем». А через некоторое время кто-то мимо проходил, говорит: генерала Милорадовича смертельно ранили. Митрополита видел, отца Серафима. Он было сунулся с крестом к солдатам, а они его в шею. «Какой ты митрополит,— кричат,— когда на двух неделях двум императорам присягал?» Гляжу — несется на простом извозчике, перепугался. Тут конный полк. А лошадей, видно, на шипы не перековали. Гололед, лошади падают. Потом выстрел пушечный. Сначала-то стреляли поперех. Весь заряд в здание Сената угодил. А там на крыше люди, все попадали. Один взобрался на статую Справедливости. Так его оттуда сшибло прямо к ногам этой самой Справедливости. Ну а как стрелять на-

чали, народ повалил с площади, давка. Многих тогда передавило. Ночью трупы под лед спускали, в проруби. Говорят, даже раненых. Рассказывали, полиция, когда убирала мертвых, грабила нещадно — вещи, одежду. А на другой день аресты.

— И вы были арестованы? — спрашивает Славик.

— А то как же? Моя фамилия тоже в доносе была.

— Как в доносе? Неужто донос был?

— Еще до всех этих событий на Сенатской. Капитан Майборода из Вятского пехотного. Его в Москву послали купить офицерские вещи. А он деньги полковые промотал, вот и написал донос. Я Пестеля предупредил. Говорю: все эти тайные общества — глупость. Ничего из них не выйдет. Потому что, говорю, если нас двенадцать, то двенадцатый непременно будет предателем. Так оно и вышло.

— И тут измена, — вздыхает Славик.

— Ну меня сначала на дворцовую гауптвахту, потом в Петропавловку. Казематы отвратительные — крысы, сырость. Окошко вымазано мелом. Но жить можно. Под конец даже рюмку водки к обеду давали. Комендант Стукин вежливый такой, предупредительный. Нога у него одна деревянная. Каждый день во дворец на допрос. Плац-майор Подушкин входит: «Есть у вас чистый носовой платок?» «На что вам?» — спрашиваю. «Чтобы по форме, глаза завязать», — отвечает. Во дворце спрашивает: «Позвольте вас обыскать?» Отдал ему табакерку, медальон жены, деньги. Рожа у него какая-то кривая, нос провалившийся.

И вот то ли от выпитой настойки, то ли еще от чего, только перед глазами Славика все рисовались какие-то картины: то комендант с деревянной ногой, то майор с провалившимся носом.

— К нам все время священник ходил, казанский протоиерей Мысловский Петр Николаевич. Говорил: ошиблись вы, господа. Всякий насильственный переворот — гибель стране. Вон и Пугачев затевал много. Но чем все кончилось? Злодея четверговали.

Здесь Славик ясно увидел какого-то щербатого мужика с черной бороденкой, который сидел в клетке на цепи. И чей-то голос: «Это и есть Пугачев».

— Два раза в неделю разрешали нам в садик выходить со сторожем-инвалидом. Заметил я там насыпь земляную с деревянным крестом. Крест сгнил совсем. Спрашиваю у сторожа: что за могила? Говорит: давно еще какую-то княжну сюда привезли из-за моря. А потом в городе наводнение, равелин затопило. Всех вывели, а ее забыли. Как он мне сказал, я понял — княжна Тараканова. Ну мы со сторожем новый крест поставили.

И опять перед глазами Славика картина: женщина в каземате. На столе кружка и ломоть хлеба, в окно вода хлещет. Женщина на кровать забралась, а у ног ее мыши, мыши.

— Это все легенда, — сказал он. — Настоящая княжна в Москве умерла, в монастыре. А та, что в каземате, та — авантюристка.

Николай Васильевич будто и не слышал его.

— Положение мое дурацкое. Жена беременна, а я здесь, в каземате. Потом, правда, государь разрешил нам свидание. Наташа сказала тогда: какая бы участь тебя ни ожидала, судьба моя будет одинакова с твоей. Как раз Пасха была. Купечество прислало нам куличи, чай, сахар. Пушки палят, колокола, все христосуются. Мы с Наташей тоже обнялись. Она потом родила, это уж как нас всех осудили.

— Так у вас и дети были? В первой жизни?

— Сын, — отвечает Николай Васильевич. — Что с ним стало — не знаю.

Он помолчал, потом продолжал:

— Вывели нас всех. Над головой шпаги ломали. Их бы по правилу прежде подпилить надо было. А некоторым не подпилили. Трубецкому князю, Сергею Петровичу, к примеру. Так ему всю голову поранили, когда ломали. Мундиры срывали — и в огонь. Халаты какие-то лазаретные выдали. Кому маленький, кому большой. Вид у всех уморительный. А на валу помост деревянный — виселица. Плотники всю ночь трудились. Только у нас же ничего толком сделать не могут. Эшафот отправили на шести возах, а прибыло только пять. Главного нет — где перекладина с кольцами. Куда делся воз — неизвестно. Стали делать но-

вый брус. Казнь вместо двух часов ночи — в пять утра. Скамеек тоже не приготовили. Взяли из какого-то училища, которое неподалеку, школьные скамейки. Все кое-как. Веревки не рассчитали, ноги до пола достают. И все время, пока казнь, музыка. Оркестр Павловского полка.

— Ну а дальше известно,— вставляет Славик.— Трое и вовсе сорвались. Это мы знаем...

— Их бы по закону простить надо,— продолжал Николай Васильевич.— Так нет же, снова повесили. Пестель говорил: надо было не пять, а пятьсот повесить. Жертва искупительная за грех общий. Приняли вместе со смертью венцы мученические. Рылеев, тот кричал: «Простите, братцы! Простите, Христа ради! Умираю во Христе!» Сразу после казни государь Николай Павлович в Москву укатил, на коронацию. Все думали: будет помилование. Государь точно некоторых простил: Лопухина, Орлова Михаила Федоровича, братьев Перовских, сыновей Раевского. Мне государь сказал: «Тебя, Петров, охотно спасу. Можешь так и написать жене».

За разговорами не заметили, как доехали до Ростова. Разыскали друга Николая Васильевича — Пирогова. Тот обрадовался однополчанину, с женой познакомил, с Феней Власьевной. Собрали на стол, усадили угощать. За столом только и разговоров, что о войне.

— Лейтенанта Демьянова помнишь? — спрашивал Пирогов.— Нет его больше. Боевики весь расчет его вырезали. Демьянову голову отрезали.

— Видел я одного такого головореза,— отвечает Николай Васильевич.— Выходит на дорогу, в руках — голова отрезанная, за волосы держит. «Ты что же,— спрашиваю,— своего убил?» «Шакала я убил,— отвечает.— Застрелит старуху и ножом у нее во рту ковыряется, коронки золотые снимает». И точно: в карманах убитого — золотые кольца, серьги.

— А прапорщик Опилко? — подхватывает Пирогов.— В тюрьме оказался. Выдал заступающему в наряд патроны. Он же старшина роты. Только тот возьми и продай патроны боевикам, сам сбежал. Прапорщика под суд. А у него орден Красной Звезды. Лично президент Таджикистана вручал.

— Грабили в кишлаках почему зря,— продолжает свое Николай Васильевич.— Поголовно все мародеры. У одного в мешке смотрю — чайник, блюдо какое-то, запчасти для автомобиля. «Зачем тебе это?» — спрашиваю. «Сейчас рынок,— отвечает.— Все торгуют. И я не пустой в город еду. Воевал ведь. За что-то надо, да?»

Сидят они так за столом, разговаривают, а по комнате старушка какая-то ходит, еду подает, тарелки убирает. Фартук на ней засаленный, на голове тряпка.

— Домработница, что ли? — спрашивает Николай Васильевич.— Неужто взяли? Разбогатели, значит...

— Да нет,— отвечает Феня Власьевна.— Это баба Шура. Нищая совсем. Родные у нее какие-то есть, так они ее из дома гонят, ругают, били даже как-то. Она у нас и живет. Всю работу по дому делает. И денег не просит.

— Раньше с утра до вечера на ногах,— поддакивает Пирогов.— Все хлопочет. Последние дни вот только что-то сдала. Вижу — встать ей трудно. А она ничего, преодолагает себя, ходит.

— Добрая только чересчур,— говорит Феня Власьевна.— Что ни дашь — все раздаст. Подарила ей полушубок на зиму. Через день смотрю — нету. Говорит: племяннику отдала. Он молодой, бедный, ему нужнее. Я говорю: тебя же гонят, а ты им последнее...

— Грязная еще она,— вмешивается Пирогов.— Я ей говорю: мне из твоих рук и есть-то противно. Ну фартук она какой-то надела, а тряпка на голове постарому...

Славик потом с бабой Шурой часто сидел, разговаривал. Ему все казалось, что она чем-то походит на его покойную маму. А когда он узнал, что она тоже, как и мама, воронежская, то уже не отходил от нее.

— Я тут на отпевании была,— рассказывает баба Шура.— Зашла в церковь, здесь, возле кладбища, а там старушку отпевают. Смотрю — старушка знакомая, знаю я ее. Как во двор выйдешь, она всегда там, в мусорных бачках роется. Уж такая благостная старушка. Спрашиваю у батюшки, у отца Алексан-

дра: «Почему других покойников боюсь, а ее не боюсь?» А он мне: «Около праведных нет страха. Тут святые ангелы возле тела».

Славик с Николаем Васильевичем жили у Пирогова уже несколько дней. Славик все торопил Николая Васильевича:

— Ну, когда же поедет?

— Скоро уже, скоро, — говорил Николай Васильевич.

Они с Пироговым как соберутся, все о своей войне.

— А в России-то я как намучился, — рассказывал Пирогов. — Меня, русского офицера, за русского не признают. Поехал в Москву за гражданством. А мне говорят: для тебя особая графа — нерусский. Так я же, говорю, в России родился, я по конституции русский гражданин. А они мне: по закону требуется особая вклейка в паспорт. Ну намаялся я.

Славику было скучно их слушать, он уходил гулять по городу. Однажды возвращается вечером, а Николая Васильевича нет. Пирогов объясняет:

— Я его уговорил психиатру показаться. Он мне тут такое наплел. Про клад какой-то, про декабристов. Я ему сказал: дам машину, отвезу куда хочешь, если только врачу покажешься.

Узнал Славик, в какой он больнице, и на другой день был у Николая Васильевича. Долго искал отделение, в каком тот лежал. Там двери на всех этажах на ключ закрываются, пока достучишься. В коридоре народу полно. Кто ходит, кто на корточках у стены сидит.

— Вы не видели Николая Васильевича? — спрашивал Славик то у одного, то у другого.

Какой-то длинноволосый в халате остановил Славику и спрашивает:

— Вы читали Новый Завет? Первое послание Коринфянам? Помните? Если кто из вас думает быть мудрым, тот будь безумным. Ибо мудрость мира сего есть безумие.

Тут дежурная сестра дергает Славику:

— Вон ваш Николай Васильевич.

Смотрит Славик — и впрямь Николай Васильевич. В халате, как и все, идет к нему.

— Декабристов вот в Сибирь, а меня сюда, — говорит Николай Васильевич.

— Здесь у нас врач очень хороший, — сообщает сестра. — Ашот Гургенович. Бывший скульптор. У него свой метод — скульптурная психотерапия. Только что вернулся из Швейцарии. Лекции читал о своем методе. Вы поговорите с ним.

— Я тебя познакомлю, — говорит Николай Васильевич.

Он повел Славику в конец коридора, в какую-то просторную комнату. Славик как вошел, даже растерялся, не понял сразу, куда попал. Будто мастерская. Повсюду куски глины, какие-то головы без глаз и ушей.

— Это все пациенты, — объясняет Николай Васильевич. — Это вот Ковыруин Богдан. Это Воробец. А это Ивантьев Ипатий Карпович.

Когда появился Ашот Гургенович, Николай Васильевич представил Славику и ушел. Ашот Гургенович указал на какую-то глиняную голову, один нос торчит, и сказал:

— Это вот Николай Васильевич... — Потом продолжал, будто лекцию читает: — В основе психических расстройств лежит отчуждение человека. Болезнь связана с нарушением восприятия собственного образа. Такой человек видит себя в искаженном свете. Надо, чтобы он увидел свое истинное лицо. Вот я и леплю их портреты. И человек выздоравливает. Понимаете, здесь проблема двойственности существования, наличия двойника. Одиночество, одинокая душа. Вот и является двойник.

Славик был в больнице и на другой день, и на третий. Николай Васильевич уводил его в дальний конец коридора, чтобы никто не мешал. Речи его сделались какими-то странными, будто из книги какой.

— Я тут все думаю про свою первую жизнь, — говорил он. — Сдается мне, что Господь тогда открыл перед нами бездну. Ужасно представить, что бы те офицеры могли тогда сделать. Удайся хоть часть их замыслов, пропала бы Россия. Но Бог защитил нас. Россия была спасена.

Всякий раз Славик заходил и к Ашоту Гургеновичу. Портрет Николая Васильевича подходил к концу.

— Вот видите, — говорил Ашот Гургенович. — Здесь потеря своего «я». Скульптурный образ — это как бы зеркало для больного. Человек начинает новую жизнь. Вроде как рождается заново.

— Где же вы храните ваши работы? — спрашивает Славик.

— Дома. Где же еще? Здесь у меня мастерская, а работы все дома.

Как-то после очередного свидания идет Славик по коридору. Смотрит, дверь в одну из комнат приоткрыта. Он, может быть, прошел бы мимо, но надо было ждать дежурную сестру. Она отлучилась куда-то, а дверь на лестницу закрыта. Заглянул Славик в комнату да так и обомлел: маскарад не маскарад, представление какое-то. Посреди комнаты человек с усами, в мундире, в ботфортах. По углам и стенам множество народу, тоже все в мундирах.

«Что здесь происходит? — думает Славик. — Вот уж точно — психушка. Тут и самому недолго свихнуться».

Вот к усатому подходит какой-то долговязый, тощий, нос, как слива, висит.

— Ваше величество, государь! Я сам явился, по своей воле!

«Батюшки, — так и ахнул Славик, — этого еще не хватало! Никак император!»

А носатый снимает с себя саблю и протягивает императору:

— Преступник приносит вашему величеству повинную голову.

— Вы знаете, что я могу вас сейчас расстрелять? — кричит император.

— Расстреляйте, государь! Вы имеете право!

Император сразу смягчился, взял носатого под руку.

— Вы с вашим именем и вашей фамилией пошли вместе со всякой дрянью!

Ах, князь! Вы наделали много зла России. Вы ее отбросили на пятьдесят лет назад.

Тут к императору другого подводят — в мундире, при орденах, руки за спиной связаны. Император строго на него глянул:

— Мне достаточно сказать слово, и вас не будет. Все в моих руках. Могут простить вас, если уверюсь, что буду иметь верного слугу.

— Государь! — отвечает связанный. — Я не замешан в покушении на вашу жизнь! Я всегда был против! Это все Якубович. Личная месть за ссылку на Кавказ. Еще он предлагал разбить кабаки и позволить грабеж. А мы хотели другого. Временное революционное правительство. Выборы в Учредительное собрание. Собрание определит форму правления в России.

Еще один, нескладный, дерганый, словно клоун, бросается на колени:

— Жизнь, государь!

Император глянул на него через плечо:

— Даю тебе жизнь, чтобы она служила тебе стыдом и наказанием!

Какой-то седой генерал подводит к императору молоденького офицера, совсем мальчишку:

— Сын мой, государь! Тоже — член общества!

Император поглядел на офицера:

— Что побудило тебя вступить в общество?

— Язвы Отечества! Всеобщий обман!

Один из адъютантов императора, похожий на старуху, говорит офицеру:

— Сознайтесь, поручик, вы все это из книг взяли. А я во всю жизнь ничего не читал, кроме как святцы. Зато ношу три звезды.

Стоящий на коленях перебивает его:

— Я никогда не был якобинцем, государь! Я мог ошибаться на пути добра, но зла на уме никогда не имел. Мы все отдали бы жизнь за вас! Желал только блага Отечества! Императорская фамилия священна.

Офицер рядом в армейском сюртуке с красным воротником и эполетами кивает головой:

— Вчера, государь, два часа с лишком стоял в двадцати шагах от вашего величества с заряженным пистолетом. Но каждый раз сердце отказывало мне.

Тут еще кто-то подбежал, волосы завитые, зубы вперед торчат:

— Государь! Я протестую! У меня здесь шубу украли! Вот поглядите! Спасибо, саперный полковник на вахте отдал свою шинель!

А государь на него не смотрит. Увидел какого-то пожилого с проседью, аннинский крест с бриллиантами на шее.



— Как? И ты здесь? — удивляется. — По этому же делу, с этими господами?

— Нет, ваше величество! Я под следствием за растрату строительного леса и корабельных материалов.

— Ну так слава Богу!

Тут какие-то офицеры окружили императора и закрыли его от Славика. Только теперь Славик чувствует: за плечо его кто-то трогает. Обернулся — дежурная сестра.

— Я открыла дверь... Можете идти...

Славик уже и не помнил, как вышел из больницы, долго ходил по улицам. А как домой пришел, Феня Власьева и говорит:

— А у нас баба Шура умерла. Сегодня в обед. С утра лежала, встать не могла. Вхожу к ней, она ноги на пол опускает, будто встать хочет. А сама набок клонится, голову запрокинула. Я подошла поддержать ее, она потянулась и тут же умерла, как уснула. Такая блаженная кончина. Жила бессловесно и умерла так же...

Славик подумал и сказал:

— Я теперь знаю: уезжать мне пора... И деньги все кончились...

Через день бабу Шуру хоронили. На кладбище ни одного человека. Только батюшка из соседней церкви, отец Александр.

— Божья старушка, — говорил он. — Я ее хорошо знал. Хоть она в церковь, может, всего раз в год и ходила. Разве что поговеть или на Пасху. Она и Богу-то не смела молиться или просить о чем-то. Молчит только да ждет милости, какая ей выйдет. Не возмущалась никогда.

На другой день Славик выпросил у Фени Власьевны простыню, бельевую веревку и отправился в больницу. Николай Васильевич лежал на кровати, какой-то странный, на себя не похожий.

— Баба Шура умерла, — сказал ему Славик.

А Николай Васильевич неожиданно говорит:

— Упокой, Господи, рабу Твою Александру...

— А я домой возвращаюсь, — говорит Славик. — Потом снова приеду. В другой раз. Я уже и билет взял. Надо вот только с Ашотом Гургеновичем проститься.

— Ашота Гургеновича сегодня нет, — отвечает Николай Васильевич. — Простудился он, дома лежит. — Потом кричит вдогонку Славiku: — Он говорит, что портрет мой закончен! И что я уже здоров!

Славик вышел из палаты и пошел было к выходу, но дежурной сестры опять на месте не было. Вместо нее у дверей сидел знакомый уже Славiku длинноволосый.

— А как сказал апостол Павел? — обращается он к Славiku. — Второе послание к Коринфянам, помните? Вы, говорит, безумные, ибо терпите, когда вас объедают, обирают, когда власть превозносится.

Славик не стал его дальше слушать, повернулся и пошел прямо в кабинет Ашота Гургеновича. Дверь там всегда открыта, он знал. Портрет Николая Васильевича стоял в углу, возле окна. Славик накинул на него простыню, обвязал веревкой и пошел обратно. Дежурная сестра была уже на месте.

— Ашот Гургенович просил этот портрет домой к нему отвезти, — сказал ей Славик.

В тот же день Славик выехал домой. С собой он вез портрет Николая Васильевича. Дома поставил его на тумбочку и всем, кто приходил, говорил:

— Это мой предок... Член Тайного общества... Декабрист, ради блага отечества...

## ОБМАННОЕ СОЛНЦЕ

Вообще-то говоря, Славик всю зиму чувствовал себя плохо. Аппетита нет, слабость, похудел так, что одни кости остались. А весной так его и вовсе скрутило. Врач, который анализы смотрел, сказал:

— Атрофия печеночных клеток. Разрастание соединительных тканей, рубцы. Пил, верно, раньше много. Печень-то вон как увеличена. Хронический гепатит...

Когда Славика увозили в больницу, он сказал Варя:

— Тебе бы с Пашенькой куда-нибудь на лето надо. Что в городе одной? На дачу бы хорошо... Были бы деньги...

А тут, будто подстроил кто, знакомство появилось, на благотворительной распродаже. Варя пришла коляску прогулочную купить для Пашеньки, а там женщина какая-то красивая распоряжается. Слово за слово, нашлись общие знакомые, и вообще они даже вроде как родственницы оказались. Отцы их, как выяснилось, — сводные братья, в одном доме воспитывались. Звали эту родственницу Эвелиной. Она и говорит Варя:

— Мы тут с мужем дом купили. По Курской дороге. Недалеко от Подольска. Езжай туда и живи.

Муж Эвелины — коммерческий директор торговой фирмы. Варя сначала, конечно, отказывалась — как она Славика бросит, а Эвелина уговаривает:

— Дом-то хороший — старинный. Особняк прошлого, что ли, века. Ремонт сейчас делаем. Там теперь никого, одна прислуга, муж с женой. Будешь им помогать, мы с тебя и денег не возьмем.

Варя все равно ни в какую. А как Славика перевели в Петербург, в клинику к какому-то профессору, специалисту по гепатиту, она решила. Тут же собралась и на другой день вместе с Пашенькой была уже в поезде. Дом и правда оказался как дворец. Из белого камня, в два этажа. Внизу окна поменьше, а наверху громадные, с колоннами по бокам. Внутри комнаты без счета, коридоры, переходы, лестницы — запутаешься. Матильда Савишна, которая следила за домом вместе с мужем, сказала:

— Здесь раньше дворяне жили. Наверху хозяин, директор завода, внизу его брат с женой. Это еще до революции. Потом здесь музей краеведческий сделали. Я директором была. Теперь вот новые хозяева. А мы с мужем сторожим.

— Если бы только сторожить, — отзывается ее муж Проконий Захарович. — Я и за сторожа, и за садовника. На все руки. Баньку растопить, если хозяйева приедут. Весь ремонт на мне, вся бухгалтерия. С подрядчиком договориться, за материалами проследить. Управляющий, одним словом. Забот хватает.

В тот же день Варя отправила Славике письмо. Писала, что устроилась хорошо. У них с Пашенькой маленькая комнатка внизу, рядом с кухней. Дом ей очень нравится, прислуга тоже очень милая. В конце письма хотела было подписаться: «Твоя Варенька». Потом засмеялась и написала: «Твоя Авдотья подмосковная». Она потом еще долго смеялась и все повторяла: «Авдотья! Твоя Авдотья!»

Вечером уложила она Пашеньку, сама прилегла, не раздеваясь, не заметила, как уснула. Снился ей Славик. Будто стоит он с бородой и одет в рясу, как священник. Потом Варя догадывается, что это не Славик стучит по иконе, а стучат в дверь. Проснулась она, не может понять — на самом деле стучали или это во сне? Полежала немного — тишина. На всякий случай все-таки поднялась, отворила дверь. В коридоре горела тусклая лампочка, и Варя увидела перед собой старуху — лохматую, в каких-то обносках.

— Я Авдотья, — говорит старуха.

Варя так и ахнула.

— Не может быть! Какая еще Авдотья?

— Жена хозяйского брата. Хозяин-то, директор завода, наверху, а мы с мужем, его братом, здесь, внизу.

Варя ничего понять не может.

— Что вам нужно, бабушка? Что вы здесь делаете?

— От полиции скрываюсь. Меня же осудили, десять лет каторги. За участие в покушении на императора Александра Николаевича. Ссылка в Сибирь. А я по дороге сбежала. Теперь вот здесь прячусь. У меня и чемодан с бомбами с собой.

— Господи, этого еще не хватало! — пугается Варя. — Вы что же, бомбы в царя кидали, бабушка?

— Да нет, метальщиков двое было — Рысаков и Гриневицкий. Я в тот день в кофейной сидела на Владимирской улице, ждала. Потом Соня прибегает, Перовская. Оттуда с Екатерининского канала. Говорит: все кончено! Царь убит!

Бомбу сперва Николай бросил, Рысаков. Карета вдребезги, а император цел. Мальчик какой-то смертельно ранен, голову ему разнесло. Император подошел к мальчику, наклонился перекрестить его, а тут сзади Котик вторую бомбу кинул, Гриневицкий. У обоих ноги оторвало. Император так и лежал между ним и мальчиком. Был там еще третий метальщик — Емельянов Иван. Высокий такой, длинный, а головка маленькая. Тот кинулся к царю помощь оказать, а у самого бомба под мышкой в портфеле. Соня говорит: картина тяжелая — вся мостовая изрыта, снег, кровь. Люди разбросаны, человек двадцать. Кто стонет, кто ползет. Клочки одежды, куски мяса. Рассказывает Соня, а за соседним столиком ее слушают, кто-то и говорит: «Жаль-то как. Теперь, наверное, театры закроют...»

— Какие ужасы вы говорите, бабушка! — сказала Варя.

— До этого шесть покушений на царя было! Сколько казней! Двадцать или больше! И теперь начали было как-то не так. Магазин сыров на Малой Садовой открыли, там, где царь в Михайловский манеж ездит на развод. Из магазина подкоп вели с миной и динамитом. А я сразу сказала: бомбы бросать надо. На повороте от Михайловского театра на Екатерининский канал. Там карета почти шагом двигается. Так и сделали. И все удалось лучшим образом. Метальщиков, правда, схватили. Гриневицкий-то в больнице скончался. А Рысаков стал всех выдавать. Пошли аресты. Пятерых казнили, повесили. Должны были шестую повесить. Но Геся была беременной. Она потом в каземате родила. Ребенка у нее, конечно, тут же отобрали. Отец же ребенка, Саблин, еще раньше застрелился, когда их арестовывать пришли. Ну а меня в Сибирь!

Слушает Варя, только головой качает:

— Зачем же такие жертвы? Ради чего?

— Так нужно! — отвечает старуха. — Жертвы помогут покончить с существующим у нас образом правления! Обновление России! Они думали, что сломали меня, покорили! Не тут-то было! Про убийство Плеве слышали? Министра царского?

— Неужели тоже вы?

— При моем участии. И я руку приложила. Это уж через двадцать с лишним лет. Измайловский проспект. Двое метальщиков — Сазонов и Каляев, оба ряженые. Сазонов в форме железнодорожника — тужурка, фуражка. Каляев — швейцаром: шапка с золотыми галунами. У одного бомба в газету завернута, у другого — в платок. А у Плеве-то выезд какой! Почти царского! Воронье кони, кучер с медалями, на козлах ливрейный лакей, сзади охрана — двое сыщиков в пролетке. Убили его с первой бомбы, Сазонов кинул. Он так и говорил: «Я не уступлю никому! Первая бомба моя! Я слишком долго ждал! Я имею на это право!» А Каляев свою бомбу в пруду утопил.

Варя только шепчет:

— Господи, неужели это все правда?

— Это что! — не унимается старуха. — У нас и дальше планы! Готовим новые дела! В первую очередь — Трепов Дмитрий Федорович, обер-полицмейстер. Потом великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор. И еще много жертв будет! Революция — это прежде всего террор! Революционер без бомбы — не революционер!

Старуха сунула в руку Варе какой-то листок бумаги и скрылась. Утром, когда Варя проснулась, она решила, что все это ей привиделось во сне. Наваждение какое-то, туман. Ничего такого на самом деле быть не может. И тут она увидела на столе листок бумаги. Поглядела — какое-то «Воззвание к народу», прокламация. Стала она читать, понять сразу ничего не может. «Так долее жить нельзя... Россия должна возродиться... Бесправие и произвол... Вместо труда — легкая нажива... Интересы народа принесены в жертву плутократии и стяжателей... Правительство заслуживает названия шайки... Все реформы ведут к обнищанию народа... Покровительством пользуются только хищники... Самые возмутительные грабежи остаются без наказания... Власть обманывает народ и приносит только зло...»

Не успела Варя прочитать, Матильда Савишна зовет ее с Пашенькой завтракать. За столом Варя спрашивает:

— А кто был хозяин этого дома?

— Известный заводчик, фабрикант, — отвечает Матильда Савишна. — Петров Федор Николаевич. Сын декабриста Петрова, члена Южного общества. Отец его — участник войны с Наполеоном, друг Пестеля.

Варя так на нее и уставилась.

— Вот тебе раз! Сын декабриста! Кто бы мог подумать? Это, верно, предок моего мужа. Мой Славик повсюду предков своих разыскивает. Надо ему написать — вот он обрадуется.

— Завод у нас здесь большой был, — продолжает Матильда Савишна. — Ткацкие станки для всей России. Его московские фабриканты построили — Морозов, Прохоров, Крестовников. Для обслуживания своих текстильных фабрик. Около тысячи человек.

— Ну точно — предок моего Славика, — сама с собой говорит Варя.

— А внизу брат его жил младший — Спиридон Николаевич Петров, с женой. Жена тоже известная в истории личность. Беляшкова Авдотья Яковлевна. Эсерка, террористка. Была осуждена по делу убийства царя первого марта тысяча восемьсот восемьдесят первого года. Это потом она стала Петрова, когда они обвенчались. Сначала-то они так жили...

Когда Матильда Савишна на минуту за чем-то вышла, Прокопий Захарович сделал страшные глаза и шепчет Варя:

— Хочу вас предупредить. Нечистое здесь место. Привидения являются. Бывшие хозяева ходят...

— Пусть себе ходят, — беззаботно сказала Варя. — Мне они не мешают. Лишь бы Пашеньку не напугали.

Только она сказала, через день новое явление. Опять поздно вечером стук в дверь. «Ну я сейчас покажу этой старухе!» — подумала Варя и открыла дверь. Только никакой старухи теперь не было, перед ней стоял старик, дряхлый совсем. Лет за семьдесят точно.

— Вы кто? — спрашивает Варя.

— Спиридон Николаевич... Брат директора завода... Мы с ним сыновья декабриста Петрова... А вообще прадед я...

— Чей прадед?

— Да как чей? Твоего мужа. Ярослава...

— Славика, что ли?

— Мне бы фотографию его поглядеть. Может, у тебя есть? Какой он из себя?

Варя растерялась, не знает, что делать. Потом все же впустила старика в комнату, достала фотографию Славика. Старик долго глядел, под конец говорит:

— Волосики-то у него какие светлые. Мягкие, наверное. Глаза вот только опухшие. Пьет, верно, горькую. Ты ему скажи, чтоб не пил. Гадость это...

Старик подошел к кровати, поглядел на спящую Пашеньку.

— А это, значит, дочка ваша? Моя праправнучка...

Оглянулся он на дверь и шепчет:

— Хочу предупредить... Супруга здесь моя хоронится. Авдотья. От полиции прячется. Бомбистка она... Убийство императора Александра, потом Плеве — все при ее участии.

— Она уже была здесь, — говорит Варя.

— Вот как! Надо бы Ярослава предупредить. Чтобы не связывался с революционерами. Все это крахом кончится. Насилие к добру не приведет. Из зла добра быть не может. Где он сейчас?

— В Петербурге, в клинике. Печень у него никуда. Лечится.

— Да разве доктора вылечат? Вот сын у меня старший там. Священник. Всех исцеляет. Такой молитвенник...

— И много у вас детей? — спрашивает Варя.

— Трое. Старший, Григорий, — священник. Средний, Иван, по стопам дяди своего, моего брата, — промышленник. А младший, Петруша, тот в мать. Революцией занимается.

— Неужели террорист? Тоже бомбы кидает?

— Нет, он пропагандист. Агитацией занимается. Еще когда здесь жил, кружок у них революционный был. Под Подольском, в больнице для душевноболь-

ных. Музыкально-литературные вечера там устраивали с живыми картинами. И все на революционные темы. Как сейчас помню — «Расправа Пугачева над комendantом Яицкого городка».

Старик еще раз поглядел фотографию Славика и ушел. «Что же выходит? — думала Варя. — Если так, стало быть, один из его сыновей — дедушка Славика. Кто же, интересно?»

Спиридон Николаевич еще несколько раз являлся Варе — узнать о здоровье Славика.

— Как он там? Поправляется? Не лучше ему?

И каждый раз, как уйти, говорил:

— Нет, решено — надо мне в Петербург ехать...

Варя успокаивала его:

— Да не переживайте вы так. Все хорошо будет.

— Ты так полагаешь? Ну дай-то Господь! Я тебе признаюсь. У меня перед ним какое-то чувство вины. За мою супругу, его прабабку. Не могу избавиться. Я-то ведь помню, как императора убили. Я в этот день как раз в Петербурге был. Сел на извозчика, а другой кричит моему: «Ванька, дьявол, будет тебе бар возить! Государя на четыре части разорвало!» На самом том месте, где бомбу бросили, — народу много. Подбирают всякие клочки, обрывки — на память. Какой-то забулдыга предлагает мне кусок офицерской шинели купить. Говорит: императора. А полицейский мне — это не царская шинель, а пристава, который за царской каретой скакал. Потом гляжу — толпа бежит. «Что там такое?» — спрашиваю. «Ничего, — говорят. — Студента били». «Какого студента?» «Кто его знает. В красной рубахе».

— Как же вы, бедный, с ней жили? — жалела его Варя. — Жена с бомбами — это ужасно...

— А что я мог поделывать? Я ей говорю: это же грех, это же против Христа! А она мне: смерть царя необходима для России, для революции! Морали «не убий» здесь не место!

Спиридон Николаевич никогда не засиживался — Варе рано вставать. С утра она отправляла Пашеньку в сад с Прокопием Захаровичем ухаживать за цветами, сама занималась уборкой, помогала Матильде Савишне. Она уже хорошо знала все комнаты в доме, все закоулки. В большой гостиной ей особенно нравился необычный шахматный столик на одной ножке. Клетки на шашечнице, зеленые и желтые, были не квадратом, как принято, а крестом.

— Изобретение хозяина, — объяснила Матильда Савишна. — Так называемые четверные шахматы. Выточили по заказу на токарном станке. Играют четыре человека, ходят по очереди, как в карты. Но это еще не все. — Матильда Савишна перевернула столик вверх ножкой. — Ножка у столика внутри полая. Вот эта пуговка точеная отворачивается. Внутри хранилась запрещенная литература.

— Он что, тоже революционер был? — испугалась Варя.

— Нет, упаси Бог! Просто литературу нелегальную читал. О положении рабочего класса. Очень о рабочих заботился. Общество для взаимной помощи создал. На Рождество всегда елку устраивал. Подарки раздавал. Сиротам — материю на платье. У него на заводе рабочим еще ничего жилось. А в других местах — просто жуть. В Подольске, например. Я изучала этот вопрос, когда директором музея была. Полное бесправие. Жили в ужасных бараках. По десять человек в одной комнате. Спали по трое в одной кровати. Рабочий день — тринадцать-четырнадцать часов. Это если со сверхурочными. Чуть что — увольняют. Мастерá вымогают взятки. А жаловаться некому. Фабричный инспектор всегда на стороне хозяина.

Вера только вздыхала и сочувственно качала головой.

Тем временем ремонт в доме подходил к концу. Теперь хлопот было особенно много — наводить порядок после рабочих. Матильда Савишна уговаривала Варю не уезжать до Нового года, пока хозяева не приедут праздновать. Да Варя и сама была не прочь остаться. Славик был все еще в больнице, а она так привыкла к визитам Спиридона Николаевича, что ждала его уже с нетерпением.

Ну а после ремонта дом не узнать. Внутри все стало по-новому. Спальни для гостей, бильярдная комната с буфетом, лечебно-оздоровительный зал для вся-

ких процедур, массажей и прочего. Во дворе гараж, баня с бассейном, спортивная площадка. Вокруг дома высоченный забор.

К Новому году Варя у себя в комнатке устроила для Пашеньки небольшую елочку, игрушки делали сами. Первыми к празднику явились в дом охранники, все с оружием. Для них была особая комната. Следом за ними прибыла прислуга — два повара, посудомойки, горничные, официант. Потом, наконец, приехали хозяева. За ними следовал грузовой фургон с вещами. Как стали разгружаться, Эвелина позвала к себе Варю:

— У меня одних шуб, наверное, десяток. Не знаю, куда их девать. Хочу тебе какую-нибудь подарить. К Новому году. Выбери! — Она распахнула перед Варей шкаф. — Это вот дубленка двусторонняя. Ее можно носить или мехом наружу, или, вывернув, на замшевую сторону. Вот эта голубая — стриженный тибетский козлик. Еще вот шуба из снежного барса.

Варя, конечно, отказывалась брать, но Эвелина и слушать ее не хотела. Накинула на нее шубу из канадского соболя чайного цвета с золотой шелковой подкладкой, подвела к зеркалу. Варя смотрит на себя и говорит:

— Видел бы Славик, вот бы удивился...

На другой день прибыли гости, целая вереница машин. Охранники у ворот пропускали строго по приглашениям. Варя только и слышала — вице-президент банка, директор туристического агентства, председатель правления строительной компании, владелец косметической фирмы. В гостиной, где поставили громадную елку, был накрыт овальный дубовый стол, оставшийся от прежних хозяев. Угощение было самое изысканное, чего только не навезли. Какие-то закуски, названий которых Варя и не знала. Она запомнила только копченые угри да гусиные шейки. Эвелина привела Варю отобрать разных сладостей для Пашеньки — бисквиты, шоколад. Идет Варя с Пашенькой по лестнице, навстречу пышная блондинка — супруга вице-президента банка.

— Какой прелестный ребенок! С Новым годом, деточка! Подожди минутку!

Она поднялась наверх и несет куклу, да такую красивую, каких Варя никогда и не видела.

— Это тебе, деточка. А в Москве приходите ко мне в гости. У меня частный музей кукол. Громадная коллекция.

Пашенька взяла куклу и сказала:

— Спасибо! Мы к вам обязательно придем...

— На прошлой неделе, — продолжала блондинка, — купила в Германии куклу у знаменитой на весь мир художницы. Просто прелесть. Руки, ноги и голова фарфоровые, туловище — матерчатое, а ресницы из натуральных человеческих волос. Цена сумасшедшая...

Вечером Варя помогала Матильде Савишне и официанту обслуживать гостей. Пока расставляла тарелки или разносила блюда, до нее долетали обрывки разговора за столом.

— Нет, как хотите, — говорил владелец косметической фирмы, — моя страсть — автомобили. У меня все марки есть, какие пожелаете. Но самая моя любимая — английская модель. Их у меня шесть штук: три здесь, три за границей. Кресла обиты бежевым велюром, отделка из красного дерева.

— Подумаешь — автомобили! — вмешивается директор туристического агентства. — Что может быть лучше лошадей? У меня в Москве конюшня на ипподроме. Переделал ее по европейскому образцу, все смотреть ходят. В денниках пятнадцать лошадей, красавцы, одна другая лучше.

Не молчал и председатель правления строительной компании.

— Расходы, расходы, — жаловался он. — Сын у меня в Швейцарии учится. Международная частная школа под Лозанной. На моем самолете туда добирается. Знаете, сколько это стоит? Дочь здесь, в Москве, в гимназии. Только и здесь траты не меньше. Охрана гимназии за мой счет. Каждый год все ученики месяц в Испании — мои деньги. Гимназия ведь с испанским уклоном. А внутри здания? Испанские кувшины в коридорах, мраморный пол на первом этаже, ковры — все я...

Варя слушала и думала: надо Спиридону Николаевичу рассказать, вот диву будет даваться. Гости отдыхали несколько дней, потом уехали. Странное дело,

но только все то время, что они гостили, Спиридон Николаевич не показывался, будто пропал. Варя даже беспокоиться стала: куда он мог деться? Вместо него вдруг однажды, тоже ночью, явился какой-то незнакомец. Варя кинулась к двери на стук, открыла — перед ней молодой человек.

— А где Спиридон Николаевич? — спрашивает Варя.

— Отец в Петербург уехал, — отвечает незнакомец. — Сразу после Нового года и укатил. Разыскивает там кого-то. Говорит: вылечить надо...

— А вы кто?

— Я его сын, Иван. Здесь на механическом заводе в правлении состою. Дядя, брат отца, председатель правления, а я один из директоров.

Варя стоит, не знает, что сказать, а Иван Спиридонович продолжает:

— Забот у меня по горло. Работает-то у нас кто? Крестьяне из соседних деревень. Они и живут при заводе, в казармах. Мы с дядей просто замучились с ними. Вечно они всем недовольны. Все условия для них. Каких нигде не сыщешь. В жилых комнатах лежаки с одеялами и матрасами за счет завода. В столовой обеды — щи, гречневая каша с салом. Хочешь, как лучше, а им все не так. Почему в помещении нельзя курить, играть в карты и в орлянку? Почему нельзя ругаться и приносить вино, принимать знакомых, драться? Им, видите ли, не по нутру то, что у нас за все эти нарушения штраф.

Иван Спиридонович разгорячился, даже рукой машет.

— Пожалуйста, потише, — просит Варя. — Дочку разбудите.

— Придумали какой-то кооператив, — продолжает Иван Спиридонович, понизив голос. — Выбрали комитет, являются ко мне. Ну я пригласил их в свой кабинет, вежливо так. Изложили они мне свой устав, слушаю я — батюшки мои, здесь же политикой пахнет. Разумеется, я тут же кооператив этот запретил. Напомнил им о коммунах первых христиан и говорю: «Не завидовать надо чужому богатству, а работать. Честным трудом, трезвостью и взаимной помощью улучшать свою жизнь...»

Иван Спиридонович что-то еще рассказывал, потом ушел. Варя легла рядом с Пашенькой и думает: «Ну вот, теперь уже и дети хозяйские являться стали. Прямо чертовщина какая-то. Ведь никто же не поверит. Надо убираться отсюда подобра-поздорову, пока не поздно. Интересно, где же все-таки Спиридон Николаевич?»

А Спиридон Николаевич и правда был в дороге. Долго он добирался до Петербурга. Поезда ходили плохо. Пока до Москвы доехал, оттуда дальше — неделя, наверное, прошла.

Спиридон Николаевич давно не был в Петербурге и теперь ходил по городу и удивлялся. На улицах нет освещения, в домах нет воды, не выходят газеты, конки остановлены. Повсюду то и дело разъезжают казаки с шашками наголо.

— Что это у вас? — спрашивает он дворника.

— Известно что, — отвечал дворник, — всеобщая стачка. Забастовка, значит.

Город походил на военный лагерь. На площадях костры, возле которых грелись солдаты. Офицеры в походном обмундировании. На каждом углу пушки в боевой готовности.

Старшего своего сына, Григория, Спиридон Николаевич нашел сразу, его в Петербурге все знали. Стоило только у дворника спросить, тот сразу сказал:

— Сегодня в церкви Артиллерийского училища литургию служить будет.

— Где это? — интересуется Спиридон Николаевич.

— А как толпу громадную увидите — значит, отец Григорий там.

Возле Артиллерийского училища и вправду громадная толпа. Долго стоял Спиридон Николаевич, не мог близко подойти. Наконец служба в церкви отошла. Смотрит Спиридон Николаевич — на папёрть сын его Григорий выходит. Толпа сразу заволновалась, напирать стали, не дают Григорию пройти. Крики какие-то истошные, вопли. О чем кричат — не разобрать. Только и слышно со всех сторон:

— Батюшка! Батюшка!

Тут двое городских, два сторожа и еще какие-то люди оттеснили толпу на две стороны, протянули толстую веревку и ухватились за нее руками. Григорий пошел по проходу, благословляя налево и направо:

— Да благословит вас Отец наш Небесный! Христос с вами! Христос с вами!

Спиридон Николаевич спрашивает у сторожа:

— Неужели всегда так?

— Если бы всегда! А то вот на Покров как есть сшибли с ног батюшку.

— Как сшибли?

— А так — уронили наземь.

— А он что?

— Известно — ангел Божий. Встал, перекрестился — и дальше. Ни словечка не промолвил.

Когда Григорий сел в коляску, Спиридону Николаевичу удалось протиснуться ближе, Григорий увидел его.

— А, здравствуй, отец, здравствуй... Садись со мной.

В коляске сидели уже две какие-то барыньки в белых шубках. Они подвинулись, и Спиридон Николаевич сел рядом. В ногах у него оказалась большая корзина, полная бумаг, ноги поставить некуда. Со всех сторон к коляске тянулись руки, и Григорий стал раздавать деньги. Он сильно располнел, губы толстые, красные. Шуба на нем дорогая поверх рясы, на груди золоченый крест.

— Меня тут в один дом позвали, — говорит он отцу. — Большой у них там... Дом богатый, купеческий... Надо ехать... Ты езжай со мной, отец.

Коляска с трудом выбралась из толпы и покатила в сторону Невского. В доме купца их уже ждали. В углу маленький столик под скатертью, на столике миска с водой, крест, Евангелие. Григорий опустился на колени и тоненько зашел: «Спаси, Господи, люди Твоя...» Потом освятил воду и стал ходить по комнатам, кропить вокруг святой водой. Кропила у него с собой не было. Обломал он ветку какого-то растения на окне, ею и кропил.

— Воздух здесь нечистый. От ваших мыслей и слов. Надо его очистить.

После этого пошел он к больному. Тот лежит на постели, сказать ничего не может, только мычит.

— Голос у него пропал, — говорит купчиха. — Горловая чахотка. Все горло в язвах.

— Что же вы сразу не сказали, что он так серьезно болен?

Григорий нагнулся к больному и велел ему открыть рот. Потом трижды крестообразно дунул. После этого обернулся, увидел столик с лекарствами и ударил по нему. Столик опрокинулся, все склянки разбились.

— Брось все это! Больше ничего не нужно!

К этому времени в гостиной накрыли стол. Самовар, рыбная закуска, графинчик сладкого вина. Барыньки из коляски уже сидели тут, за столом. В комнату набилось полно народу, прослышали, что батюшка приехал. Со всей, наверное, улицы пришли. Как только Григорий сел за стол, все вокруг опустились на колени.

Григорий ел и пил с большим аппетитом все, что ему ни предлагали. Однако доест ему ничего не давали. Кто-нибудь непременно выхватывал у него из-под рук остатки, с благоговением их отвеживал и передавал другому. Так тарелки и стаканы Григория обходили всю комнату. А Григорий накладывал себе новую тарелку. С вином тоже — отпоьет Григорий пол-рюмочки и отдает кому-нибудь допивать. После закуски поставили перед ним стопку блюдечек и миску с сахаром. Григорий разливал чай по блюдечкам и раздавал всем, кто в комнате, вместе с кусками сахара.

— Из твоих ручек, батюшка, — раздавалось со всех сторон.

— Вон как ты живешь, — качал головой Спиридон Николаевич. — В каретах разъезжаешь с дамочками...

А Григорий беззаботно так, даже весело:

— А кто возле Христа был? Кто окружал Господа, как не женщины? Кто служил ему своим состоянием?

Тут одна из барынек достает из сумочки пачку денег и протягивает Григорию:

— Вот, батюшка... Для раздачи бедным...

— Это хорошо! — оживился Григорий. — Благослови тебя Господь! Бедным-то сейчас плохо, ох как плохо! Особенно в наше время. Ведь живут — ху-



же некуда. С этими реформами только нищих плодят. Грабят бедных почему зря. Не дай Бог бедняки на улицу выйдут. Будет кровь! Море крови! Ожесточение!

Тут вторая барынька корзину с пола поднимает, какая в коляске стояла.

— Это вам, батюшка. Письма, телеграммы...

— Да, да,— вздыхает Григорий.— Все пишут мне, пишут. Я и читать-то не успеваю. Все одно и то же — зовут приехать, просят помолиться. Помощь им нужна, помощь...

— А что вы им можете дать? — машет рукой Спиридон Николаевич.— Камни вы даете людям, а не хлебом кормите. По Христу — любовь и терпение, а по-вашему, по-церковному — только обряды: таинства, посты, молитвы. Окрестить, причастить, помазать. В угоду миру освятили суды и казни. Я помню, как пятерых повесили, когда Александра, императора, убили. Священники одобряли. Матушку твою в Сибирь осудили.

— А Христос не был против казни,— спокойно так отвечает Григорий и рюмочку вина наливает.— Посуди сам. Ведь Христос — Бог. Ему все было возможно. Он мог бы уйти от суда и казни. А он не захотел. Стало быть, признан нужной. А разбойники? Один, раскаявшийся, был прощен, но только для будущей жизни. А другой не только казнен на земле, но и обречен на вечные муки в аду.

— Все равно это против Евангелия,— стоял на своем Спиридон Николаевич.— Именем Бога освящаете обман. Вот люди и живут не по заповедям Христовым, а по учению чиновников и полиции. Какая уж тут любовь к ближнему?

Первая барынька, которая деньги давала, вмешивается:

— Да вы не знаете, сколько батюшка добрых дел в городе делает! Сколько денег дает на добрые дела! Ночлежный дом, приют для бедных, убежище для детей-сирот — все он. А общество попечения больных детей?

Григорий наклоняется к отцу:

— Тебе тоже что-нибудь надо, отец? Не просто ведь приехал...

— Человека одного исцелить надо,— говорит Спиридон Николаевич.— Болен он. Печень у него никуда. А я не верю этим докторам. Угробят они его как пить дать!

Григорий только вздыхает:

— Что ни говори, а страшно умирать пьянице...

Спиридон Николаевич так и подскочил:

— Почему это пьянице? С чего ты взял? Ты же его не знаешь!

— Разумеется, не знаю. Только вижу бесов, которые радуются гибели его души...

— Ты должен ему помочь. Мне бы только найти его. Может, Петрушу попросить, он поможет. Где он сейчас?

— О, Петруша теперь на виду... Какой-то «Союз рабочих» организовал. Он что-то вроде председателя, что ли... Сняли квартиру на Выборгской. Чайная у них там. Собираются, читают статьи, книги по рабочему вопросу. Напитков никаких не продают. Я у них там часто лекции устраиваю. Я тебе дам адрес...

Спиридон Николаевич нашел своего младшего сына в тот же день по указанному адресу.

— В России-то что творится! — встретил его Петруша.— Развал полный! Власть у кучки жуликов! У них и деньги, и природные богатства. Они и есть хозяева жизни. А весь народ у них в услужении. Вот и нужна всеобщая забастовка!

Спиридон Николаевич стал было просить его помочь разыскать Ярослава, но Петруша даже не слушал:

— Потом как-нибудь, не теперь... Сейчас у нас такое дело! Директор Путиловского уволил четырех рабочих. Надо за них бороться! Ты вот останься на нашем собрании, послушай...

К вечеру народу в комнате набилось битком, ни одного свободного места. Много женщин. Духота, лампы еле светят. Петруша принес отцу стул, поставил возле стены.

Не успел Спиридон Николаевич сесть, какой-то усатый из угла напротив так и уставился на него, глаз не спускает. Спиридон Николаевич подозвал Петрушу:

— Кто этот усатый?

— Усатый? А, это из полиции. Они нам условие поставили, когда мы проект устава принесли к ним на утверждение, чтобы непременно представитель от них присутствовал. На всех собраниях. А что делать? Деньги-то на наш Союз они нам дают. Из охранного отделения...

Спиридон Николаевич сидит, оглядывается. Какой-то недужный старик рядом на табуретке все время кашлял и кряхтел. Двое за столом играли в шахматы. Рабочий в ватнике и в кепке сидел возле самовара и пил чай стакан за стаканом.

— Народ клонится на нашу сторону, — обернулся он к Спиридону Николаевичу. — Я тут у тестя гостил, под Петербургом. На фабрике как раз пожар случился. Стали мы тушить. Рабочие все хмельные. А как потушили, я им брошюру прочитал: «Плохо живем». На них так подействовало. Стали кричать: «Целовальники-мироеды!» Потом кинулись к кабаку и давай требовать водки без денег. Сиделец, конечно, ни в какую. Тогда рабочие разгромили и разграбили кабак.

Когда все собрались, выступил Петруша:

— Россия переживает политический и экономический кризис. Если не будет реформ сверху, в России вспыхнет революция! Будет страшное кровопролитие...

После его выступления читали вслух брошюру «Всеобщий обман». А как прочли, кто-то говорит:

— Надо к царю идти!

— Правильно! — поддержал Петруша. — Ходили мы к градоначальнику — ничего не добились. Ходили к министрам — тоже ничего. Теперь остается к самому царю. Так пойдем или нет?

Все закричали:

— Пойдем! Пойдем!

— И если надо, головы сложим! — продолжает Петруша. — Но своего добьемся!

И все опять:

— Сложим! Добьемся!

Тут же стали составлять петицию к царю. Говорили все разом, ничего не понять. Один из тех, кто играли в шахматы, кричит: царь должен вывести страну из заколдованного круга, в котором она оказалась. Партнер его перебивает: нужен общественный переворот. Созвать немедленно Учредительное собрание! Третий, который весь чай выпил, призывает к борьбе с олигархией, которая правит страной. Долой казнокрадов и дельцов!

Когда, наконец, составили петицию, постановили завтра же, девятого числа, идти к Зимнему дворцу. Тут старик на табуретке, который все время кашлял, поднимается и предлагает отправить телеграмму министру внутренних дел князю Святополку-Мирскому. Просить министра выразить монарху от рабочих ревностную любовь к отечеству и престолу. Телеграмма тут же была отправлена. Все трижды прокричали «ура!» и пропели «Боже, царя храни». После этого началась музыка — балалайка, гитара и мандолина, танцевали «барыню» и другие танцы.

Петруша все время вертелся возле какой-то барышни в белом платье. Спиридону Николаевичу сразу бросилось в глаза, как она не похожа на других женщин в этой комнате. Будто из другого мира. Высокая прическа с завитой челкой, губы чуть припухшие, капризные, а глаза на пол-лица. И одета она не как другие — в какое-то воздушное платье с кружевами.

Спиридон Николаевич то и дело подмигивал Петруше — мол, хороша, пряма красавица. Как музыка умолкла, Петруша подсел к отцу.

— Невеста это моя, Наташа, — сказал он.

— Кто же она такая? Откуда будет?

— Представь себе — дочь иркутского вице-губернатора. Во дворец вхожа, царице представлена. Ждали назначения ее фрейлиной. А она возьми и в революцию, к нам пришла. Я влюблен без памяти! Стихи даже посвятил!

— С каких это пор ты стихи писать стал?

— Как Наташу узнал...

На другой день, девятого числа, Спиридон Николаевич с самого утра искал Ярослава. Все больницы обошел, все приюты — нет нигде. Мороз до костей пробрал его. Ходил он, ходил и оказался на Николаевской улице, вышел на Семеновский плац. И опять перед ним картина — деревянный помост с перилами, два столба с перекладиной и пятью крюками для веревок. Тут же пять черных гробов со стружками внутри и парусиновыми саванами. Бегут люди: «Везут! Везут!» Полицейские, жандармы, казаки с пиками, гвардейцы. Следом две телеги со скамейками. Спиной к кучеру осужденные со связанными руками, в солдатских шинелях, в шапках без козырьков. Треск барабанов и пронзительные визги флейт. За телегами карета со священниками.

На помосте читают приговор, осужденные целуют крест. Первого вешают, второго. Второй срывается: один раз, другой. Его все равно вешают, в третий раз. Толпа возмущается, протестует: «Помиловать!»

Спиридон Николаевич кричит:

— Нет такого закона, чтобы вешать сорвавшегося!

Когда все было кончено, Спиридон Николаевич видит, что он опять один посреди улицы, никакого помоста, никаких телег.

— Нет, батюшка Григорий Спиридонович, — говорит он, — не мог Христос одобрять казнь! Обманываете вы народ!

Он пошел дальше, все еще надеясь встретить Ярослава, может, как-нибудь случайно. Не заметил, как оказался у Нарвских ворот. Возле моста через Таракановку громадная толпа. Впереди держат портрет государя в большой раме. Дальше — кресты, хоругви, иконы. Прямо крестный ход. Перед толпой священник, молодой, длинноволосый. Рядом с ним Петруша со своей Натальей, за руки держатся. Все без шапок. Много женщин, детей, все нарядные, одеты по-праздничному. По сторонам толпы полицейские, тоже без шапок. Впереди двое верхом.

Священник оборачивается к толпе, голос осипший:

— Помните Минина? Как обратился к народу, чтобы спасти Русь от поляков? Теперь мы должны спасти Русь от всякой нечисти!

Кто-то в толпе кричит:

— Не надо такого царя, если не захочет нас слушать!

Рядом с собой Спиридон Николаевич увидел недужного старика, который был в чайной на собрании.

— И чего идут? — ворчал он. — Царя-то, говорят, вовсе нет в Петербурге...

По другую сторону моста — солдаты с ружьями наперевес и кавалерия, казаки. Тут Спиридон Николаевич видит в толпе, в первых рядах, какого-то белобрысого с иконою в руках. Ему сразу показалось, будто белобрысый — одно лицо с Ярославом на фотографии. Спиридон Николаевич стоит и думает: «Он это или не он?»

Только он решил пробраться к белобрысому и увести его с собой, как на толпу ринулись казаки. Люди расступились, пропуская всадников. Те саблями и нагайками стали махать по сторонам. Многих, которые ближе, задело, на снегу сразу кровь. Священник впереди кричит:

— Великий момент наступил! Пролитая кровь дарует обновление России! Мы принесем наши жизни в жертву!

Проскочив через толпу, всадники повернули обратно.

Офицер по ту сторону моста кричит:

— Расходитесь! Будем стрелять!

Люди с хоругвями впереди попадали на колени, карманы выворачивают — дескать, нет у них никакого оружия, безоружные они. Белобрысый тоже на колени встал. Спиридон Николаевич кинулся было к нему, а тут вдруг рожок сигнальный. И сразу — залп из ружей. Люди попадали на землю. Кто убит, кто ранен, кто от пуль укрывается — не разберешь.

Старик рядом со Спиридоном Николаевичем говорит:

— Не бойтесь, холостыми стреляют...

Полицейский офицер кинулся к солдатам:

— Что вы делаете? Как можно стрелять в портрет государя?

Снова раздались выстрелы, и полицейский упал. Спиридон Николаевич видел, как какие-то люди окружили священника и старались его увести.

Священник кричит:

— Нет у нас больше царя! Бомбы, динамит — все разрешаю!

— Отец Гапон, вам надо скрыться, — говорят ему. — Переодевайтесь и срежьте волосы.

Следом за ними Петруша тянет свою невесту Наталью, та вырывается, отталкивает его:

— Я должна быть здесь, с народом!

Спиридон Николаевич снова глянул на белобрысого. Тот встал с колен, икону перед собой держит. Тут новый залп. У белобрысого на плече кровь, но он стоит, не падает. Еще один выстрел, белобрысый упал.

В это время весь народ, вся огромная толпа кинулись бежать. Дети плачут, женщины кричат. Остались лежать только убитые и раненые. Какая-то гимназистка стоит на коленях перед лежащим стариком и только повторяет:

— Ну вставай же, отец... Вставай...

Две женщины несут совсем крошечного мальчика, голова у него болтается, вся в крови. На грязном снегу брошенные хоругви, иконы.

Кто-то подхватил Спиридона Николаевича и увел с собой. Очнулся он на какой-то улице, далеко от Нарвских ворот. «Мне Ярослава надо найти», — бормочет. Пошел было обратно, но не мог найти дорогу. Весь день бродил по городу, как во сне. Картины везде похожие — у Шлиссельбургских ворот, на Петербургской стороне, у Троицкого моста. Повсюду патрули и военные посты. Кавалерия с шашками наголо гоняется по улицам за людьми, а все ворота и подьезды заперты — не спрячешься. По Невскому несутся извозчики, сани полны трупов. В одном месте подожгли торговый ларек, в другом побили камнями стекла магазина. Какие-то люди разграбили оружейную лавку и бегали по улицам с ржавыми саблями и кавказскими кинжалами.

И было в этот день знамение. Небо в полдень затянулось белесоватой мглой. Мутно-красное солнце в этом тумане давало два отражения около себя. Люди поднимали головы и видели в небе три солнца. Во втором часу дня появилась яркая радуга. А когда радуга исчезла, поднялась снежная буря...

Варя так больше ни разу и не увидела Спиридона Николаевича. В середине января она вернулась с Пашенькой в Москву. В ночь перед отъездом опять видела все тот же сон — Славик стоит в одеянии священника с иконою в руках, а на пальцах у него кровь. И тут вдруг ангел с иконы сходит и говорит: «Милости хочу, а не жертвы... Спасена душа твоя... Ибо Господь пришел призвать не праведников, но грешников...»

Дома Варю ждало письмо из Петербурга, из клиники. Доктор писал ей, что у Славика оказалась хроническая недостаточность сердца (правого желудочка). Это явилось причиной образования так называемой застойной печени, что, в свою очередь, вызвало цирротические изменения — сердечный цирроз печени. В конце письма доктор сообщал, что Славик скончался у них в клинике девятого числа этого месяца.

Варя сначала долго плакала, потом говорит Пашеньке: «Ну вот, теперь продадим шубу и поедем за папой...»



### Цвет мерзлоты

Когда-то во времена самиздата, читая очередной белесый ксерокс, я наткнулся на изречение или скорее извещение: «Народ несет печать зимы, она неизъяснима». Так гласила надпись на одной из древнекорейских стел, и не помню, в связи с чем приводил ее Юнг, интересовавший меня в те годы. Сама надпись показалась мне гораздо глубже всего того, что она иллюстрировала. Как истолковать ее, я не знаю и не уверен, что какое бы то ни было истолкование будет именно истолкованием, а не перетолкованием. Слова эти кажутся мне так же неизъяснимыми, как неизъяснима печать зимы, которую несет народ. И что в этом случае означает «зима»? И только ли народ, оставивший это признание, отмечен этим ее не поддающимся расшифровке знаком или и всякий народ во всякое время и на всяком месте?

Что такое эта печать, я не знаю, но мне кажется, я видел ее, знал эту неизъяснимость умирания или, точнее, замирания, прощания, олицетворением которого являются подступающие к Северному полюсу обитаемые окраины материка, их земля и небо, его сияния, облака, бирюза. И взгляд, или, лучше сказать, взор, оленей, которые, как мне говорили, чувствуют за несколько дней, что их забьют, и плачут, как плачут неразумные твари, плачут, прощаясь, а может быть, и надеясь — бесслесно, по-своему, по-оленьи. Ведь не случайно именно они выделены Псалмопевцем, признававшимся: желает душа моя к Тебе, Господи, как стремится олень к источникам вод.

Я никогда не слышал, чтобы Крайний Север кто-то назвал благодатным краем, но ведь нет края безблагодатного, и, кроме того, от Апостола известно, что сила Божия совершается в немощи. Где же еще на свете столько немощи, столько женственной покорности, столько прозрачности? Помню, как я удивился, впервые встретив в Салехарде среди зарослей дряхлеющего, кое-как огороженного ивняка Ленина, что был по-ямальски невелик, неказист, неухожен — подлинно сын тундры. Он стоял косо, накренившись вперед, и, глядя на него, казалось, что это не «парк культуры и отдыха», как гласила ветхая вывеска, а местное кладбище, с головой ушедшее в мох, оставив на поверхности лишь этот памятник, готовый рухнуть ничком, приложиться к прочим, исчезнувшему без следа.

Моя родина — там, но только ли моя? Привязанные к ветвям лип позади Белого дома выцветшие красные и черные ленточки напоминают ненецкое кладбище, где покоятся среди ивовых ветвей люльки с усопшими, украшенные разноцветными тряпицами, полными мистического смысла.

Ханты погребают своих мертвецов иначе — мастерят им возвышающиеся над землей домины, навешая которые, приподнимают символизирующую дверь досщечку и кладут внутрь, к ногам покойника, хлеб, водку, табак.

Как-то раз в рыбацком поселке, бывшем районным центром, я видел, как это происходит.

В зарослях тальника синели зырянские кресты — кресты неправильные, как заметила московская специалистка по древнерусскому деревянному зодчеству, — им недоставало верхней небольшой перекладины. Еще одной их особенностью было то, что в отличие от древнерусских все они были выкрашены одинаковой голубоватой краской. Почему бы не покрыть их просто олифой? Почему непременно этот вездесущий бледно-голубой цвет? Из-за чего его предпочитают на Севере всем осталь-

ным? Может быть, потому, что это цвет убывающих к лету, выцветших до полной прозрачности ночей, их снега, ничем, кроме этого свечения, не обнаруживающей себя жизни? Или это цвет мерзлоты? Не только ее неба, воды, земли и всего, что при-суще им, то есть всему живому, чья родина здесь, но мерзлоты как субстанции? Цвет самого времени, тоже выстуженного, тягучего, тоже изнемогающего и тоже пронизанного присутствием той просветленной неизвестности, про которую сказано, что времени в ней не будет, как не будет и ночи?

Мне вспомнились сшитые из выисканных где-то тряпок куклы — круглые зем-листого цвета матерчатые лепешки с глазами-пуговицами. Единственные игрушки тех, кто родился в концлагере при строительстве «мертвой дороги», они были отыс-каны немцами (в то время еще «бундовцами») и оставлены сахалардскому музею вместе с фотографиями — для экспозиции «Помни, чтобы не повторилось вновь». Ржавый паровоз, волнообразные шпалы, покосившиеся вышки, детское кладбище, где свалены в кучу кресты и пустые гробики, выбеленные мерзлотой.

Поселковое кладбище с голубыми неправильными крестами отличалось мень-шим беспорядком, чем то, на фотографии для «Шпигля», но, будучи в тундре, и, мо-жет быть, оттого, что все неправильные кресты его были выкрашены в голубой цвет, вызывало почти то же чувство.

— Вот сюда, — руководил наш гид, выпускник *культпросветучилища*, вызвав-шийся показать старую сибирскую застройку поселка и вообще местные достопри-мечательности. Немногословный и приземистый, как все остяки, вскоре он нагнул-ся над могильным домиком, негромко стукнул в него три раза, уведомляя покойного о пришедших посмотреть на его экзотическое захоронение, приподнял дощечку. Мы заглянули внутрь, но ничего не увидели там, кроме сырой и серой земли.

В этом было что-то детское. Но что такое детство?

«Где ты теперь, мое детство, ведь не может быть, чтобы тебя нигде не было», — записал когда-то Блаженный Августин.

Мне вспоминается церковь в уральском городке, наполовину заколоченная, на-половину приспособленная под автостанцию и служившая громоотводом, как мне объясняли, показывая на ржавый штырь над куполом.

— А что здесь раньше было?

— Раньше-то? Музей был.

— Музей?

— А что же? Музей и был. Краеведческий.

Та единственная в моем детстве церковь представляла мне каждый день, видимая в окно похожего снаружи на вагон товарняка дома — серого, просевшего, с кержац-кими воротами, которых давно уже нет. В одной из его соединенных общим коридо-ром квартирок, где жила оставшаяся для меня невидимкой бабушка Алеши, моего ровесника, я как-то раз увидел огромный, стоящий на покромат возвышении крест. Я никогда не видел его так близко и не помню, знал ли тогда что-нибудь о Том, Кто предстал мне на нем, — о раскинувшем руки, голом, если не считать повязки, Чело-веке, прибитом гвоздями. Из-под шляпок гвоздей сбежали полустершиеся кровавые струйки, поникшую длинноволосую голову окружало вырезанное из жести сияние. Наверное, там были еще и цветы — бессмертники или что-то в этом роде, веточки; наверное, светилась лампадка — не помню. В памяти утвердились лишь белизна той узенькой комнатки, ее какая-то необычайная прибранность, открытое окно, выходя-щее во двор с поленищами, растворенными в послеобеденном солнце.

Вскоре то золотое захолустье сменил полярный городок, начинавшийся с ост-рога и не переставший им быть, хоть и не осталось у него ни сторожевой башни, ни часовенки из желтых бревен. Их построят лишь через двадцать лет благодаря моей случайной знакомой, с которой нам было позволено заглянуть в хантыйскую моги-лу-избушку.

Четыре утра. Несадившееся солнце уже высоко, дощатые улочки, по обочинам которых тянутся голые, торчащие из луж прутья, малиновые крыши, будки автобус-ных остановок, ползущие над самой землей облака — все спит с открытыми глаза-ми. Это то забытье, из которого выводит чье-то донесшееся до слуха открытие: да ты совсем не слушаешь, что я тебе говорю! Вообразите светлокудрую старшеклас-сницу, представшую перед педсоветом, но представшую лишь по мнению этих коря-щих ее дам, — на самом деле она так далеко, что не только никто из них не проник-нет в эту даль, но и сама она, окликнутая, не вспомнит, где была, утратит бесследно

ту страну, что вдруг разобьется с этим окликом о портрет Макаренко, тоже, впрочем, глядящего куда-то внутрь себя, снисходительно улыбающегося чему-то, видимому внутри. Такова салехардская белая ночь.

Берег изрыт оврагом, по откосам горят, споря с солнцем, консервная жесьть, битое стекло и прочий оттаявший необозримый хлам. Прошлогодня трава чернеет проплешинами вчерашних школьных костров. Вон покоится на боку позолоченное восходом суденышко, насквозь ржавое, безнадежное. Тот же цвет и тот же покой присущи тундре с видимыми в ее далеке двумя-тремя домишками, скорей всего знаменующими непостроенную станцию мертвой железной дороги. Вон три подернутых багряно-золотой утренней наледью столба. На один из них садится ворона и молча вертит головой, затем улетает, взмахнув неопрятными крыльями. Едва уловим хриплый вой мотора среди горящей холодом воды — непонятно, приближается или удаляется лодка. Подросток поднимается со своего щербатого ящика, закидывает на плечо сумку с красками, замерзавшими на отвратительной желтоватой бумаге, подхватывает под мышку папку и направляется домой, где все еще спят.

— Я никогда не умру. Ты как хочешь, а я никогда не умру, я это точно знаю,— ни с того ни сего, откупоривая «Пшеничную», заявляет мой однокурсник, что ходит на пленэр в измятой, как попавшая под поезд жестянка, шляпе. Цвет ее неопределим, как цвета чердака, где она найдена. Ее дополняют белые штаны, обветшалая и тоже в общем-то белая априори футболка, почти достигающая колен, и сума из мешковины, откуда торчат кисти. Довершает все посох, где-то подпиравший до этого бельевую веревку. Мы сидим в полутемной, загроможденной грошовым антиквариатом кухоньке, я смотрю на него, и тут по самым нашим головам прокатывается гром, и сразу, не церемонясь, обрушивается во всю свою мощь, затопля майскую окраину, ливень.

— Ишь, пируют опять! Закусывали бы хоть ли, чё ли...

— Ну, баб Мань, и промокла ты!

— Дак ить дождь! Ишь громыхат-от эко место!

— Присаживайся, баб Мань!

— Да куда льешь-то стоко? Мне ить раннехонько к автобусу-то. В прошлое-то воскресенье прошаперилась тут с вами, автобус-от и укатил.

— В церковь, что ли? Вроде завтра среда.

— Дак ить преполовение.

— Что-что?

Баба Маня, не мечта бисер, констатирует в очередной раз:

— Нехристи, нехристи и есть. Волосищи-то! Срам! Срам!

Дождь, ожившие подворотни, поблескивающие домишки и дышащие чернильной сыростью кусты, теснимые, как и лачуги, глухими каменными домами, выгнувшимися над зябкой брусчаткой. Цокот копыт — заблудившийся во времени дилижанс с потрепанной афишей цирка «Шапито» нагоняет кутающуюся в платок фигурку. Вечный, как луна, бледно-зеленый фонарь, примостившееся к стойке пустого бара тоненькое падшее создание и — чуть выше, над стойкой, в правом углу пропитанной тушью странички — «Увяли розы, промчались грезы». Ни один рисунок в ее *почеркушнике* не обходится без какой-нибудь надписи.

— Как, разве ты не знаешь? Она ведь беременна...

Автобусы почти не ходили к тому часу, когда мы с ее подругой подошли к оставшке. На горизонте, открывавшемся за последними многоэтажками, над еле видимым темно-синим от дождя лесом белесо вспыхивали то и дело беззвучные молнии.

— И что теперь? Что они думают?

Она не знала, что они думают.

Оборванная странница в буром плаще заглянула в косо сидевшую на железном шесте мусорнице и, не высмотрев там бутылок, повлеклась дальше. Неподвижно пылали стекла верхних этажей, в кафе у пруда уже завязывались пыльные беседы, знающие себе цену молодые люди решительно увлекали из-за столиков дам — с прошлым и совсем девчонок, неумело гасящих сигареты в апельсиновой коже; рядом, в парке, припозднившееся на прогулке дитя пыталось расшевелить карусель, и та, уроженка бодрого сталинского времени, скрипела затравленно, натужно, пока бабушка не дергала за рукав ее мучителя и не вела его мимо невозмутимых горнистов к пузатой крашеной ракете-горке или к барабану, который можно до одури раскручивать ногами, вцепившись в поручни.

Спрашивать больше было не о чем. Все было ясно, ясно насквозь, и эта ясность не нуждалась в словах, как не нуждались в них, чтобы быть понятыми, немые молнии над дальним, затянутым грозой лесом, солнце, асфальт и песок, и эта безлюдная дорога, ледяные многоэтажки и их спящие стекла.

В тот год мне часто снился ночной железнодорожный мост — бесконечный, как неведомая тогда лестница Иакова, но без ангелов, с заледеневшими ступенями, уходящими в поднебесье. Там, на самом верху, такой гололед и ветер, что шагнуть и устоять невозможно. А перил нет.

Потом я узнал, что, согласно одному из апокрифов, мост — это мир сей. Его надо пройти, но нелепо строиться на нем, обосновываться.

Были и другие сны или, точнее, видения, когда ничего не видишь, распадаясь, рассеиваясь, как роящийся сам в себе снег или пух, проваливающийся, плавая неровными кругами, в незримую пустоту, в нескончаемое коловращение, при котором память и беспамятство необъяснимо слились, став чем-то третьим — не памятью и не беспамятством или и памятью, и беспамятством сразу — пухом, пухом лебедей, запряженных в Венерину колесницу, взмыла в ледяную огнепалющую высь крылатая упряжь и пропала в нахлынувшей тьме, унося за собой лопнувшие поводья, оставляя в сугробах на пустынной земле обломки колес и легкого кувовка.

Что ни строй на мерзлоте, все будет напоминать лагерь, или капище, или первобытное же кладбище с его дощатыми могилами, похожими, в свою очередь, на лагерные бараки, видимые с вертолета.

Ненецкие кладбища, наверное, не намного интересней хантыйских. Пришлые кладоискатели порой перетряхивали висящие среди ветвей люльки с ленточками, не находили ничего более ценного, чем рукодельный, сгребаемый вместе с листьями мусор на знакомых каждому российских погостах, чем тот мокрый, серый бумажный венок на могиле моего отца.

Осень, когда он умер на Крестовоздвиженье, была на редкость холодной: никакое количество одеял не могло согреть меня в поезде — только спирт, оказавшийся у священника, что ехал в соседнем вагоне.

Спирт пил я один. Батюшка — худощавый, года на три старше меня, бывший нарколог — сообщил, что это для него не тот холод, и продолжал вязать четки для пополнения приходской казны. Мы говорили о смерти, о литургическом богословии отца Александра Шмемана, об алкоголизме...

— Кировец стоит. Кировец! — негодовал в тамбуре щуплый петербуржец, угостив сигаретой кутавшегося в ветхий стеганный пиджачок инвалида. Тот умудрялся курить, сжимая сигарету обрубками не имевших кистей рук, и во всем с ним соглашался.

Когда почти пустой поезд дотащился наконец до долгожданной станции, была ночь. Путь до станицы, куда я по моим подсчетам должен был добраться на полсуток раньше, лежал через сжатые подлунные поля и прошел в молчании — мысли мои были далеки от оцепленного Белого дома, и говорить со мной частнику, гнавшему свою «пятерку» сквозь невероятно холодную для этих краев ночь, было не о чем.

Отца похоронили часов за восемь до моего приезда. Я так и не успел толком помириться с ним.

— Совести у тебя никогда не было, — проговорил он с ударением на «никогда» и словно вспоминая меня от дня моего рождения и до того дня — последнего, когда я видел его живым.

— Как и у тебя, папа, — парировал я.

Он вспыхнул, но промолчал и уже не сказал ни слова, докрашивая бирюзовой краской наличники, из-за которых и пошел сыр-бор. Покрасить наличники должен был я, но, видимо, краска там и сям закапала стекло и вообще летела во все стороны, вот и поехало: не любил трудиться, пальцем о палец за всю жизнь не ударил.

Не разговаривая весь день, мы холодно простились на следующее утро, и вот — холмик, размытый не прекращающимся несколько дней дождем, идиотская тумба, полурасколотый, не годный в хозяйстве кувшин, вдавленный днищем в оползающую грязь, и ручьи, ручьи, роющие вывернутый из глубины чернозем.

Дождь то затихал, то снова моросил — беззвучно, через силу, а к ночи поднялся ветер и неистовствовал, шумя в запустелых деревьях, когда я, вдавив в жестянку окуроч, шел в дом и, стоя на коленях перед картонной иконой, читал, давась пьяными слезами: «Блажени непорочнии в путь, ходящи в законе Господни. Блажени ис-



пытающий свидения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающийи бо беззакония, в путех Его ходиша».

Отпевали отца при мне, то есть уже похоронив, *заочно*, в заново построенном и напоминавшем снаружи авиационный ангар храма, под алтарными сводами которого, над иконостасом, сработанным местным любителем живописи, я видел ласточек летом, когда отец был еще жив.

Ласточки метались, то садясь на плавно сужавшиеся верхушки икон праотцов в верхнем ряду, то цепляясь за цепь паникадила, и отчаянно щебетали. Солнце только всходило, заливая алтарь, где приносилась бескровная жертва. Несчастье заблудившихся ласточек, которые вскоре вылетели-таки наружу, было не чем иным, как живым восполнением псалма, опускавшегося здесь, как и в других приходских храмах, «Девятого часа»: *Сердце мое и плоть моя возрадовались о Боге живом, ибо птица обрела себе дом и горлица гнездо себе, где положит птенцов своих: алтари Твои, Господи сил, Царю мой и Боже мой!*

Три старушки старательно выводили тропари заупокойного канона. Сероватые, цвета бескровных былинок, свечи трещали и плавилась у нас в руках. Брату все это представлялось спектаклем, но он мирился с ним, ибо такова была воля отца, за год перед смертью надевшего крест и начавшего соблюдать посты, исповедовавшегося и причастившегося в Чистый четверг.

— Если б не эти посты, может, и еще поскрипел бы,— размышлял вслух его брат, дядя Саша, хоть и знал, что причиной смерти был забытый при операции и начавший гнить тампон.

Тампон извлекли и, после того как младший сын, преуспев на торговле кремом для обуви, не пожалел денег, начали менять повязки, перевели в палату, где были какой-никакой уход и присмотр. Брата уверили, что никакой угрозы для жизни нет, и, наверное, сам отец, которого он застал похожим на брошенного, беспомощного ребенка, сам в это верил.

Очки, тоненький молитвослов, по которому он молился, выходя на площадку для грузового лифта...

Дядю Сашу похоронили в конце октября через два года после того дня, а в то утро, когда мы стояли со свечами в похожем на ангар храма, он был извещен о своем скором исходе, но устрасился узнать в точности, когда это будет. Произошло это так. Отец вошел под утро в его спальню праздничный, помолодевший и элегантный, как в молодости, когда играл в оркестре, в новом костюме. Лицо его было чистым, без синяков и ссадин, оставшихся после того, как он упал на кафельный пол, прежде чем его увезли в реанимацию.

— Ты думал, зарыли — и все? Это все бутафория.

Что именно бутафория, так и осталось необъяснимым. Начали бить часы, и отец сказал, что брат переживет его ненадолго — ровно настолько, сколько еще раз пробьют часы. Считал ли дядя Саша их удары, я не знаю, но, по словам тетки, слышавшей эту историю от его жены, он был в ужасе. Впрочем, это не разрушило его неверия в бессмертие, и, опомнившись, он рассудил, что ничего особенного в этом посещении не было,— думал о нем, вот он мне и приснился.

Утро девятого дня было тем самым утром, что застало народ у не выключавшихся всю ночь телевизоров. В Москву вползали танки, а на станичном кладбище зябко позвякивало, рассыпая искры, кадило в загорелой руке отца Николая, трижды обходившего холм с торчащей из него тумбой. Размокшего венка уже не было: его, как и другие такие же, сволок и унес на восток, разбросав их там как попало, не унимавшийся все это время ветер.

Желто-серая равнина, голая, словно вышедшее из вод океанское дно, начинавшаяся рядами свежих могил, возле которых почему-то запрещалось сажать деревья, простиралась за горизонт, окрашивающийся восходом. Уже всплывшее грузное темно-вишневое солнце поразило меня — это было солнце мерзлоты, приведшее за собой те же самые огромные неповоротливые белые глыбы, что стояли над Обью в дни ледохода. Разбросанные вдалеке бумажные венки — свалывшиеся, грязные — тоже напоминали о салехардской весне, ее бесчисленных, протаявших помойках, ее нищенском светлом беззвучии. Я представил, как ветер тащил их по песку, и вспомнил рассказ знакомой московской художницы о том, как вывозили с ее двора околешшего около мусорных баков бомжа — высоколобого, породистого, похожего на архангельского помора. Она видела в окно, как стаскивал санитар с него тряпье посредством специально заготовленного для этого проволочного крюка. И этот пред-

ставившийся мне шорох, никчемности, будь то заскорузлые тряпки или болтающаяся на проволоке размокшая бумага — последнее приношение живых — показались мне чем-то словесным, словесным в самой своей бессвязности, ненужности. Я почувствовал то же, что чувствовал на следующее утро после моего ночного запоздалого приезда, глядя на промокшие и как бы замерзшие в негреющем, на минуту проглянувшем солнце ветки, на гору затопленной дождем грязной посуды в тазу на скамейке беседки, под крышей которой когда-то жила воробьиная чета. Она кормилась тем, что удавалось прихватить со стола, тут же вспорхнув и чирикнув из безопасного, на их взгляд, убежища, где крошка уже была разделена на столько частей, сколько желтых не закрывающихся клювиков ждали какой ни на есть поживы.

В то утро птиц было не слышно — они молча поглядывали на промокший, выстуженный мир из своих закутков, изредка обмениваясь невыразительными междометиями. Но не только из-за непогоды было так тихо — и двор, и беседка с немойтой посудой, и огород, где через год ветер раздерет полиэтилен на заброшенной теплице, и вообще все, что я видел, было перенесено на север, где таятся языческие и лагерные кладбища, где отцу явилась Женщина в платке и длинной одежде и, разбудив его, сказала, чтобы он поторопился: его напарник уже отвязал лодку, оставляя его в лесу в отместку за нанесенную вчера обиду.

Все было перенесено туда, где отсутствие птиц дарит возможность услышать молчание света. И это, может быть, самый драгоценный из даров весны, приходящей на полумертвую землю так поздно, что ее уже и не ждут, но посмотри — вот она, и не важно, что сейчас осень и что ты в ста километрах от Черного моря, а не от Ледовитого океана, в саду, где несколько лет назад в ладонь твоей спящей в гамаке жены упало на рассвете яблоко, и, почувствовав это, открыв глаза, она услышала внутри себя, что скоро она снова будет беременна и что этого ребенка она должна будет сохранить.

— Очень важно, матушка, почаще записки к обедне подавать, — увещевал плохо разбившуюся во всем этом маму отец Николай, когда, придя с кладбища, мы собрались за столом. — Одна раба Божия — она у меня на клиросном послушании — рассказывала: умер у нее свекор — пьяница, знал я его, — умер, и снится ей — лежит он вроде как в чулане, темнота кругом. Лежит, а тело все в язвах, места живого нет, и весь черный, как головня. Она давай молиться, записки подавать. Через год снится он ей снова: половина язв коростой подернулась, а со многих уже и короста сошла, кожа розовая, как у младенца. А еще через год видит его опять — язва уж и не осталась почти.

Что сказал бы по этому поводу Юнг?

Или вот такой, например, сон: мальчик, снявшийся моей шестилетней дочери, говорит ей, что он ее старший брат. Они гуляют по осеннему скверу — очень грустному, как расскажет она потом маме, — и около пруда находят мертвого лебедя. Брат говорит ей, что лебедь не мертв, что он оживет.

Затем они оказываются в театре. Раскрытые журналы в поднятых руках выбежавших на сцену танцовщиц обозначают птиц. Один из них вдруг рывком разрывают надвое.

Что все это значит? И почему лебедь оживет? Как он оживет?

Тому мальчику, говорила она, было десять лет — он сам сказал ей об этом. Да, именно десять лет назад, в октябре, когда совершенно пустой экспресс уже остановился, уже отъехала бесшумно дверца впереди салона, я зачем-то положил ладонь на живот моей беззвучно плакавшей подруги, и ладонь моя почувствовала легкий толчок.

Через год, начав ходить в церковь, в такой же затянутый тусклой моросью октябрьский день мы обвенчались в храме Воскресения Словущего, известном своей иконой «Взыскание погибших».

Помолись о нас, отец Николай.

Горел под бодрый комментарий диктора Белый дом, вытеснялся лицами зрителей, толпившихся на Калининском мосту.

В окне промелькнули две фигурки: дядя Миша — армянин, плотник, произносивший вместо «сволочи» «сволечки», и его бойкая славянских кровей жена Капитолина — соседи, жившие через дорогу, направлялись за обещанными вещами отца.

— Капа, Капа! — донесся с улицы голос мамы, догонявшей батюшку, чтобы вручить приспесенную для него и забытую второпях жареную курицу.

Разговор с соседями не занял много времени, и скоро в окно снова можно было увидеть тетю Капу — с горой вымытой посуды, позаимствованной у нее для поми-

нок, и дядю Мишу — чинного, в совсем почти новом пальто и ондатровой шапке, с набитым битком громадным полиэтиленовым пакетом в руках. Пропустив рюмку коньяку, он передал через маму, чтобы завтра с утра я пришел к нему в столорку — делать крест.

До этого дня осьмиконечный крест из черной ленты был прибит мной к кумачу мокнувшей тумбы над расползавшимся холмом. Через год в точности то же самое попросит меня сделать встреченная когда-то в рыбацком поселке дочь известного архитектора и сама архитектор. Разница будет лишь в том, что крест по ее заказу я составлю не из обрезков ленты, а из кожи и прибивать его буду не к тумбе, а к крышке гроба ее погибшего в автокатастрофе отца, спасшего когда-то Кижь.

Ни за ту, ни за другую работу мне не будет стыдно: крест лучится безукоризненным с точки зрения древнерусского канона — строгий и легкий, парящий, тоненький, как мячта, северный. Таким же был крест, сработанный с дядей Мишей. Я не мог не залюбоваться им, когда выглянувшее к концу вечера солнце осветило его, только что покрытый олифой, прислоненный к кирпичной стене под голым проволочным навесом для винограда.

Виноград, еще ни разу не приносивший плодов, побил заморозок, как побил многое из посадок рьяно взявшихся за садоводство пенсионеров, всю жизнь преподававших музыку детям тундры.

Прочитал ли отец предупреждение, посланное тем заморозком?

Север так и не отпустил его, сына *врага народа*. И разве это случайно, что его соседом по кладбищу до самого Страшного Суда, на котором только мы и встретимся теперь, стал человек без имени, не похороненный, а вываленный в яму в полиэтиленовом мешке в тот же день?

Как-то раз я видел у того холмика с колышком женщину — пожилую, обычную. Она что-то говорила, то ли мне, стоявшему рядом, то ли самой себе, то ли просто в пространство. Я понял только, что она ему не мать, не жена, не родственница никакая, просто знала его. Просто ближняя. Может быть, соседка. Кем был он, я тоже не понял — она все что-то сокрушалась о нем, а пришла посыпать песочком, освященным на панихиде, этот его холм — трижды, крестообразно, повторяя при этом «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Значит, крещеный. И этот колышек с номером — разве не крест? У каждого он свой, как известно. Свой у каждого человека, рода, народа. И вот этот, подумал я, стоя в последний перед отъездом вечер среди тумб и наскоро сбитых крестов, и есть крест русского человека в наш век.

В этом колышке с номерком тоже было что-то детское. Я вспомнил, как послушники зажигали в шестом часу утра лампады в Троицком храме и как я подумал тогда: вот ты где, мое детство, детство, которого у меня не было, потому что разве это детство: без лампадки в спальне, без запаха ладана и просфор по воскресеньям и праздникам, без Пасхи и Рождества?

Или все-таки было оно? Ведь были двор, и сирень у крыльца, и елочный шар на рождественской елке — да, именно рождественской, хоть и слова этого ты не знал, и о Том, Кто родился, если и слышал, то слышал лишь то, что Его нет и никогда не было.

И еще были церковь, где жили голуби и ждали своих автобусов пассажиры недалекого следования, громоотвод на месте креста, ржавое, с неровными краями железо в окнах и остатки извести. Какого цвета она была? Кажется, голубоватая, но, может, это было и не так. Она была цвета тронутого таянием снега в бессолнечный, но ясный день, цвета халатиков, выдаваемых в захолустных родильных домах.

Беззвучный взрыв, и, чуть приподнявшись, церковь оседает, обваливается, окруженная народом, и вот уже нет ее, благословлявшей беззвучно мое детство, осевшее в прах вместе с ней или перенесенное туда, где, может быть, мой сын, которому не дали родиться, стоит перед деревянным распятием в удивительно прибранной белой комнатке, залитой полуденным солнцем.

На следующую после своей смерти весну отец приснился веселый, с огромным букетом первых тундровых цветов нашей старинной знакомой, — тоже всю жизнь преподававшей в *культпросвете* и окончательно потерявшей зрение ненке. В то время я оказался на несколько дней в Салехарде — оказался, может быть, именно для того, чтобы узнать об этом посещении. Она умерла месяца через два. Как ни уговаривал я ее тогда позвать священника, зная, что другой такой возможности у нее не будет и что никому из близких ее никогда не придет в голову сходить за батюшкой, как ни увещевал, все было тщетно.

— Куда уж мне, ладно уж и так...

Но этот ее сон, разве не говорит он, что и у нее есть надежда?

«Наш негордый Бог», — сказал об Увиденном мной в пять лет Симеон Новый Богослов.

Цвет мерзлоты, печать зимы, оттаявшая и снова подернувшаяся льдом земля в седмицы Великого поста.

Салехард большую часть этого времени еще по-зимнему плотно спеленут в белый кокон. Солнце лишь начинает разграничивать небо и снег, уходящий в небо. Уходящий так же неуловимо, как проваливается в забвенье рассудок на недодуманной, распадающейся на полуслове мысли и даже не мысли — тени мысли, скользнувшей по поверхности сознания, отрешающегося от всего внешнего и от самого себя.

— Что с тобой? Приснилось что-то?

Раскосые глаза нагой хранительницы очага, наполовину освещенной им, то есть приоткрытой печкой, у которой она сидит на корточках, подкармливая огонь.

— Да так... Ты там замерзла, наверно?

Сунув в печь бывшие у нее в руках ветхие рейки разломанных ящиков, собранных на задворках близлежащего магазина, она выпрямляется, притворяет заслонку, ныряет под одеяло. На кухне — она же прихожая — вздувается, шурша, полиэтилен на окне. В другое окно, справа от стоящего на чурбаках ложа, виден круто обрывающийся к Оби берег, и там, далеко внизу, у самой воды, невзрачно светятся несколько огоньков. Должно быть, это лодочная станция.

— А знаешь, у нас еще вино осталось.

— Да?

— На кухне. Я видела, когда выходила. Принести?

— Конечно! Оно же выдохнется до утра. Или замерзнет. Нет, подожди, у тебя и так вон какие ледышки.

— Да ладно, лежи уж.

Она выскальзывает из-под одеяла и, подхватив лежащую в ногах шубу, устремляется туда, где трепещет полиэтилен, — вся какая-то несуразная, угловатая. Принесенного ей «Старого замка» оказывается как раз на две чашки, заменяющих бокалы.

— И за что же мы выпьем?

Она смотрит в окно.

— За огоньки. Видишь? Вон там.

— Да. Вижу. За огоньки.



## Переписка по Цельсию и Фаренгейту

*Автор этой рубрики, поэт и эссеист, пишущий по-русски и английски, много путешествуя по Европе, но вполне вросший в американскую почву, ставит своей задачей почувствовать реальную жизнь и по Цельсию, и по Фаренгейту, а не только о ней знать.*

*Мы надеемся, что читатель увидит в письмах-эссе о городах, событиях и людях Запада внутренний пейзаж другой культуры.*

Андрей ГРИЦМАН

# Симпозион, или Пир искусств

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ В ПАРИЖЕ

Прежде всего представьте себе пейзаж, декорацию события. Событием является возникновение очага русской культуры в чужой среде. Декорация — Париж конца девяностых годов двадцатого века. Конец века и тысячелетия. Fin de siecle. Дождливый декабрь, свинцовое небо над имперским Парижем. Город едет по делам в тысячах автомыльниц, все озабочены и урбанистически издерганы. Во Франции все знают, что Париж — это единственное место, где можно преуспеть. Судьба выбирается рано и на всю жизнь. Нет вечно мерцающей американской надежды на то, что все можно начать сначала. Как и во всех подобных сложнокультурных системах, миры не пересекаются, контакты между слоями общества лишь в одно касание.

Это ситуация полной обособленности инородной культурной точки от окружающего мира: русский Берлин и Париж двадцатых — тридцатых годов, Харбин, Нью-Йорк семидесятых — девяностых.

Пейзаж: рядом с традиционной индусской улочкой, пахнущей пряностями, — модный супермагазин «Галери Лафайет» и ряды закусочных-брасри, заполненные модно-делово одетыми парижанами, сидящими плечо к плечу, как солдаты в столовой, за герметически сдвинутыми столиками.

За углом, в переулке, — тусовка мотоциклетных ребят, весь день потрескивающих кожанками и угрожающе поглаживающих металл притаившихся «Хонд», готовых к прыжку. Смысл этого многочасового радения не совсем понятен, но там — своя аура, свой жаргон.

Минувшим летом Франция выиграла Чемпионат мира по футболу. Фото легендарного форварда Зидана, алжирца, забившего решающие голы Чемпионата, висят в алжирских магазинчиках, раскиданных по боковым улочкам. Зидан — гордость и надежда эмигрантской Франции, образ «молчаливого меньшинства».

В такой вот лавочке, обменявшись несколькими словами с тремя кинематографически небритыми террористами, один за другим возникавшими из подвального помещения, мы запаслись дешевым «Божоле» (очень приличным), сыром «Камамбер» и длинными французскими батонами.

В одной из боковых улочек Рю де Паради на высоченной, обитой металлом двери в подворотню висит яркий цветной постер: SYMPOSION, Les Artistes Russes De Paris. В подворотне кажется, что вступил в иной мир, мир сюрреалистического фильма (ранний Роман Поланский, например): длинный промозглый коридор с арками, неба почти не видно, и вдаль, на темном узком горизонте, мерцающая бронзой дверь. Туда, к счастью, доходить и проверять, что за той дверью, не пришлось: вход в русский художественный клуб «Симпозион» — третья дверь слева и сразу спуск в подвал. Рекомендуются истошно прокричать в полуоткрытое окно подвала «Леша!», объявляя хозяину — Алексею Хвостенко (широко известному также как Хвост) о прибытии.

Хвостенко — легенда, питерский художник, бард, один из центров кристаллизации андеграундного искусства в Ленинграде шестидесятых. Он уехал четверть века назад, большую часть времени жил в Париже. В Россию дошли замечательные стихи и песни, некоторые написаны в соавторстве с его другом, парижским русским поэтом Анри Волохонским. В Хвостенко сочетаются качества, ставшие характерными для художников, живущих за рубежом: самодостаточность, экзотичность, выпадение из контекста пресловутого литературно-художественного процесса (читай — тусовки столиц), некое очаровательное отставание от современного языка, стиля, от разговора, от темы дня. Но это-то и обеспечивает сохранение оригинальности.

На входе, миновав тесный сортир полуоткрытого типа, напоминающий парящую сторожевую будку с оторванной дверью, попадаешь в лабиринт комнат с каменным полом, кирпичными и каменными стенами, переплетениями труб. Бывшую типографию русские художники приспособили под клуб и выставочное помещение. Это настоящий художественный андеграунд в чреве Парижа. Напоминает также камеру пыток не то времен инквизиции, не то французской революции.

Впечатление усиливают зловеще-великолепные скульптуры: ткацко-типографские станки, антропометрически-геодезические инструменты и в главной комнате на видном месте — крупный тяжелый деревянный фаллос на поддерживающем ракетоносителе работы Хвостенко. Живописные полотна Хвостенко, по существу, то же, что и его скульптура, и музыка — полное, вкусное, но и тонко-профессиональное чувство фактуры материала, поверхности, звука, слова. Он — мастер слова, художник с идеями, а не из тех, кто пишет талантливо, но как Бог на душу положит.

В стихах Хвостенко проскальзывает некоторая вторичность. Тут сказывается профессиональная рука автора песен, автоматически применяющая прием стилизации.

И то не покидает нас  
сухого воздуха виденье  
на уровне прекрасных глаз  
любой затеи. Появленье  
и видимого через стол  
дано бесплатно. Светлый кол  
в конце блестящего забора  
как бы залог такой судьбы,  
а дым прикованной трубы  
подобен впечатленью бора.

(А. Хвостенко. «Волохонскому»)

Но в последнем цикле, в «Степных песнях», энергия оригинального стиха пробивает поверхность стилизации, не умекаясь в оболочку замысла автора. По-моему, как музыкант, певец, композитор-поэт Хвост до конца не понят и недооценен. Помню многолюдный его концерт в сопровождении «Оберманекенов» в Нью-Йорке, на легендарной шхуне у причала Гудзона. По музыке и мощи Хвостенко был российский Джим Моррисон в сопровождении совершенно провисающей рок-группы — бледных полузащитников, играющих в другой лиге. Сходное впечатление неполного совпадения традиционного российского гитарного или поп-музыкального сопровождения с оригинальным «космополитно-романтическим, блюзовым» стилем Хвоста слышится и в альбомах, записанных с группой «Аукцыон».

Дело в том, что многие российские «рокеры» на самом-то деле «рокерами» не являются (в известной мере это относится и к Макаревичу), а работают в жанре инструментальной и аранжированной авторской песни или поп-музыки (у Булановой, например, есть очень приличные блюзы).

С Хвостенко ситуация обратная. Он-то как раз по колебанию ритма, игре голоса, всей чувственности — «джазовый рокер», который (подсознательно?) вынужден был маскировать свою музыку под авторскую песню, чтобы быть услышанным публикой. На самом деле и тексты его слишком сложны по образности, слишком метафоричны, повороты неожиданны, а культурные референсы слишком культурны для бардовских шлягеров. Хвост — белая ворона в художественно-тусовочной среде, потому что образован и читан с детства.

Пожалуй, по тональности он несколько старомоден, то есть очаровательно отстал, и слишком романтичен для молодого российского поколения. Впрочем, как и Высоцкий. Для наших времен максимум допустимой романтичности — в песнях популярной теперь группы «Там». Но и в этом «отставании» Хвостенко и другие художники вне метрополии оригинальны в своей отстраненности от поп-культурного процесса.

У Хвостенко много общего и со столь любимым в России Томом Уэйтсом: их роднят интонации рэг-тайма, этой замечательной непредсказуемой расхлябанности, смеси сильного пульса рока с неожиданными тематическими поворотами джаза. Последний альбом Хвостенко, его вокал в сопровождении редких восточных инструментов, без гитары (!), является продолжением той же линии поиска нового звуко-

цвета с более смелым отходом от широко популярной в русской среде «песенности». Он — типичный мастер, как теперь модно говорить, «мультимедиа», то есть и жнец, и на дуде тоже. Упомянутые суперзвезды тоже были (и есть) художественно многогранны: Моррисон, великолепный рокер, был — или мнил себя — поэтом (правда, слабым и претенциозным), опубликовал несколько сборников, а Том Уэйтс, кроме своей музыкальной уникальности, еще и замечательный актер кино.

Хвостенко, позволительно сказать, родился не вовремя и не там, где он был бы наиболее популярен. Ни российская аудитория, ни российская художественная ситуация не были готовы и не готовы сейчас к пониманию его искусства. Хвостенко — глубоко западный художник, экуменический. Это поколение рок-н-ролла в чистом виде. Что происходит с представителями поколения рок-н-ролла, когда они стареют, совершенно не ясно. Пока что ничего не происходит. Но эта тема заслуживает отдельного рассмотрения. Может ли авангард отставать как взгляд на жизнь и как «антиакадемическая», живая позиция в искусстве? И не важно, что Хвосту под шестьдесят. Не в этом дело. Это вопрос так называемого «сенсibilitи», чувственного, художественного восприятия мира — до шестидесятих годов или после. Поэтому вокруг таких людей всегда много молодых ребят — художников и поэтов. Такие люди, как он, — всегда авангард. Тем более что Хвостенко к тому же всегда много и продуктивно работает. Не отвлекается на не необходимую суету. Все поставлено на службу следующему проекту: место, ситуация, люди.

Симпозион («пир искусств») — проект замечательный. Не только тем, что там, вокруг клуба, оказалось несколько интересных художников. В клуб естественным художественным образом входит и редакция парижского русского литературного журнала «Стетоскоп» (поэт Миша Богатырев, Ирина Карпинская, Ольга Платонова). Это «журнал полезного чтения», где, понятное дело, заметна местная парижская клановость (сам редактор Михаил Богатырев, Наталья Горбаневская). Ну и слава Богу! Во-первых, хоть что-то появится в печати. Нужны годы, чтобы тексты дошли до России и тем более опубликовались. В России своя номенклатура, выстроившаяся в очередь в желто-пыльных коридорах редакций. А тут все-таки возможность живой художественной игры. Когда сам делаешь издание, и товарищи «по несчастью» в художественной диаспоре становятся товарищами по счастью.

Быть может, утром (когда незнаемо)  
Ты вдруг проснешься в созвездьи Льва  
И различишь на востоке зарево,  
И души умерших,  
И слова.

(М. Богатырев)

Подобный клуб — это попытка консолидации русской культуры за рубежом, ее самоосмысления, создания своей среды. Среда, напрямую не зависящей ни от окружающей местной культуры «аборигенов» (тем более в Париже), ни от туманно-далековой российской культуры, блуждающей в сумерках постмодернизма смутного времени. («Постмодернизм у нас тут наложился на маразм» — И. Ахметьев.)

В Нью-Йорке в последние годы появились ростки такого особого художественного «кучкования» без постоянной оглядки на заокеанскую метрополию. Это и вечера-чтения в «Дяде Ване» (АРАП — Ассоциация Русских Американских Поэтов), и вечера Гены Кацова, особенно удачные были в кафе «Aunway», и салон-мастерская Юли Беломлинской в Джерси-Сити.

Последнее место наиболее сродни клубу Хвоста в Париже. Расположено оно в заброшенном складском помещении недалеко от Гудзона: пакгаузы, склады, брандмауэры. Как и на Рю де Паради, само место является частью художественного замысла, декорацией, сюжетом. Жизнь как творческий акт — и тогда кухонная (действующая!) раковина в углу студии Беломлинской становится object d'art нью-йоркского филиала «Симпозиона».

В этих недавно еще заброшенных монструозных кирпичных складских помещениях у Гудзона — десятки мастерских художников разного типа. Коридорная система, тут и там замечательные постеры, и порой из общего туалета в коридоре невозможно выйти, потому что не оторваться от настенного искусства высокохудожественных квартиросъемщиков. Все художники там и живут, много молодоженов. Потянулись туда также в последнее время и американцы с живинкой, любители и галерейщики, джазисты и поэты. Свято место пусто не бывает.

Впечатление от русской выставки в парижском подвале — это живой, свежий цвет. Одной школы там нет. Но есть удача цвета. То ли имеет значение эстетическая общность художников, то ли вкусовой отбор составителей, то ли эффект темноватого подполья. До сих пор перед глазами висит подземная мозаика цвета. Полусумасшедший витраж.

Кроме скульптур и полотен Хвостенко, запомнились несколько довольно типичных картин Оскара Рабина. Вроде бы и стандартные для него вещи — «немытая

Россия», но чувствуется ветер на ночной улице, и фонарь покачивается. Почему-то ясно, что осень. Хотя деревьев нет. Сразу узнаваемы страшно-прекрасные человеко-чудовища Владимира Сысоева, в этот раз приканчивающие друг друга под скрипичную музыку «Болеро».

Выпукла и загадочна игра цвета, дерева и металла у Александра Леонова, и неожиданна Сильвия Маньин контрастом своих текучих, сумеречных, лунных полотен с реальной фигурой автора — забавной светской дамы средних лет. Она парижанка русско-смишанного происхождения, невысокая, стильно старомодная, с лорнетом на длинном шнуре, внешне не сочетающаяся с богемной, шепотной обстановкой клуба. Обитатели его в основном русские художники, или заезжие киношники, или проезжие поэты, или полубезумные профессора филологии (или истории), то ли шотландцы, то ли ирландцы со струей незаконной французской крови, а скорее всего и то, и другое, и третье.

В воздухе томительное ожидание грядущих штурмов: то ли взятие Зимнего (и Эрмитажа), то ли Бастилии (и Лувра заодно). Все тщетно пытаются где-то подзаработать и тщетно же ждут звонка от несуществующего работодателя, молодые женщины — от несуществующего мужественного варианта. Он же заодно и работодатель (если повезет).

И обитатели, и их произведения, притаившиеся в углах и на стенах, создают атмосферу события: оно уже произошло или вот-вот произойдет.

Молодые люди, богемные дамы неожиданно входят в центральную комнату из потаенных дверей и темных углов и в них же растворяются на середине фразы. Хвост с неизменной косицей, погасшей сигаретой и пластиковым стаканом вина прохаживается или сидит с гостями за деревянным обшарпанным столом (не имперского периода) и время от времени великодушно берет гитару.

Если решиться на небольшую экскурсию в загадочную полутьму, в глубине задних комнат увидишь свою подземную жизнь. Отблески масла картин, люди спят на каких-то топчанах, рядом пара ребят в кожаных куртках смотрит «видик», бесконечный фильм о русской мафии: «Витек, ты меня знаешь!» И тут же все — в кроссовках «Рибок» и майках «Джетс» — бросают чинить старый «фольксваген» и разбегаются кого-то убивать. В соседних комнатах что-то вроде склада бывшей типографии и, по-моему, инвентаря Иностранного легиона времен алжирской войны.

Художникам нужно дышать одним воздухом, бывать вместе, там, где происходит художественная кристаллизация. Таким центром в Париже является Хвостенко и его круг. Живое в искусстве, в культуре всегда остается. И сегодня чувствуются тепловые точки Харбинской группы поэтов и художников, замечательный, ненадолго распутившийся цветок раннего русского авангарда Тифлиса двадцатых годов, русский Берлин и Париж двадцатых — тридцатых, современный Нью-Йорк с его влажным дымным духом портового города и постоянной сменой персонажей, литературный андеграундный Ленинград пятидесятых — шестидесятых, в котором одной из основных стилеобразующих фигур и был Хвостенко:

Кузьма мой дорогой, ты прав во всем, ты — лев  
не только Бруклина с манхэттенской пристройкой,  
но и созвездья Льва, и перешейка Дев,  
и Питера с общественной помойкой.

Чернигов, Харьков, Львов текут к тебе  
по парам слиться с тварию подобной,  
чтоб ток поэтов в Ноевом гнезде  
торчал и доходил опарой сдобной.

(А. Хвостенко. «Из письма К. К. Кузьминскому»)

Неожиданно заканчивается все к часу ночи, бедным художникам надо успеть на метро. Прямо как в Москве. Подвальное общество разъезжается по дальним безликим пригородам или разбредается по комнаткам за Сеной. Деловые французы заснули после очередной серии офранкоязыченного «Далласа» или «ER», переваривая патэ с жареной картошкой из брасси на углу. Моторизованные подростки разлетелись на кожаных крупночешуйчатых крыльях на ночной промысел.

Отдельные изможденные бдением и красным вином завсегдатаи клуба остаются ночевать, становясь ночью неотъемлемой частью сюрреалистической инсталляции в глубокой русской художественной преисподней, парадоксально расположенной на Рю де Паради (на улице Рая).

Нью-Йорк, 1998—1999



## Гранд-опера ориенталь советик

У каждого театра есть документальная история. Но есть и театральная легенда. Без этого театр — не театр.

*Старый театр*л

Чуть ли не с самого детства я был «мальчиком на побегушках». В литературном плане. У собственного отца. Ну, строчку там чужую заменить, четверостишие, а то и перелопатить арию целиком. А дальше пошло-поехало... Я сам не заметил, как стал опытным либреттистом.

### *Семейные фирменные блюда*

Батюшка мой, композитор Владимир Георгиевич Фере, в юности писал суховатую камерную музыку, затем, отдав дань «авангарду» (когда в партитуре встречались не совсем грамотные, но как бы итальянские ремарки типа *«shershe la gazett»*, в соответствии с которыми оркестранты в этом месте *шуршали газетами*), окунулся в стихию весьма специфического в те годы «музагитпропа» — обрабатывал опусы «Рот-Фронта» (*«Ряды крепки! Коммуна близка!»*) и якобы подлинные колхозные частушки (*«Мой миленок — большевик: прочитал немало книг!»*), ваял военно-морские и военно-воздушные марши (*«Победную песню мотор поет, ведет самолет комсомолец-пилот»*), сочинял лихие кавалерийские попевки, которые печатались в серии «Песни гражданской войны» (*«Наливались тополи шумною грозой, по дороге топали кони вперевой»*), а также конструировал неподражаемые «песни ворошиловских стрелков»: *«Бей врага, вороши, ловка, винтовка моя, ворошиловка!»*, пока в двадцать седьмом году судьба не занесла его прямым из Дальневосточной армии под командованием легендарного Василия Блюхера, где бойцы, развлекаясь, втихоря отстреливали уссурийских тигров, в не менее экзотическую местность под общим названием Туркестан, который, как потом выяснилось, населен был вовсе не турками, а различными другими народами — киргизами, казахами, узбеками, таджиками, уйгурами, каракалпаками, дунганями...

Молодой, несколько экзальтированный краснощекий немец (за что тут же получил кличку «кызыл-Пере»), предпочитавший разгуливать не в шляпе с портфелем, как какой-нибудь отработчик или — не дай Бог! — гнилой интеллигент, а в американском — псевдопролетарском — кепи, приобретенном в торговле, и с безумным военным планшетом\* на ремне, в который заносил подслушанные мелодии гор и степей, с ходу и намертво влюбился в этот благословенный солнечный край.

Прилежный ученик Мясковского и Гольденвейзера, покоренный древней Согдианой, уже никогда с ней не расставался...

Он стал одним из авторов Гимна Киргизской ССР и подавляющего большинства довоенных, военных и отчасти послевоенных опер, поставленных в Киргизском государственном ордена Ленина театре оперы и балета, а также «закадрово» или косвенно — через своих бесчисленных учеников и «учеников учеников» (которым я был отдан в либреттисты) — приложил руку к созданию национальных опер во мно-

\* Безумный планшет — подарок командующего Особой Краснознаменной Дальневосточной армией (ОКДВА) Василия Константиновича Блюхера, впоследствии врага народа, расстрелянного, а затем с «понимающим» вздохом реабилитированного.

гих других среднеазиатских республиках, которые ныне стали гордыми и самостоятельными государствами Центральной Азии.

Заявим сразу (как говорят музыкальные драматурги — «на берегу»), что так называемая «национальная опера», которую мы условно обозначили здесь термином Grand-Opera Oriental Sovietique, — вовсе никакой не музыкальный жанр и даже не жанр театралный, а особое социальное, точнее, социально-историческое явление, обладающее целым рядом эстетических, политических и *фантастико-магических* свойств, делающих его уникальным феноменом советской культуры.

Что мы, собственно говоря, и собираемся показать в этих записках. (Точнее — за недостатком журнальной площади — в извлечениях из мемуарных записок.)

### Эра товарища Гомера

В 30-х оперу на советском Востоке внедряли столь же упорно и повсеместно, как впоследствии кукурузу. По идеологическим причинам. Но почему именно оперу? Считалось, что эпос и музыка наиболее близки девственно не тронутым цивилизацией народам. А всякие мелочи, вроде предупреждения Р. Киплинга, что, мол, «запад есть запад, восток есть восток и вместе им не сойтись», отбрасывались как буржуазный хлам.

Поначалу полудикие кочевники, силой (чуть ли не за волосы) выдернутые из первобытно-общинной юрты и с ходу вброшенные в ревущий революционный поток, а затем в бурную стройку социализма в ее советском варианте, никак не могли взять в толк, зачем эти урусы, самочинно наградившие себя званием старшего брата, бестолково пытаются воссоздать зыбкое прошлое, устраивая представления в белой каменной коробке, где на деревянных подмостках метались и рыдали герои, а в темной и загадочной оркестровой яме рявкали медные трубы, грохотали барабаны и тягуче ныли скрипки с непристойными очертаниями крутобедрых красавиц. Пока простодушные зрители не уразумели, что это те же самые сказания, которые всеми уважаемые акыны-аксакалы, спешившись с коня, долгими степными ночами складывают, сидя на верблюжьей кошме или на пахучей траве, скрестив ноги у догорающего костра. Те же старинные легенды, что поют комузчи, изображая струнами, голосом и жестами не только речи и переживания героев, но и все вокруг — шум ветра, шелест арыка и позвякивание стремян и звезд...

И тогда народ (имеется в виду публика) принял всем сердцем эти «ростки нового» (по терминологии тех лет), принял одержимо и восторженно, как дитя, которому подарили красивую игрушку. Неведомый барабан тотчас превратился в знакомое блюдо луны, а ворочание невидимого хвостатого чудовища под названием «симфонический оркестр» оказалось всего лишь ворчанием доброго сказочного дракона.

Каковы родовые признаки эпоса? Всеохватность событий, бесчисленность героев и непомерная длина. «Гранд-опера ориенталь советик» соответствовала всем этим параметрам. Прежде всего длине. (И это было созвучно эстетике восприятия мира на Востоке: к примеру, эпос «Манас» по количеству строк, что засвидетельствовано Книгой рекордов Гиннеса, в десятки раз превосходит «Илиаду».) Все четыре акта (а в довоенной музыкальной драме их бывало и пять, как в пьесах А. Н. Островского) растягивались на труднопредставимое количество часов. Когда-то спектакль начинался в восемь вечера и длился с антрактами до двух ночи. Вообще называть это спектаклем не совсем точно. Это было *общественное мероприятие*. Спектакли давались не каждый день. Из пригородных районов и колхозов централизованно привозили людей на полуторках и допотопных автобусах, а под утро развозили по кишлакам и аилам. Но были и те, кто приезжал верхом на лошадях. Долгие годы Киргизский оперный театр размещался в Дубовой Роще.

Картина такая. К дубам привязаны стреноженные кони. Повсюду стоят ведра. Для коней — с подсоленной водой, для всадников — с пивом. Будущие зрители расположились на земле вокруг ведер. До начала спектакля еще часа три. Знатные колхозники прибыли загодя, днем. Процесс поглощения пива под овечий сыр тоже неспешен, эпичен и столь самодостаточен, что некоторые в театр так и не попадали, а просто терпеливо поджидали своих родственников, сидящих в зале. Но иногда во время антрактов участники мероприятия менялись: те, которые попарились в душном зале, оставались на свежем воздухе попить пива. А те, которые насытились пенным напитком, грузной колесоватой походкой кавалеристов направлялись в храм искусства. И в этом тоже было нечто эпическое, под стать бесконечной опере.

Для полноты картины следует добавить, что терпкая азиатчина — запахи дымящихся уличных мангалов, бараньего жира, конского пота, лошадиной мочи и жел-

того самодельного мороженого, выгребаемого из ржавых жестяных жбанов, запахи, растворявшиеся в тусклом яичном свете редких фонарей, которые уплывали в алычовую духоту южного города с монгололидными глазами; эта азиатская панорама причудливо накладывалась на великодержавные атрибуты Имперского Театра, описанные еще до меня: «...позолота, бархат, конфеты с коньяком, благородные подавальщицы биноклей, суровые администраторы с неременной орденской планкой на сером пиджаке, запах дешевой пудры и дорогих духов «Красная Москва»...»

А в самой опере выше всего ценились не музыка, не певцы и даже не костюмы и схватки на саблях, а *эпическая масштабность зрелищных эффектов*. Восторг зала вызывали: а) водопады, б) звезды и в) костры. В одной постановке величественный горный водопад изображался с помощью многочисленных валиков с шелестящей бумажной бахромой, которые приводились в движение тархтящими электромоторами завода «Кинап», в другой — с использованием настоящей воды, закачиваемой под потолок сцены по шлангу, подаренному театру в порядке шефства правительственной автобазой. Высвечивание звездного неба (почти как в планетарии) сопровождалось такой оглушительной овацией, что продолжать пение было решительно невозможно. Тогда по требованию хитроумных режиссеров композиторами дописывалась специальная, довольно продолжительная инструментальная «пауза» (для परिवаривания залом зрелищного эффекта). А то и вообще перемонтировался спектакль. Помню, в одной из опер появилась даже небольшая самостоятельная картина под названием «Рассвет в горах», в которой ровным счетом ничего не происходило, а на протяжении пяти—семи минут шла только «игра светом»: из полной темноты постепенно выступали какие-то смутные силуэты, которые затем наливались золотом, превращаясь в сияющие горные вершины. Это был триумф художника (такими мастерами были, к примеру, Я. З. Штоффер, а затем Арефьев-старший).

Успех имела также стрельба из лука, пищалей, ружей и особенно из старинных пушек, что сопровождалось одобрителем поцокиванием всего зала. Проникновенная тишина наступала, когда в сценическом ущелье охотники, разбойники или положительные герои-беглецы разводили почти натуральный костер. (В те доисторические времена режиссеры-постановщики были пока еще главнее театральные пожарных, но после крупных возгораний в паре театров, когда «вредители» — не то постановщики, не то пожарники — были расстреляны, а хранители огня стали по совместительству сотрудниками НКВД, эксперименты с пиротехникой прекратились.) Но самый ударный эффект в зрелищной цепи — это когда эпический герой выезжал на сцену верхом на белом жеребце и, воздев батырское копые к колосникам, заводил свою могучую арию. Театральная легенда гласит, что наивысший успех типовой оперы был зафиксирован на том спектакле, когда белоснежный скакун — к всеобщему восторгу публики — наложил на сцену ароматные катыши. Вопреки пафосу арии, зал взревел и радостно застонал, как то бывает только в цирке! Эпос...

Национальная опера — это способ выживания (бытования?) эпоса в условиях социалистической действительности.

### *Опера длиною в жизнь*

*Эпическая масштабность* сценического воплощения Grand-Opera Oriental Sovetique была заложена и в *сам процесс создания* национальных опер. Где-нибудь в далекой Москве бытовало самое превратное представление о написании опер в Средней Азии, опирающееся на общепринятые стереотипы: мол, некий композитор, задумав нечто, обращается к либреттисту, тот садится за машинку, композитор за рояль, и наконец оба несут свой свежиспеченный опус в театр. Эмне деген сандырак!\*

Можно ли себе вообразить, что некий художник набрасывает эскизик плотины — и вот уже ее начинают возводить в зыбучих песках?

О Всемогущий Аллах! Создание оперы на советском Востоке было далеко не частным делом ее автора, а *важнейшим государственным мероприятием*. И приравнивалось по меньшей мере к возведению той самой плотины. К стройке коммунизма. К пуску нового оросительного канала в пустыне!

Замысел оперы рождался где-то в недрах правительственного аппарата (с учетом многофигурной конъюнктуры на данный момент). А затем вручался для разработки «творческой бригаде». Любопытно, что точно так же было и в Китае времен «культурной революции», а в стране «славных идей чучче» авторы современных опер и по

\* Какая чушь! (*кирг.*)

сей день анонимны. Их коллективный создатель — ревком театра. В предыдущей главе мы вовсе не случайно упоминали композиторов и либреттистов во множественном числе — это и есть метод работы творческой бригады. У национальной оперы было, как правило, два композитора (один выступал в качестве народного мелодиста, другой — европейского разработчика). Наше фирменное семейное блюдо готовили порою даже трое поваров-композиторов: Абдылас Малдыбаев, В. Власов и В. Фере. Причем в ряде случаев — из-за недостатка времени — к ним подключался еще один человек — инструментовщик. К этой музыкальной кватриге была пристегнута и четверка литскакунов: автор первоисточника (романа, повести), национальный драматург (но не всегда он был в ладах со стихами, и тогда появлялся еще один стул — для поэта) и пара опытных русских либреттистов (как правило, евреев).

Работа протекала следующим образом.

После долгих, шумных и дымных (папиросы «Казбек» + бараний шашлык) совещаний, когда на столе среди закусок и окурков возлежал проект-подстрочник с кратким изложением сюжета, сочинялся русский вариант, к примеру, первой картины в стихах, который затем переводился на киргизский, и с ним начинали работать композиторы, тем самым давая передышку либреттистам для работы над второй картиной. Но так как сочинять музыку на чужом языке все-таки трудновато (сложности с плавающими в тюркских языках ударениями), композиторы постепенно съезжали на русский, а поэт на ходу вторично и эквиритмично переводил на киргизский стихи, каковые и предстояло петь оперным исполнителям в театре. Но в мучительном процессе написания музыки вокальная строчка начинала вести себя, словно блудливая жена, и уходила как от киргизского перевода, так и от первоначального русского текста. Ценою героических усилий киргизский текст кое-как утрясали. (В основном с помощью бесчисленных лиг.) Но тут возникала новая головная боль: оперу необходимо было показывать разным приемочным комиссиям, сдавать в Главрепертком\*, отрывки записывать в Москве на радио и пробивать в Музгизе. И все это на русском (которого в результате нет)! Вот тут-то к либретто подключался еще один персонаж, а именно ваш покорный слуга, делая еще один обратный, эквиритмический и по возможности вразумительный перевод, ибо измученная «творческая бригада» была уже не в состоянии свести концы с концами по причине творческих разладов и внутритеатральных интриг. (Ведь не следует забывать, что на каком-то промежуточном этапе создания оперы к «творческой бригаде» подключалась «бригада постановочная»: пара режиссеров, пара балетмейстеров, дирижер и художник, а отдельные представители обеих творческих бригад представляли к тому же по совместительству и интересы отдельных солисток оперного театра...)

Но работа над оперой осложнялась не только благодаря двуязычию. Главным тормозом оперы был, как ни странно, сам заказчик. (Напомним, что ее замысел некогда родился в недрах правительственного аппарата.) А кто заказывает музыку, тот ее и портит... Бесчисленные мелкие придирки бесконечно затягивали процесс завершения оперы. А время, как известно (при социализме), работает против нас. И вот за время сочинения оперы свершались следующие ужасные события: 1. В республиканском правительстве происходили кадровые перестановки — во главе Комитета по делам искусств оказывался человек, которому нужна была совсем другая опера. 2. Внезапно обнаруживалось, что главный герой (в свете новых исторических концепций) — буржуазный националист, находящийся под влиянием панисламизма и пантюркизма. 3. События оперы даются в ярко выраженной «алаш-ордынской» интерпретации. 4. Академия наук выносила заключение, что сам эпос, положенный в основу оперы, несет в себе вредную феодально-байскую (вариант: бай-манапскую) идеологию. 5. Опера может серьезно осложнить отношения с сопредельным государством (имелся в виду, например, Китай, войска которого по сюжету разбиты в пух и прах). 6. Автор романа-первоисточника подвергнут травле и снят со всех постов.

Начиналась (после шока) работа над новым вариантом оперы, «очищенной от вредных наслоений». (Герой получал другое имя, события сдвигались на век назад, художники меняли костюмы врагов, делая их сказочно-нейтральными, эпос обогащался приметами пролетарской революции, а автором романа-первоисточника объявлялся другой адиб\*\*, только что ставший председателем Союза писателей и у которого как раз был на выходе похожий типовой роман.) Роясь в нотной библиотеке театра (если она сохранилась), вы непременно обнаружите на нотах и суфлерских экземплярах каллиграфические надписи тушью, типа: *3-я редакция оперы, переработанный вариант либретто, обновл. вариант (после Июньского Постановл.)* и т. д.

\* Псевдоним строгой тетушки Цензуры.

\*\* Писатель (тадж.).

Но никто не жаловался. Почему? Раскроем тайну. Пройдя суровую школу жизни, авторы приобрели известный навык выколачивать деньги за любые переделки, «необходимость в которых возникла не по вине авторов». Но это еще не полная победа! До сих пор ликующей песней звучат для меня слова пункта 17 типового договора: «Если произведение переработано более, чем на 25%, авторы имеют право претендовать на перезаключение договора со 100% (стопроцентной) оплатой гонорара». Итак, если заказчики освоили юридическую казуистику, то композиторы — бухгалтерию, скрупулезно подсчитывая количество переработанных тактов, дабы получить искомое.

С детства я только и слышал слова «перезаключение» и «продлонгация», наивно принимая их за музыкальные термины, вроде «переложение» или «largo». Так что можно было существовать вполне безбедно, если вы овладели искусством вовремя подставлять под золотой дождик идеологически выдержанный такт.

В итоге пятилетний срок работы над оперой стал нормой и уже никого не страшил\*. Все были при деле.

Ars longa — vita brevis est\*\*.

### От Сталинабада до Голливуда

Главный папин либреттист и мой строгий наставник — Виктор Владимирович Винников (ВВВ), впоследствии написавший с Исааком Дунаевским оперетту «Вольный ветер», которая, по сведениям ВУОАП\*\*\*, сделала в Советском Союзе и странах Восточной Европы сборы, адекватные сборам «Сильвы» Имре Кальмана (а следовательно, он кое-что понимал в своем ремесле), доверительно говаривал мне: «Это у обычной оперы есть сюжет, а у советской восточной оперы должен быть “сюджет”»... Он имел в виду целый комплекс эстетических особенностей Grand-Opera Oriental по-советски. Вот кое-что из того, что я намотал на ус, видел на сцене и применял сам.

1. Джигит, не гони лошадей. Никакого темпа. Если европейская школа требует скорейшего введения зрителя в курс дела, то восточная традиция придает огромное значение *экспозиции*. (На которую отводилась порою вся первая картина.) А в дальнейшем замедленность (некоторое топтание на месте) достигалась повтором уточняющих реплик. «Джапар, бежим!» — не пойдет, куцевато. В результате пелось следующее: «Поверь, Джапар, поверь...» — «Во что поверить должен я?» — «Бежать нам надо, надо нам бежать». — «Бежать, Айгуль?» — «О да! Бежать, Джапар. Бежим, бежим!» (*Убегают.*)

2. Действующие лица. Однозначность характеров. Если герой, то герой, если злодей — злодей. Гамлетов просят не беспокоиться. В ТЮЗах персонаж без обиняков сообщает залу: «Я ужаснейший злодей, всем известный Бармалей!» В типовой ориенталь по-советски обязательна была сцена заговора: мол, мы сейчас устроим им (возлюбленным, большевикам, колхозникам) большую бяку. Дуэтино нехороших людей: «Будет, будет худо им, страшный вред им причиним!» А хор бесстрашных воинов (за сценой) тотчас откликался: «Кзыл-аскеры\*\*\*\* на-чеку\*\*\*\*\*, мы дадим отпор врагу!»

3. Таинственное узнавание, прошивающее «сюджет» насквозь. По родинке на бедре опознают украденную дочь Принца, а по сабельному шраму на плече — посланного на царскую каторгу племянника революционного героя. Когда через много-много лет мы увидели все это сначала в индийском кино, а затем в мексиканских сериалах, я с отвисшей челюстью припомнил уроки ВВВ (как если бы опознал своего покойного учителя по родимому пятнышку в неизвестных киносценариях!). Мы-то это уже проходили. И написали. Это древняя восточная традиция.

Подобно Голливуду периода «розовых грёз и белых телефонов» советская национальная опера легко и без усилий совмещалась с эстетикой *сказки* — вопреки всем

\* Справедливости ради следует отметить, что абсолютный рекорд длительности написания оперы принадлежит все же — вопреки сложившейся тенденции — не Grand-Opera Oriental Sovietique, а русскому композитору Ю. Шапорину, сочинявшему оперу «Декабрь» 25 лет, то и дело перезаключавшему договоры и регулярно получавшему очередное пособие.

\*\* Опера — жутко длинная вещь, помрешь скорее (*прибл. пер. с лат.*).

\*\*\* Всесоюзное управление по охране авторских прав, которое, несмотря на поношения авторов, исправно их кормило.

\*\*\*\* Красноармейцы (*туркск.*).

\*\*\*\*\* Словосочетание «на-чеку», которое в 30—40-е писалось через дефис, было дежурной рифмой, напоминавшей о необходимости всенародной бдительности.

догмам соцреализма! — а не с окружающей действительностью. (Несмотря на то что действие могло происходить в передовом колхозе или на строительстве канала.)

Трудно ли сочинять одопись, строго придерживаясь незыблемых правил? Это смотря кому. В недолгие времена «оттепели» Т. Н. Хренников успел высказаться по поводу национальной оперы с какой-то пленумной трибуны: «И чем меньше был талант, тем лучше он уживался с железобетонной схемой».

«Повышенная чувствительность и ложная красивость. Экзальтация и банальность. Пышные фразы и бедный язык. Резкие контрасты между добром и злом. Калейдоскоп измен, обманов, встреч и разлук». Что это? Продолжение язвительного анализа эстетических особенностей Grand-Opera Oriental Sovietique? Как либреттист я был бы весьма уязвлен. Но это уже не цитата из Хренникова. Совсем другой автор, Корней Иванович Чуковский. И пишет он совсем о другом. Это он даёт характеристику писаний Лидии Чарской. Но, Боже, как похоже! Не хватает только красных знамен и Доски почета! А все остальное — совпадает.

Пышные фразы и бедный язык — это торжество пустословия и безмыслия. Один оперный композитор, составляя для меня ритмическую болванку (иначе ее называют «рыбой» — из-за немоты), признался, что для него самый удобный текст — это «ля-ля-ля»... Отсюда недалеко до полной вампуки. Напомним, что возникновение этого термина связано с воспитанницами института благородных девиц, которые встретили своего попечителя торжественным песнопением на мотив из оперы «Роберто Диаболо»: «Вам пук, вам пук, вам пук цветов подносим!..»

В торжественном шествии самоутверждавшейся национальной оперы сталинских времен было нечто мистическое и фатальное. Глава Федерации израильских писателей Ефрем Баух (знакомый с предметом) впоследствии так описывал это красноречивое наваждение в романе «Солнце самоубийц»: «Казалось, оперу пишут все, одну нескончаемую оперу, ставящуюся на одной вертящейся сцене огромной страны, где господствует лишь один феномен,— все, высвеченное сценой, уносится на дантовом кругу за кулисы, во тьму, проваливаясь в бездонные трюмы театра».

Так было в жизни. А на сцене Grand-Opera Oriental Sovietique — даже самая трагическая — непременно имела счастливый конец. Так кто в конце концов изобрел *Harpy end?* Голливуд? Каракумские пески старше калифорнийских пляжей. Истоки Голливуда в древнем царстве Караханидов\*. Там дворцовые представления подле журчащего арыка и искусственного водоема разыгрывались еще в те времена, когда въезд в Америку был закрыт по причине ее неоткрытия... Вся разница только в том, что опера ориенталь по-советски завершалась не поцелуем в диафрагму, а установлением Советской власти, пуском плотины и грандиозным пиршеством...

### Финальные пиршества

Непременным элементом (атрибутом?) Grand-Opera Oriental по-советски, написанной по всем правилам социалистического реализма\*\*, являлось *финальное пиршество*. Здесь необходимо отметить, что пиршества на оперной сцене и в быту таинственным образом переплетались, взаимно дополняя друг друга, чем подкрепляли марксистский постулат о неразрывности искусства и жизни\*\*\*. Причем оба рода пиршеств носили *ритуальный* характер. Так в жизни оперные возлияния имели следующие градации:

1. Междусобойчики композиторов и либреттистов (обмывка замысла, окончание работы над первым актом, читка первого варианта либретто, прослушивание клавира, завершение партитуры). 2. Встречи с дирижером (допустим, с Целиковским, папой знаменитой киноактрисы), с режиссером (допустим, с Васильевым, секретным сотрудником КГБ), с ведущими солистами театра (допустим, с Народной артисткой СССР Сайрой Киизбаевой, по прозвищу Ханша), с многочисленными директорами театра (увы, они менялись быстрее, чем создавалась опера). 3. Авторская группа и постановочная бригада совместно вызывают к себе (приглашают, затаскивают) Особо Ответственное Лицо из Компартии Республики или Правительства — якобы неофициальный, дружественный «отчет о проделанной работе» (эй, молодежь, известен ли тебе этот тоталитарный термин?), своего рода «прошупка», которая была порою намного важнее официальной сдачи. 4. В этой цепочке следует упо-

\* Недаром в телекиношные сериалы заложено слово *опера* — «мыльная опера».

\*\* Социалистический реализм, согласно утверждению одного чешского искусствоведа, — это точно выверенная сумма строгих законов и застывших стереотипов.

\*\*\* Это подметил еще старый парадоксалист Оскар Уайльд: «Не искусство подражает жизни, а жизнь — искусству».

мануть также ритуальные пикники на лоне природы (под видом рыбалки, охоты, чьих-то именин) с участием ответработников, так называемого *Аппарата*, ибо без такой поддержки, без постоянных кураторов (по нынешнему раскладу — спонсоров), грубо говоря без «круговой поруки», выпустить *эпохальный оперный спектакль* было практически невозможно.

Непьющему или страдающему несварением желудка композитору работать в Средней Азии (которая ныне стала Центральной) было противопоказано. Мой батюшка, к счастью, был лишен этих недостатков и поэтому совмещал полезное с приятным, обычно беря на себя роль тамады, и на этом этапе заметно оттеснял на задний план своего постоянного соавтора Власова и главного либреттиста Винникова, которые придерживались диеты. Злые языки утверждают, что именно это качество — роль радушного, открытого, всегда оптимистично настроенного жизнелюба с горящим взором и улыбкой на устах — обеспечивало ему особую популярность в среднеазиатском регионе. Не стану спорить... Музыковеды уже давно выяснили, что товарищ Моцарт был великолепен не только за клавирами, но и с бокалом мозельского на придворных балах.

И вот — по закону диффузии — эти коллективные возлияния самым естественным образом постепенно просачивались в «*сюджет*» очередной оперы и в конечном итоге перетекали на *сцену*, где затевалось очередное пиршество, адекватное — согласно кодексу классицизма Николы Буало — времени и месту действия.

Grand-Opera Oriental по-советски имела несколько стандартных подвидов:

1. Древняя (якобы языческая)\* легенда (обычно опера-балет о победе светлых сил над черными).
2. Историко-революционная (обычно о народном восстании).
3. Опера на тему гражданской войны (обычно об установлении Советской власти в последнем, отдаленном, затерянном в горах кишлаке).
4. Колхозная.

В соответствии с этим делением поводы для финальных пиршеств отыскивались поднаторевшими либреттистами с необычайной легкостью. В опере-сказке победа Батыра над злым Дэвом завершалась всеобщим ликованием народа, праздником на городской площади и щедрым угощением бедноты. В историко-революционном варианте пышная ханская свадьба, где Хан (без любви) брал себе в жены молодую красавицу батрачку, неожиданно завершалась революционным переворотом, ловко подстроенным героем джигитом, и тогда этот красавец джигит, в недалеком прошлом ханский батрак, а ныне предводитель народного восстания, сам женился (уже по любви, постепенно зрешей все три акта) на своей возлюбленной, буквально вырванной в последний момент из грязных лап сластолюбивого Хана, — всеобщее ликование народа, пир в роскошном ханском дворце, щедрое угощение бедноты... Опера в ее колхозном варианте обычно завершалась пуском плотины (в пустыню пришли вода\*\* и свет!) или праздником урожая, на котором передовому колхозу вручалось переходящее (из оперы в оперу) Красное знамя, что, естественно, сопровождалось всеобщим ликованием народа и праздником на белоснежном теле плотины, внезапно озарившейся электрическими гирляндами. Или во фруктовом саду, в который с колосников спускались огромные корзины с дынями и яблоками, увитые муляжными виноградными кистями, что должно было символизировать социалистическое изобилие. Ну и в самом финале, разумеется, щедрое угощение тружеников села... Причем к заключительному тосту героини (финальная ария) присоединялся человек, скромно обозначенный в либретто как секретарь райкома, но постановочный фокус заключался в том, что актер, исполнявший эту эпизодическую роль, был загримирован с легким намеком на первое лицо республики... (*Потаенно-одобрительный шепоток в зале.*)

Нетрудно себе представить, что все вышеперечисленные финальные пиршества на *сцене* неотвратимо провоцировали на премьерном спектакле естественное продолжение за *кулисами*, в уже накрытом репетиционном зале, куда немедленно устремлялись высокопоставленные гости и не совсем разгримированные артисты. Разве не пикантно чокнуться со всемогущим Ханом или отечески расцеловаться с прелестной батрачкой (на худой конец с ударницей труда)? А в соответствии с замыслом наиболее изобретательных режиссеров на моей памяти столы с яствами выносили прямо на сцену с едва опустившимся занавесом, и гости вместе с участниками спектакля небрежно располагались в ханском шатре или на белоснежной площадке сияющей огнями пло-

\* Языческая — значит «домагометанская», ибо любые упоминания об исламе в мусульманских республиках были запрещены.

\*\* И вовсе не по воле Всевышнего. Напомним, что в популярной песне о Сталине утверждалось: «По слову его молодому забила вода ключевая в сыпучих-горючих песках...»

тины. Круг замыкался. «Возвращается ветер на круги своя». Пиршество снова перетекло назад в жизнь. А как вы хотели? Искусство — учебник жизни. Или как говаривала одна поэтесса: «А искусство и есть жизнь, только в форме сгущенки».

Ах, не там ли, на послепремьерных банкетах, где аромат хрустящих баурсаков, лагмана, шампанского и кумыса смешивался с благоуханием славы и успеха, с одурманивающим запахом кулис — этого неповторимого коктейля из бутафорского клея, декорационной пыли, нагретого софитами воздуха и едкого пота мужских и женских тел, принимались судьбоносные решения: кому дать звание, кому квартиру, а кому прикрутить вожделенный орден... (Именно после одного из таких банкетов в честь премьеры музыкальной драмы «Аджал Ордуна» — Не смерть, а жизнь! — один из авторов либретто выразился цинично, но предельно точно. Он заявил: «“Аджал Ордуна” — отжал ордена...»)

Любопытно отметить, что, независимо от подвидов оперы ориенталь по-советски, драматургическая структура финальных пиршеств практически не менялась. Она была слишком хорошо разработана несколькими поколениями либреттистов.

В музыкальном плане финалы эти были сложены из нескольких взаимозаменяемых кубиков. Ниже — ненужное зачеркнуть.

Грандиозный той после реплики Глашатая (революционного Гонца, Радиоре-продуктора на столбе) начинался с плавного танца Девушек, затем следовала речь (ария) уважаемого Аксакала (русского Комиссара-большевика, проникновенные слова колхозного Парторга. Новаторский вариант: реминисценция жалостливых комических куплетов арестованного басмача), далее шел кокетливый (ныне мы определили бы его как мягкую эротику) танец тех же Девушек, но уже в других костюмах (которые они успевали сменить во время пафосной речи Парторга или фальшивых стенаний басмача). Танец этот перебивался огнедышащей пляской Джигитов, и, наконец, финальное дуэтино героя и героини, перерастающее в заключительный, торжественный, сверхмогучий Хор (на премьере к хоровому цеху театра опытный режиссер подключал все самодеятельные коллективы города — таким массовкам мог бы позавидовать сам Сергей Эйзенштейн). Хор завершался каким-то значительным словом, но непременно с открытым «а», типа «ПришлАА водАА!», «Счастье льется через крААй!», «Нам крылья Сталин дААл!», но чаще всего универсальным «На-все-гдАА!!!», а то и бесхитростным «УрААА!», которое нередко подхватывал зрительный зал, как по команде поднимавшийся с мест, ибо в правительственной ложе вставали рукоплещущие вожди.

В довоенные времена финальный той занимал весь *четвертый акт*, а в более поздние годы — в связи с сокращением продолжительности спектаклей — последнюю картину третьего акта. Но общий закон крепко сколоченного либретто продолжал работать: *чем пышнее был финал, тем прочнее был успех*. Как в самой республике, так и в Москве во время проведения так называемых «декад национального искусства». С этим вынуждены были соглашаться даже вездливые музыковеды, которым почему-либо не понравилась музыка. В этом случае, опустив головы, они застенчиво бормотали: «Но это, безусловно, постановочно, безусловно, постановочно...» Либреттисты только ухмылялись про себя: «Наших, мол, рук дело, вот как надо «уюзом» косить!» Они испытывали заслуженное чувство гордости. Причем успех был результатом не только сухого расчета авторов. Они старались угадать дыхание времени и выполнить его «социальный заказ» в своей описи. Море цветов, огней, плакатов и знамен в «финальном пиршестве» отражало незыблемость веры в чеканную поступь Великой Державы, семимильными шагами спешавшей в светлое будущее.

Не следует думать, что СССР рухнул в 91-м. Или что нечто ужасное произошло в 85-м, когда господин (тогда еще товарищ) Горбачев замастырил свой знаменитый антиалкогольный указ (запретивший, кстати, и театральные банкеты — сиречь финальные пиршества). У старых либреттистов своя точка отсчета. Мы перестали закладывать в «суджет» «финальные тои» еще где-то в середине 60-х. В театре лопнула какая-то струна, а значит, она лопнула и в жизни. Социальный заказ на финальные пиршества как-то бесшумно испарился. А оперу про поездку в столицу за колбасой в пресловутой «колбасной электричке» не напишешь. Разве что оперетту... Вот так незаметно для себя я и переквалифицировался в управдомы. Пардон, в сочинители мюзиклов...





## Сентябрь

**1.9.1933**

Вышел научно-фантастический роман Герберта Уэллса «Облик грядущего», в котором предсказывалось, что мировая война начнется в 1940 году. Романист ошибся ровно на год. Германия напала на Польшу 1 сентября 1939-го. С другим предсказанием, сделанным в том же романе, кажется, обстояло несколько иначе. По мысли Уэллса, война окончится в 1970-м. Между тем и здесь он по-своему прав и почти точен, если учитывать период «холодной войны», постепенно затихавшей.

**2.9.1945**

Вторая мировая война кончилась не так, как это описывал знаменитый сочинитель. Тем не менее концовка ее была явно сочинена, а потому выглядела нарочито картинной. В считанные дни раздавленная Советской Армией императорская Япония капитулировала. Стремительность броска на Восток, его мощь и демонстративность подразумевали обязательный взгляд со стороны, присутствие зрителей. Америка разыграла свой собственный спектакль, пусть скромнее по затраченным средствам, но куда замысловатей. День, выбранный для подписания окончательной капитуляции, выбран был неспроста. Словно вычеркивались все долгие военные годы, словно война продолжалась ровно сутки. И место, где проходила церемония, не столь случайно, как может то показаться: на линкоре «Миссури» хранилось знамя командора Мэтью Перри, под командой которого в свое время была разрушена изоляция Японии, а японские порты открыты для американских кораблей. И главный участник церемонии с американской стороны не случаен — генерал Д. Макартур, известный фразой, которую он произнес, покидая Филиппины: «Я еще вернусь!» Все донельзя театрально, все обставлено так, чтобы унижить капитулирующую сторону, возвыситься над прочими участниками церемонии и создать исторический прецедент. Это отмечают очевидцы. Отмечают, но при том увиденное произвело впечатление и запомнилось крепко: «И вот, полностью выдержав задуманную паузу, из салона командира «Миссури» появляется Макартур и другие представители союзных армий. Вижу непроницаемое лицо генерала Деревянко, одетого в суконный китель, хотя духота тропическая. Макартур раскладывает на столе несколько «вечных» ручек. Зачем столько для одной подписи? Сигемицу садится на единственный стул и подписывает акт от имени императора, генерал Умэдзу, стоя, — от имени императорского генштаба». Еще не все. Теперь главное, ради чего и выстраивалась мизансцена: «Макартур подписывает акт в несколько приемов. После каждого слога своего имени и фамилии меняет ручку и дарит ее как сувенир коллегам. «Ду» — дарит Деревянко, «глас» — вручает адмиралу Нимицу, «Мак» — английскому адмиралу Фрейзеру, «ар» — китайцу Су-Юнчану. Последнюю ручку берет себе — «тур». Девять часов с минутами утра. С диким ревом над кораблем проходят самолеты. Ошибка, вероятно, так никогда и не осознанная, была лишь одна: создавая спектакль на историческую тему, генерал Макартур не позаботился о реликвиях (точнее сказать, собственными руками их уничтожил, растащивая). Реликвий не бывает много, они единичны.

**3.9.1935**

Начал действовать новый закон о школе, который усиливал власть учителя и ужесточал школьную дисциплину. Последствия этого закона если не отзываются до сих пор, то навсегда отпечатались в душах людей, вплоть до принадлежащих к моему поколению.

**4.9.1946**

В Постановлении ЦК КПСС, посвященном кинематографу, отрицательно оценивается вторая часть фильма Леонида Лукова «Большая жизнь», а также работы

Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Григория Козинцева и Леонида Трауберга. Очередной пример странного сталинского чувства равновесия: положительно оценить первую часть картины и уничтожить вторую, возвеличить одну часть творческого пути человека (как было с Козинцевым и Траубергом) и заклеить другую. И так до бесконечности.

**5.9.1919**

Погиб герой гражданской войны Василий Иванович Чапаев, человек, ставший прототипом одного из самых колоритных персонажей советского фольклора. Кстати, фольклорная фигура Василия Иваныча создавалась стараниями не только сочинителей анекдотов. В пособии по военной науке, выпущенном в восьмидесятые годы Воениздатом, методы командования подразделялись на демократический, попустительский, волюнтаристский и чапаевский.

**6.9.1989**

Более сорока тысяч парижан получили официальные письма. Текст гласил, что адресат обвиняется в убийстве, вымогательстве и сутенерстве. Письма были разосланы вместо извещений о дорожном штрафе в результате ошибки компьютера.

**7.9.1911**

Поэт Гийом Аполлинер арестован. Его подозревали в том, что это он похитил из Лувра картину «Мона Лиза». Аполлинера вскоре выпустили, а судьба пропавшей картины долго оставалась невыясненной.

**8.9.1914**

Русский летчик П. Н. Нестеров впервые применил таран. Человек сознательно обменивает свою жизнь и доверенную ему машину на жизнь и машину своего противника. С усилением мощи военной техники подобное уравнение меняется: человеческая жизнь и машина могут быть обменены на большее количество жизней и единиц техники. О том, каково значение подобного обмена в разных культурах, например, у русских или у японских камикадзе, следует подумать.

**9.9.1991**

В Санкт-Петербурге была зарегистрирована первая в России Ассоциация защиты прав гомосексуалистов. Название ее, выбранное устроителями, заимствовано из знаменитого романа «Крылья», написанного Михаилом Кузминым. Непоказная культурность, следование традициям вообще отличают жителей этого прекрасного города. И даже дамы в Санкт-Петербурге особые. Ведь и самые рьяные радательницы женской свободы не выбрали же для ассоциации лесбиянок название, отсылающее к другому знаменитому в свое время роману — «Тридцать три урода», принадлежащему перу Л. Зиновьевой-Аннибал и посвященному теме прямо противоположной теме книги Кузмина. Вкус продемонстрировали представители обоих меньшинств.

**10.9.1987**

После тридцатипятилетнего запрета Вестминстерский совет, невзирая на протесты медиков, разрешил проводить в Лондоне публичные сеансы гипноза. Притом гипнотизеру Эндрю Ньютону было поставлено условие: он не должен демонстрировать регрессию — возвращение людей в детство.

**11.9.1915**

Открыт первый британский институт для женщин. Интересно не это. Интересно, где он был открыт: в Ллэнфэйрполлгойнгиллгогерихойрндробболллллэнтисилиогогогох, в Энглеси, Уэллс. Название, которое ни с чем не спутаешь.

**12.9.1943**

Блестяще проведена едва ли не самая известная операция спецчастей в мировой истории. Немецкие десантники, которыми командовал Отто Скорцени, на легких самолетах приземлились в Апеннинях и освободили захваченного итальянскими партизанами Бенито Муссолини. У Скорцени впереди была слава всенародного героя, а у Муссолини — организованная им республика Сало, недолгий период правления, смерть и посмертная позорная казнь.

**13.9.1989**

Очередная компьютерная ошибка, на сей раз произошедшая в Британии. За каких-то полчаса на счета клиентов перечислены лишние два миллиона фунтов стерлингов. Остается только верить позднему утверждению подконтрольной Сити-банку компании, будто 99,3% переведенных денег в конце концов клиентами возвращены в целости и сохранности.

**14.9.1975**

Папа Павел VI канонизировал Элизабет Энн Бейли Сетон. Наконец-то и в США появилась собственная местная святая.

**15.9.1974**

В Москве бульдозерами уничтожена открытая на пустыре выставка неофициальных художников. Пройдут годы, и устроители выставки отквитаются. Справляя своеобразный юбилей, они возьмут ни в чем не повинный бульдозер и чего только с ним не сделают.

**16.9.1987**

В Южной Африке, в Йоганнесбурге, впервые в пьесе «Отелло» главную роль исполнял черный актер. Если бы режиссер рискнул и роль Дездемоны также играла бы черная актриса, это было бы необыкновенно стильным зрелищем.

**17.9.1947**

Принес присягу министр обороны США Джеймс Форрестол, известный тем, что несколько лет спустя он бросился из окна, крикнув: «Русские идут!» Все-таки великий Стэнли Кубрик, снимая фильм «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбить атомную бомбу», создавал не комедию, а психологическую драму: оседлавший бомбу человек в ковбойской шляпе — лишь тень реальности, тень, отразившаяся на полотне экрана.

**18.9.1981**

Франция отказалась от гильотинирования. Бедная «красная вдова» (как звали французы гильотину) — ей и так было одиноко без мужа.

**19.9.1935**

Умер Константин Эдуардович Циолковский, философ и ученый, считавший, что смерти не существует: человек — это соединение атомов, а ведь атомы бессмертны, покинув одно соединение, они войдут в другие.

**20.9.1906**

В Китае императорским указом запрещено в течение десяти лет использовать опиум. Запрет не только бессмысленный (с опиумом здесь боролись давно, но еще в 1832 году контрабандой ввозилось тридцать тысяч ящиков его), запрещая, не старались даже улучшить здоровье нации. Напротив, была предпринята попытка воздействовать на ментальность китайцев и подобным образом подавить национальный дух. Точно так же, уже при коммунистическом правлении, китайцам было запрещено использовать «И Цзин», «Книгу Перемен», по которой они любили гадать. В обоих случаях оказывалось рациональное давление на иррациональный китайский характер.

**21.9.1914**

Успешные действия русских войск в Галиции, действия, не давшие ничего, кроме великой солдатской песни:

Брали русские бригады  
Галисийские поля,  
И достались мне в награду  
Два солдатских костыля.

**22.9.1936**

Арестован Карл Радек, партийный деятель, прославившийся не какими-то своими — положительными или отрицательными — деяниями, а тем, что сочинял анекдоты и был записным остроумцем (по крайней мере такая легенда сложилась вокруг него). Но — пусть это покажется также легендой — арестован он был не потому, что мешал Сталину либо претендовал на первые места в государстве, скорее Сталину, обладавшему своеобразным юмором, не нравился юмор Радека. Вспоминая опять-таки легендарный радековский каламбур о его споре со Сталиным: «Я ему — сноску, а он мне — ссылку, я ему — сноску, а он мне — ссылку» и сравнивая этот тип юмора с юмором сталинским, построенным не на словесных совпадениях, а на игре ситуациями, паузами, говорящим молчанием, можно попытаться представить, что же столь раздражало Сталина в уничтоженном им шутнике.

**23.9.1966**

Америка заявила, что станет обрабатывать химическими веществами вьетнамские джунгли, дабы лишить противника его укрытий.

**24.9.1989**

В этот день папа Иоанн Павел II заявил, что Галилей все-таки прав. Своим заявлением он хотя отчасти и бросал тень на служителей церкви в прошлом, зато напрочь разрушал обаяние легенды, связанной с именем Галилея. Если естествоиспытатель сначала с упорством защищал свою правоту (которую лучше всего способна подтвердить история и которая не зависит от субъективных оценок), а потом от своей правоты (не зависящей от субъективных оценок и только растущей в веках) отрекся, то, пусть он и прав, правоте его грош цена. И все по той же причине: истина,

заявленная Галилеем, не зависит от субъективных оценок, но от субъективных оценок, принадлежащих ему, зависит сама личность, зависит говорящий. Иными словами, ради чего стоило затевать спор, а потом идти на компромисс, отступить?

**25.9.1959**

Премьер-министр Цейлона Соломон Бандаранаике смертельно ранен из пистолета буддийским монахом. Ситуация, достойная быть воспетой в лимерике.

**26.9.1984**

Китай и Британия договорились о том, что в 1997 году Гонконг отойдет под китайский контроль. Никто не знал, как много изменится в мире за эти годы.

**27.9.1960**

В Лондоне начал действовать первый в Европе «движущийся тротуар», тогда казалось — механизированное будущее вот-вот наступит.

**28.9.1978**

Папа Иоанн Павел I, пробывший главой католической церкви только тридцать три дня, найден мертвым в его личных покоях. Несмотря на то что экспертиза ничего не дала, версия об убийстве существует до сей поры. Любопытен аргумент, использованный против одной из книг, автор которой рассматривал возможность насильственной смерти: долгое правление папы римского — редкость, в традициях частая смена людей, занимающих высшую ступень религиозной иерархии, ведь выбирают, как правило, люди пожилые. Впору напомнить анекдот советского периода: перед тем как выбрать Генерального секретаря КПСС, внимательно изучают его медицинскую карту, у кого она толще, у того и больше шансов быть выбранным.

**29.9.1960**

Н. С. Хрущев на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам о колониальных народах и разоружению, очень недовольный ходом этой Ассамблеи, стучит по столу ботинком во время выступления американского представителя. Этот стук был слышен на весь мир, ибо в качестве резонатора служили пространства огромной ядерной державы. В нынешней ситуации нашим государственным деятелям можно стучать хоть отбойным молотком — на них не обратят внимания.

**30.9.1920**

В Доме искусств на званом обеде чествовали посетившего Россию Герберта Уэллса. Очевидец отметил в дневнике: «Уэллс был против общей собственности. Горький защищал ее». Интересно, что именно во время этого путешествия английского романиста женщина, жившая у Горького в качестве своеобразного члена семьи и вошедшая в историю под тройной фамилией Бенкендорф-Будберг-Закревская, покинула горьковский дом и отправилась вслед за Уэллсом. Причины ее отъезда комментировать вряд ли есть нужда. Добавить следует и другое. Присутствовавший на том же званом обеде Виктор Шкловский много позднее вспоминал, что он, не сдерживаясь, крыл Уэллса последними словами, а Горький доброжелательно говорил переводчице: «Вы это подробней переводите». Впрочем, в иных источниках (кроме громогласных воплей Шкловского) также зафиксирована сказанная им на обеде фраза: «Мы лишены возможности говорить членораздельно». Шкловский в те времена был левым эсером и относился к новым властям отрицательно.



Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

## Педагогическое путешествие

Почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой, для выражения себя... Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя...

*Л. Н. Толстой. Из письма к Н. Н. Страхову*

Из 30 020 прожитых дней семьдесят девять Лев Николаевич Толстой провел в Германии. Он побывал здесь во время двух своих заграничных путешествий: в первый раз — в июле 1857 года, потом — летом 1860-го и весной 1861-го. Больше Лев Толстой за границу не поедет. Полвека живет почти безвыездно в своей Ясной Поляне; правда, с 1882-го по 1901 год (без охоты, но по семейной необходимости) на зиму переселяется в Москву.

### *1857. «Германия, которую я видел мельком»*

Кажется, совсем недавно, в 1852-м, на страницах некрасовского «Современника» появилось толстовское «Детство» (еще не рискнул подписать полным именем — поставил инициалы: «Л. Н.»); в 1857-м отправляется в Европу уже не одного «Детства» автор — также «Отрочества» и «Юности», кавказских «Набега» и «Рубки леса», «Севастопольских рассказов», потрясших русского читателя, «Метели», «Двух гусаров» — едва ли не главная надежда нашей литературы.

29 января 1857 года (по старому стилю) он выезжает из Москвы в мальпосте до Варшавы, чтобы оттуда продолжить путешествие уже по железной дороге.

Мальпост, а попросту почтовая карета, нынче слово редкое, ассоциация возникает тотчас, тем более что тут еще и Варшава. «Опять в сырую ночь в мальпосте...» Похоже, ни один другой мальпост не задержался в памяти, только этот — пастернаковский: «Опять Шопен не ищет выгод...»

Что бы ни говорил, что бы ни писал Толстой о музыке («Вопрос этот осложняется тем, что Лев Николаевич далеко не всегда считал наилучшей ту музыку, которая ему всего больше нравилась», — читаем у старшего сына Толстого, Сергея Львовича), Шопен до конца жизни — его любимый композитор.

Опять Шопен не ищет выгод,  
Но, окрыляясь на лету,  
Один указывает выход  
Из вероятья в правоту...

*Из вероятья в правоту* — это толстовское, направление его вечных поисков, то, что он именовал *уяснением истины*. «Он видел все в первоначальной свежести и как бы впервые» (Пастернак о Толстом).

Толстой — Василию Петровичу Боткину, писателю, критику: «Путешествие по железным дорогам — наслаждение, и дешево чрезвычайно, и удобно. Германия, которую я видел мельком, произвела на меня сильное и приятное впечатление, и я рассчитываю прожить и не торопясь поездить там». Но сначала — Париж. Париж!..

Как раз накануне того дня, когда Толстой, торопясь в Париж, не задерживаясь, проедет через Берлин, там, в Берлине, 3 февраля 1857 года умер Михаил Иванович Глинка. О его музыке Толстой скажет однажды коротко и весомо: «Здесь и мелодия и всё». Когда женится, будет охотно аккомпанировать романсы Глинки, которые чудесно исполняла младшая сестра Софьи Андреевны Татьяна — один из главных прототипов Наташи Ростовской, тоже замечательной певицы. Оперу «Жизнь за царя» Толстой слушал несколько раз — нравилось.

(Отец С. А. Толстой, Андрей Евстафьевич Берс, врач дворцового ведомства — квартира в московском Кремле, — имевший, по свидетельству дочери, «культ к царской фамилии и особенно к царю», в письме, известном Льву Николаевичу и доньше не опубликованном, иронически рассказывает, как в 1866 году Москва праздновала чудесное спасение государя Александра Второго после неудачного выстрела Каракозова: «А что происходило в театре, это чистая потеха. Второй акт «Жизни за царя», представляющий стан пирующих и танцующих поляков, исключен совершенно по требованию публики... А в третьем акте, когда поляки в лесу убивают Сусанина, публика потребовала, чтобы Сусанин не давал себя убивать, а сам бы передушил всех поляков. Сусанин и давай колотить их кулаками и вышел победителем, просто потеха...»)

Перед смертью Глинка продиктовал приятелю тему для фуги, потом заговорил о вечности, но тут же прибавил, что вечность — это вздор, в вечность он не верит.

Спустя пятьдесят три года, умирая в комнате начальника железнодорожной станции Астапово, никому до того не ведомой, Толстой продиктует дочери Александре Львовне в «Дневник для одного себя»: «Бог есть то неограниченное всё, чего человек сознает себя ограниченной частью».

Он приезжает в Париж 9 февраля, но Европа живет по новому стилю, на календаре — уже 21-е (Толстой, проставляя в дневнике даты, некоторое время еще путается в них).

За полтора парижских месяца Толстой разочаруется во многом, что обозначается как «прогресс цивилизации» и что, по мнению большинства, должно вызывать одобрение и даже восторг. Позже он напишет: «В наш век существует ужасное суеверие, состоящее в том, что мы с восторгом принимаем всякое изобретение, сокращающее труд, не спрашивая себя о том, увеличивает ли это изобретение, сокращающее труд, наше счастье, не нарушает ли оно красоты». Он всю жизнь вспоминает и напоминает другим слова Герцена о том, «как ужасен бы был Чингис-хан с телеграфами, железными дорогами, журналистикой».

«Париж мне так опротивел, что я чуть с ума не сошел. Чего я там не насмотрелся... Хотел испытать себя и отправился на казнь преступника через гильотину, после чего перестал спать и не знал, куда деваться. К счастью, узнал нечаянно, что вы в Женеве, и бросился к вам опретью, будучи уверен, что вы меня спасете...»

Он бросился опретью к своей двоюродной тетке, Александре Андреевне Толстой, которую шутя именует «бабушкой». Александра Андреевна, Александрин — фрейлина при императрице, она не замужем и так и не выйдет замуж, скончается в 1904 году в Зимнем дворце — вечная фрейлина при дворе четырех российских императоров.

В 1857-м ей сорок, она по-своему хороша собой, образованна и необыкновенно умна (такой ум Герцен называл «осердеченным»). Толстой испытывает к Александрин сильное чувство, которое, возможно, и не осознает в полной мере, тем более что оно сопрягается, а вскоре вовсе перейдет в исключительной важности дружбу, за-

полненную огромным духовным содержанием. Многолетняя переписка (до самой смерти «бабушки») — в письмах Толстой рассказывает о своих духовных исканиях, о становлении своих убеждений — переписка, в которой глубокое взаимопонимание соседствовало с непримиримыми разногласиями, но в которой каждое слово диктовалось сознанием и ощущением значимости связывавшей их дружбы, открывает в Александре Андреевне человека незаурядного, адресата и корреспондента, оказавшегося по плечу ее дорогому великому другу. А. А. Толстая напишет впоследствии, что их «чистая, простая дружба торжественно опровергала общепринятое фальшивое мнение насчет невозможности дружбы между мужчиной и женщиной». Но в дневнике Толстого времени первого заграничного путешествия встречаем: «Положительно, женщина, более всех других прельщающая меня». Он сетует: «Ежели бы Алесандрин была десятью годами моложе». Увы, Алесандрин одиннадцатью годами старше его. Годом позже он пометит: «Алесандрин постарела и перестала быть для меня женщина». Но — была.

Толстой задерживается в Швейцарии на три с половиной месяца. Только 22 июля (по новому стилю) он перебирается наконец в Германию. Едет через Шафгаузен, старинный город на Рейне, но это еще Швейцария, хоть и «вдавшаяся» в Вюртембергское королевство. В трех верстах от города — Рейнский водопад, непременно место паломничества всех путешествующих: река низвергается с 19-метровой высоты через порог, образуемый сходящимися скалами, — водопад этот красиво описал Карамзин в «Письмах русского путешественника»:

«Теперь, друзья мои, представьте себе большую реку, которая... достигнув до высочайшей преграды... с неописанным шумом и ревом свергается вниз и в падении своем превращается в белую, кипящую пену. Тончайшие брызги разновидных волн, с беспеременною скоростью летящих одна за другою, мириадами поднимаются вверх и составляют млечные облака влажной, для глаз непроницаемой пыли. Доски, на которых мы стояли, тряслись беспрестанно. Я весь облит был водяными частицами... Воображение мое одушевляло хладную стихию, давало ей чувство и голос. Она вещала мне о чем-то неизглаголанном!..»

Толстой не отстал от общего правила, пошел к водопаду (почти через семь десятилетий после Карамзина, с дочерью которого, Екатериной Николаевной, неоднократно встречался в Швейцарии), но (запись в дневнике): «Ненормальное, ничего не говорящее зрелище...»

В сопоставлении записей — разница времени, поэтики, творческих установок, всего мироощущения и мирозерцания. Разница идеала.

По Карамзину, «литературу надо было приблизить не к реальной — грубой и пугающей — повседневности, а к ее цивилизованному, очищенному просвещенным вкусом, разумом и чувством идеальному состоянию» (Ю. М. Лотман). Там, где у Карамзина, по-своему одушевлявшего воображением хладную стихию, все сводится и сходится, у Толстого, с его способностью все вокруг увидеть «по-новому и как бы впервые», не желает сходиться, взрывается противоречиями. Только что, путешествуя по Швейцарии, однажды в горах, он был поражен «необыкновенным, счастливым, белым, весенним запахом нарциссов», но тут же узнал: поля с нарциссами все более переводят — скотина не любит их в сене.

Лев Николаевич переночевал в Фридрихсхафене (уже Вюртемберг, Германия), утром 23 июля двинулся дальше. Из дневника: «Поехал в Штутгарт. Старичок рассказал мне про Виртемберг... Швабенланд — Treu und furchtlos... Приехав в Штутгарт... поехал во Дворец...»

Во дворец он скорей всего надеялся найти Александру Андреевну, с которой некоторое время назад расстался: фрейлина сопровождала в путешествии по Европе великую княгиню Марию Николаевну, дочь Николая Первого; ее сестра, Ольга Николаевна, была замужем за наследным принцем Вюртембергским. Алесандрин в Штутгарте он уже не застал, посему: «Поехал... в церковь и в ванну... Ложусь спать».

Но не спится: «Отлично думается, читая». Думает о повестях, которые занимают его воображение. Одна, «Отъезжее поле», начата еще в России, но лишь едва

намечена. Другая, «Беглый казак», очередной приступ к будущим «Казакам». В ночных раздумьях замыслы уточняются. Про «Беглого казака» в дневнике помечено, что должен быть «дик, свеж, как библейское предание». В «Отъезжем поле» он предполагает комизм живейший, «типы и все резкие».

Нет, не спится ему в Штутгарте!.. Вот поднялся, то ли в окно высунулся, то ли на балкон вышел, то ли вовсе отправился пройтись: «Увидел месяц, отлично справа» (луна, лунный свет его всегда тревожат). И следом: «Главное — сильно, явно пришло мне в голову завести у себя школу в деревне для всего околотка и целая *деятельность* в этом роде, главное — вечная деятельность».

Толстой пробовал открыть у себя, в Ясной Поляне, школу для крестьянских детей еще в 1849 году, до Кавказа, до Крыма, в пору юных и незрелых, хотя самых благородных намерений «сделать, сколько возможно, своих крестьян счастливыми». Сильная, явная мысль о школе, словно лунный свет, всколыхнувшая Толстого в Штутгарте в ночь с 23 на 24 июля 1857 года, окажет огромное воздействие на всю его дальнейшую жизнь. «Делаю дело, которое мне так же естественно, как дышать воздухом», — напишет он вскоре о занятиях с крестьянскими детьми. Это не увлечение, точнее, не только увлечение — это обязанность и душевная потребность: «Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немножко того, что мы знаем». Для исполнения взятой на себя задачи он создаст собственную систему школьного обучения, сам подготовит нужные пособия — знаменитую «Азбуку», «Русские книги для чтения». Эта *деятельность* окажется мощным, по-своему поворотным моментом в его жизни, нравственных исканиях, творчестве. Три года спустя желание совершенствовать свою школу станет едва ли не основной причиной нового заграничного путешествия. Но об этом речь впереди.

24 июля, после бессонной ночи в Штутгарте, Толстой в четыре часа утра отправляется на вокзал; через несколько часов он в Баден-Бадене. Здесь встречает поэта Полонского, с которым уже знаком. Полонский высоко ценит талант Толстого, а тут еще Тургенев недавним письмом из Парижа сильно разогрел его интерес: «Этот человек далеко пойдет и оставит глубокий след». Но в Баден-Бадене Толстой «далеко» не пошел. В его дневнике читаем: «Полонский добр, мил, но я не думал о нем, все бегал в рулетку». Примечательная форма глагола: не «побежал», а «*все бегал*». Неоднократность действия. Страсть к игре неотвязчива.

Толстой в молодости увлекался игрой, был игрок отчаянный, но не слишком удачливый. Однажды за карточным столом чуть было не решилась судьба Ясной Поляны (как бы потом сложилась без нее жизнь Толстого?). На Кавказе он тоже проиграл большую сумму, которую был не в силах отдать к сроку. В совершенной безнадежности он перед сном молился Богу, просил, чтобы совершилось чудо, — наутро сделалось известно, что его друг, чеченец, отыграл его векселя. О страсти игры и об отчаянии проигрыша Толстой написал в «Двух гусарах» и «Войне и мире» (игра Николая Ростова с Долоховым).

Из дневника Толстого.

**24 июля:** «Проиграл немного...» **25 июля:** «Проигрывал, выиграл к ночи...» (Об этом выигрыше — в одном из писем Полонского: «Мы с ним, т. е. с Толстым, сошлись, как родные братья; жаль, что рулетка страшно увлекла его; целый день третьего дня с 10 часов утра до 10 часов вечера я не мог оторвать его от рулетки и боялся, что он все проиграет, ибо он разменял последние деньги, но, слава Богу, к вечеру он отыгрался и сидел у меня до 2 часов пополуночи.»)

Еще из дневника:

**26 июля:** «С утра болен. Рулетка до 6. Проиграл все...» **27 июля:** «Занял у французца... и проиграл... Играть больше не буду... У Полонского нет денег...» **28 июля:** «Кублицкий (приятель Полонского, литератор.— В. П.) принес денег. Пошел, выкупался и потом проиграл.— Свинья. Убитый, больной, пристыженный, шляется...» **29 июля:** «Не играл, потому что не на что...»



Он пишет Тургеневу, который обретается неподалеку, в Зинциге, на курорте. Иван Сергеевич отправляется его «вытаскивать».

**31 июля:** «Приехал Тургенев. Нам славно с ним». Но **1 августа:** «Такой же пошлый день. Взял у Тургенева деньги и проиграл...»

Цепь, которую, казалось, не разорвать, вдруг в тот же день сама неожиданно распадается: Толстой узнает, что его сестра, Мария Николаевна, вынуждена оставить мужа и разъехаться с ним, — «эта новость задушила меня...». Он перестает играть, тотчас собирается домой, в Россию.

При всей захватившей его страсти Баден-Баден для Толстого, не одна рулетка. В первый же день по приезде он помечает в дневнике, что обедал у Смирновой. Смирнова — не кто иная, как Александра Осиповна Смирнова-Россет, до замужества фрейлина, после — жена значительного чиновника, приятельница Пушкина и Гоголя, Лермонтова и Жуковского, — да кого только она не знавала из замечательных представителей своего времени! Пушкин когда-то подарил ей альбом — вести записки, чтобы «в тревоге пестрой и бесплодной большого света и двора» —

Смеялась над толпою вздорной,  
Судила здраво и светло  
И шутки злости самой черной  
Писала прямо набело.

Когда Толстой знакомится со Смирновой, ей под пятьдесят. Смолоду она пленяла умом и прелестью едва не всех, кто встречался с ней, но с возрастом, по суждению даже близких людей, в ней особенно стали заметны душевная холодность, эгоизм, высокомерная нетерпимость. Полонский, проводивший с ней много времени (он воспитатель ее сына), замечает: «Я все недостатки готов был признать Смирновой за ее ум, правда, парадоксальный, но все-таки ум. Теперь, когда я пишу эти строки, я не прощаю ей даже этого ума, от этого ума никому ни тепло, ни холодно. Он хорош для гостиных, для разговоров с литераторами, но для жизни он излишня, бесполезная роскошь».

У Толстого в дневнике, что ни визит, неблагоприятный отзыв о хозяйке: и болтает много, и дурной тон, и скучно, и смешно, и гадко, и ничего не остается ни в уме, ни в памяти. Однако навещает едва не всякий день, и в памяти остается, — полвека спустя, когда заходит разговор о Смирновой, обозначает четко: «Не пленительна, а умна была».

Имеем право предположить, что в беседах речь шла и о Пушкине: слишком много знала Александра Осиповна, чтобы не рассказывать (Полонский, находясь при ней, записывал кое-какие из ее рассказов). Путешествуя, Толстой всего за несколько месяцев сходитя по меньшей мере с тремя близкими знакомыми Пушкина.

С Екатериной Николаевной Мещерской, дочерью Карамзина. Поэт однажды вписал ей в альбом «Акафист»: «Так посвящаю с умилением / Простой, увядший мой венец / Тебе, высокое светило...» Екатерина Николаевна передала Толстому слова Пушкина, к ней однажды обращенные: «Моя Татьяна поразила меня, она отказала Онегину. Я этого совсем не ожидал». Эти слова навсегда останутся для Толстого своего рода ключом в понимании творческого процесса.

В Швейцарии же он сдружается с Михаилом Ивановичем Пуциным, братом Ивана Ивановича, пушкинского «друга бесценного», декабриста, и тоже декабристом. Михаил Иванович был сперва сослан в Сибирь, потом рядовым на Кавказ. Там он встретился с Пушкиным во время его «путешествия в Арзрум». Толстой заставил Пуцину записать свои увлекательные истории и послал эти несколько страниц воспоминаний, озаглавленных «Встреча с Пушкиным за Кавказом», биографу поэта П. В. Анненкову: «Записка презабавная, но рассказ его — изустная прелесть». В «презабавной записке» говорится, между прочим, что Пуцин, покидая театр войны с поручением главнокомандующего, взял поэта в свою коляску, но с уговором, чтобы тот во все время следования не играл в карты. Пушкин нарушил уговор, чему весьма способствовал третий их попутчик, известный храбрец, игрок, бретер Руфин Иванович Дорохов, — он станет одним из прототипов Долохова в «Войне и мире».

Наконец, в Баден-Бадене Толстой слушает разговоры Смирновой-Россет. Поистине: «Бывают странные сближения» (Пушкин).

3 августа он по дороге заезжает во Франкфурт, чтобы увидеть находившуюся там А. А. Толстую. Александра Андреевна вспоминает, что чуть не ахнула от ужаса, когда дверь отворилась и появился Лев. У нее в гостях были принц Гессенский с женой, Толстой же всем своим видом и одеждой «был похож не то на разбойника, не то на проигравшегося игрока». Увидев посторонних, он почти тотчас исчез, тогда как принц, узнав от хозяйки, кто был этот странный гость, страшно огорчился: он жаждал познакомиться с автором прекрасных творений, которые успел прочитать.

После свидания во Франкфурте Толстой записывает в дневнике: «Бесценная Саша. Чудо, прелесть. Не знаю лучше женщины». И назавтра, продолжая путь, точно обновленный после баден-баденовского омута: «Будущее все улыбается мне».

Сравнительно недавно обнаружилась записка майора Бернгарда фон Арнсвальда, коменданта замка в Варбурге, Толстой осматривал замок 4 августа на пути в Дрезден.

Замок построен в XI столетии, в XIX, как раз в 50-е годы, проводилась серьезная, научно обоснованная реставрация обветшавшего здания. По свидетельству коменданта, Толстой восторгался древним сооружением: «Такое могут создать только немцы. Немец владеет не только техническим мастерством, но повсюду наполняет свое творение мыслью и поэзией».

Коменданта поразила осведомленность русского писателя в немецкой литературе. О Варбурге, правда, он не знал ничего, кроме оперы «Тангейзер». В рыцарские времена, в 1207 году, при просвещенном тюрингском ландграфе Германе, здесь, в Варбурге, происходило знаменитое, обросшее легендарными подробностями, состязание поэтов, воспетое в тогдашнем стихотворном сочинении под именем «Варбургской войны». Эту легенду вместе с историей странствующего рыцаря, поэта Тангейзера, композитор Рихард Вагнер положил в основу сюжета оперы «Тангейзер, или Состязание певцов в Варбурге» (1845).

Любопытно: упомянув название весьма популярной оперы, майор фон Арнсвальд не молвит о ней более ни слова. Скорее всего разговора о ней не завязалось, иначе ему пришлось бы услышать от своего собеседника немало нелестных слов. К Вагнеру у Толстого отношение устойчиво отрицательное. Позже в трактате «Что такое искусство?» он обоснует свое суждение о музыке немецкого композитора. Он видит в ней предвзятость, приноровленность к поставленной задаче (Татьяна, образно выражаясь, ничем неожиданным своего создателя не поразит). Оттого «в новой музыке Вагнера отсутствует главная черта всякого истинного художественного произведения — цельность, органичность, такая, при которой малейшее изменение формы нарушает значение всего произведения».

Из записки Бернгарда фон Арнсвальда: «Между тем над балконом взошла луна, освещая еще не погружившиеся во тьму окрестности. Какой поэзией, каким волшебством я был объят. Мы обменивались нашими взглядами на поэзию и ее проявление в жизни... Толстой говорил, что бледный свет луны легко возбуждает мир наших ощущений...»

О вопросах общественных они тоже говорили: «В разговоре о политике Толстой упомянул, что добро способствует единению немногих людей, зло же может соединить их в толпу. Только насилие или хитрость образуют толпу, одиночек объединяет сердце».

Два дня он в Дрездене, куда приехал 5 августа. Первым делом спешит в галерею: «Мадонна сразу сильно тронула меня». Речь о рафаэлевой «Сикстинской мадонне». На другой день он снова заходит в галерею: «Остался холоден ко всему, исключая мадонны».

Позже, заодно утверждая свой новый взгляд на искусство, он будет отказываться от Рафаэля (как от любимого Диккенса, которого постоянно перечитывает) — это авторитеты, устанавливаемые критикой, их искусство простому народу непонятно.

На стене яснополянского кабинета — пять больших фрагментов «Сикстинской мадонны»: «Это так гадко, несмотря на то, что у меня висит». В старости, вспоминая Дрезден, скажет: «Когда я с Боткиным, Тургеневым смотрел ее, они восхищались, и я хотел внушить себе, что она хороша, но напрасно». Нет, это он запомнил. Ни Боткина с ним не было, ни Тургенева. И восхищался. И фрагменты из кабинета так до последнего дня, до самого ухода своего не убрал...

В Берлине он и на обратном пути — мимоходом: только переночевал. Вечером прошелся по городу. Особо пометил «разврат на улицах». Случайно побывал на каком-то пожаре. Занес в дневник для памяти: «Бородач с детьми. Хромой старик. Гордый немец». Что это за люди, что заинтересовало в них Толстого, вряд ли узнаем когда-нибудь. Между тем какие-то черты каждого из них, возможно, попали потом в портрет того или иного толстовского героя, как попадет в одно из лиц на картине, которую пишет в «Анне Карениной» художник Михайлов, вдруг вспомнившийся ему энергический подбородок торговца сигарами...

Назавтра, 8 августа, Толстой уже в Штеттине, чтобы немедленно отправиться морем в Россию. В ту пору главные линии паровозного сообщения связывали Петербург с Европой через Штеттин и Любек. С трудом наскреб последние деньги на билет. Талер пришлось занять у встреченного знакомого. Пароход «Санкт-Петербург» по хорошей погоде прибыл в Кронштадт на третьи сутки.

По-русски это получилось — 30 июля: отечественный календарь возвратил ему украденные европейским дни. Как шучивал художник Федор Васильев, пейзажист: ежели объявят конец света, поезжайте в Россию — двенадцать дней лишних проживете.

Из письма Л. Н. к А. А. Толстой (18 августа 1857 года, Ясная Поляна): «В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши тоже происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие... В России жизнь постоянный и вечный труд и борьба со своими чувствами. Благо, что есть спасенье — мир моральный, мир искусств, поэзии, привязанностей. Здесь никто, ни становой, ни бурмистр, мне не мешают, сию один, ветер воеет, грязь, холод, а я скверно, тупыми пальцами разыгрываю Бетховена и проливаю слезы умиления, или читаю «Илиаду», или сам выдумываю людей, женщин, живу с ними, мараю бумагу, или думаю, как теперь, о людях, которых люблю».

### ***Вместо паузы. Немцы «русские» и «немецкие»***

Первое действующее лицо у Толстого, с которым мы встречаемся, открыв начальный том любого собрания его сочинений, — добрый немец Карл Иваныч, домашний учитель Николеньки, героя «Детства».

В «Отрочестве», прежде чем навсегда расстаться с Николенькой и читателями, Карл Иваныч рассказывает историю своей жизни. Истории отдано три главки подряд, это своего рода повесть в повести, — при лаконизме «Отрочества» пространство очень заметное.

Рассказ Карла Иваныча можно было бы при желании развернуть в большой роман, в котором соединялись бы идиллия и эпопея, как в «Германе и Доротею» Гёте. В списке книг, произведших на Толстого наибольшее впечатление в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, сочинение Гете и по порядку, и по оценке поставлено на первое место. В старости, уже основательно «рассорившись» с великим немцем, Толстой не изменит своего отношения к поэме: «Читайте «Германа и Доротею» — идиллия. Хороша». Похоже, что история Карла Иваныча создавалась под впечатлением творения Гете.

Даже героические страницы биографии Карла Иваныча полнятся чувствительностью и мечтательным благородством. Для немца в русской литературе он порази-

тельно непрактичен. За двадцать лет службы в России он ничего не скопил и, получая расчет, должен «идти на улицу искать свой черствый кусок хлеба».

В рассказе «Севастополь в августе» появляется штабс-капитан Краут, который «говорит по-русски отлично, но слишком правильно и красиво для русского». Толстой о нем пишет: «Как все русские немцы, по странной противоположности с идеальными немецкими немцами, он был практичен в высшей степени». При этом персонаж он вовсе не отрицательный. «В службе и в жизни он был так же, как в языке: он служил прекрасно, был отличный товарищ, самый верный человек по денежным отношениям; но просто, как человек, именно оттого, что все это было слишком хорошо, — чего-то в нем недоставало».

Недоставало в нем именно идеальности, то есть *идеализма*, не в философском, в старинном, житейском смысле слова: того самого идеализма учителя Карла Иваныча, который противопоставит *материализму*, понимаемому опять же не философски, а как практицизм в отношениях с действительностью.

Из «формулы Краута» десятью годами позже, в «Войне и мире», разовьется характер Берга. Мы привыкли числить его по разряду «отрицательных героев», между тем, если задуматься, не нравится нам в нем только этот самый обозначающий все его поведение практицизм, который с позиций логики опровергнут быть не может, а лишь с определенной, нами же обусловленной нравственной точки зрения. Мы знакомимся с Бергом, когда он в гостях у Ростовых обсуждает преимущества службы в гвардейской пехоте сравнительно с кавалерией, притом настолько подробно и точно, что его собеседник-острослов отзывается пословицей: «Немец на обухе молотит хлебец» (пословица в ее точном виде говорит не о немце, а вообще о расчетливом человеке: «На обухе рожь молотит, зерна не обронит»).

Эта «практичность в высшей степени» — как бы знаковая особенность «русско-го немца», расчетливо, по зернышку, строящего свою карьеру.

«Игра занимает меня сильно, но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее», — говорит Германн в «Пиковой даме». На что Томский отзывается: «Германн немец: он расчетлив, вот и все!» Знак все объясняет сам по себе. Германн даст волю страсти и начнет игру, лишь уверовав, что обладает несомненным средством приобретения.

«Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Германн не касался и процентов». В пушкинских же «Сценах из рыцарских времен» разбогатевший Мартын поучает сына-поэта, который даром хлеб ест да небо коптит, сочиняя глупые песни: «Когда мне минуло четырнадцать лет, покойный отец дал мне два крейцера в руку да два пинка в гузно, да промолвил: ступай-ка, Мартын, сам кормиться...» Штольцу в «Обломове», развившемуся мощно и совершенно по-своему, отец-немец дает с детства суровые уроки деятельного, неидеализированного отношения к жизни. У Берга тоже папенька, который доволен сыном, оттого что тот переводом в гвардию выиграл чин перед своими товарищами по корпусу и тридцать рублей прибавки к жалованью.

Но, четко «обозначив» Берга, Толстой в ходе повествования размывает национальные границы знака. Расчетливый карьерист Борис Друбецкой, вместе с Бергом начавший продвижение по службе и даже делящий с ним кров, точно такой же «русский немец», разве что лишенный Бергова добродушия. Николай Ростов, приехавший навестить Бориса, родственника, чувствует себя равно чужим с обоими. Среди его старших товарищей по гусарскому полку, вместе с Васькой Денисовым, героический штаб-ротмистр Кирстен, который был дважды разжалован в солдаты за дела чести и дважды выслуживался храбростью в боях. Командует гусарами полковник Карл Шуберт, офицеры между собой именуют его совсем по-русски «Богданьчем». Тип личности в известной степени определяется национальными особенностями, но граница между людьми проходит не по национальному признаку.

«Русский немец» — явление, конечно же, реальное, но его особенности могут столь же различно обнаруживаться в иных «русских русских», как в других столь же явственные черты «идеальных немецких немцев».

Немец, хозяин дома, в котором квартируют Николай Ростов с Васькой Денисовым, «в фуфайке и колпаке, с вилами, которыми он вычищал навоз», выходит рано

утром из коровника и в ответ на «радостное, братское» приветствие Ростова машет колпаком над головой: «Und die ganze Welt hoch!» И Николай Ростов, взмахнув фуражкой, кричит ему в лад: «Und vivat die ganze Welt!»

«Хотя не было никакой причины и особенной радости ни для немца, вычищавшего свой коровник, ни для Ростова, ездившего со взводом за сеном, оба человека эти с счастливым восторгом и братской любовью посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и разошлись...»

### 1860. «Свойственное ему место»

В 1860 году Толстой снова отправляется в путешествие: везет в Европу сестру Марию Николаевну с детьми — отдохнуть от семейных потрясений; к тому же на европейских курортах лечится старший брат Николай Николаевич, его добивает жесткая чахотка, надо быть к нему поближе.

Но при этом: «...Моя главная цель в путешествии та, чтобы никто не смел мне в России указывать по педагогии на чужие края и чтобы быть au niveau всего, что сделано по этой части».

Он пишет в Ясную: «Я вернусь осенью непременно и больше, чем когда-нибудь, займусь школой, поэтому желал бы, чтобы без меня не пропала репутация школы и чтоб побольше с разных сторон было школьников».

Вскоре после возвращения в отечество, получая цензурное разрешение на издание журнала «Ясная Поляна», он сообщит не без гордости: «Существенное для меня сделано. В моем участке на 9000 душ в нынешнюю осень возникли 21 школы — и возникли совершенно свободно».

В статье «О народном образовании» — она откроет первый номер его педагогического журнала — Толстой напишет: народ повсюду хочет образования, но при этом «постоянно противодействует усилиям, которые употребляют для его образования общество или правительство». Главная причина — отсутствие в деле образования и воспитания равенства и свободы.

Пароход «Прусский орел» высадил его в Штеттине 17 июля 1860-го.

В Берлине, на который в прошлый раз у него не осталось времени, Толстой проводит десять дней «очень приятно и полезно для себя».

В университете он слушает лекции по истории и по физиологии. Историю читал профессор Иоганн Дройзен. В эту пору он был занят капитальнейшим трудом о прошлом, настоящем и будущем Пруссии. Дройзен убежден, что Пруссия — именно тот центр, вокруг которого должны объединиться германские государства. Но, может быть, лекция, которую слушает Толстой, отдана античности. Профессор увлечен периодом эллинизма (едва ли не он и ввел само это понятие — «эллинизм»), его любимый герой — Александр Македонский. Заметим, что в статье «Воспитание и образование», которую Толстой напишет по возвращении из Европы, появится своего рода формула знаний, для жизни мало ценных, но навязываемых учащимся в качестве необходимейших, — «Александр Македонский и Гваделупа».

В клубе ремесленников после лекции на какую-то научную тему на стол ставят «вопросный ящик»: слушатели бросали туда записки самого разного содержания, — теперь присутствующие в зале ученые и педагоги отвечают на эти записки. Такая форма общения с теми, кого хочешь чему-то научить, занимает Толстого — он берет одну записку из ящика на память. Может быть, ему чудится что-то вроде крестьянского клуба, который он учредит у себя. Из затеи ничего не выйдет, но годы спустя в Ясной Поляне появится «почтовый ящик» — его будут вывешивать на лестничной площадке, каждый сможет опускать туда свои статьи, стихи, рассказы, отклики на события, происходящие в семействе, вопросы, серьезные и шуточные, и позже — ответы на них.

«Просят ответить в будущий раз на следующий вопрос: почему Устюша, Маша, Алена, Петр и др. должны печь, варить, мести, выносить, подавать, принимать... а господу есть, жрать, сорить, делать нечистоты и опять кушать? Лев Толстой».

Вопрос: «Чем люди живы в Ясной Поляне?»

Ответ: «Лев Николаевич жив тем, что будто бы нашел разгадку жизни...»

Сестра, Мария Николаевна, по совету докторов перебралась в Соден, где в это время обитает и больной брат Николай. Врачи и Льва Николаевича «шлют к водам» — в Киссинген: тамошняя вода непременно поможет ему от «мигреней и геморроидальных припадков». В Киссингене он месяц — с 27 июля по 26 августа 1860-го.

Нравы немецкого Вад-городка будут описаны в «Анне Карениной» — на такой курорт привезут Кити Щербацкую, долго хворавшую после того, как ее оставил Вронский. «Как и во всех местах, где собираются люди, так и на маленьких немецких водах, куда приехали Щербацкие, совершилась обычная как бы кристаллизация общества, определяющая каждому его члену определенное и неизменное место. Как определенно и неизменно частица воды на холоде получает известную форму снежного кристалла, так точно каждое новое лицо, приехавшее на воды, тотчас же устанавливалось в свойственное ему место».

Граф Лев Толстой не обретает ту форму кристалла, которую должен бы обрести, и соответственно *не устанавливается* в то место, которое ему предназначено. На другой день после приезда, не задержавшись в «обществе», он отправляется в «школу малых детей», где обучение ведется звуковым методом, на слух (оценка в дневнике: «плохо»). Назавтра он в обычной школе: «Ужасно. Молитва за короля, побои, всё наизусть, испуганные, изуродованные дети».

Это «изуродованные дети» он повторит и позже, продолжая рассматривать школы в разных городах Европы — в Женеве, где посещает колледж, или в Марселе: «Четырехлетние дети по свистку, как солдаты, делают эволюции вокруг лавок, по команде поднимают и складывают руки и дрожащими и странными голосами поют хвалебные гимны Богу и своим благодетелям».

Посещая немецкие школы, Толстой просил детей написать в сочинении, что они делали в воскресный день. Мальчики и девочки всегда писали, что молились, и никогда, что играли. Насильственное, оторванное от живой жизни образование превращает ребенка в «измученное, сжавшееся существо, с выражением усталости, страха и скуки, повторяющее одними губами чужие слова на чужом языке, — существо, которого душа, как улитка, спряталась в свой домик».

Толстой знакомится с Юлиусом Фрëбелем, публицистом, участником революции 1848 года, приговоренным к смертной казни, избежавшим ее, но не оставившим политики («Политика истощила его всего», — определяет при знакомстве Толстой). Фрëбель сохранил в своих записках некоторые высказывания Толстого той поры.

«Если образование — благо, то потребность в нем должна являться сама собою, как голод».

«Прогресс в России должен исходить из народного образования, которое у нас даст лучшие результаты, чем в Германии, потому что русский народ еще не испорчен ложным воспитанием».

У Фрëбеля читаем: о «народе» (*народ* — в кавычках) граф Толстой имел «совершенно мистическое представление». «По этому воззрению, «народ» — таинственное, иррациональное существо, из недр которого явятся неожиданные вещи — новое устройство мира».

Кавычки, в которые берет Фрëбель слово народ, Толстой тотчас чувствует. При характеристике нового знакомого эти кавычки для него значимее былого участия Фрëбеля в революции: «Аристократ-либерал».

«Рабочий народ везде одинаковый» — это, уже стариком, Лев Николаевич вспоминает свое путешествие: «Я люблю простой немецкий народ».

Записи в немецком дневнике 1860 года конспективно кратки. Между указаниями о посещении школ, встречах, замыслах находим: «Болтал с мужиками», «Был в поле», «Работа поденных», «Барщина», «Мужики в харчевне грустно, пасмурно кнейпуют», «Косил»...

Здесь, в Киссингене, Толстой обдумывает повесть из русской крестьянской жизни, делает наброски: «Петра и Павла отпраздновали... Мужики похмелились, у кого было, кто с вечеру, кто поутру косы поотбили, подвязали брусницы на обрывочки и, как пчелы из улья, повысыпали на покосы. Повсюду, по лощинам, по дорогам, заблестело солнышко на косах...»

Картина покоса, одно из лучших созданий русской литературы, возникнет полтора десятилетиями позже, в «Анне Карениной».

Среди киссингенских дневниковых записей — пророческая: «Видел во сне, что я оделся мужиком, и мать не признает меня».

В старости расскажет, вспоминая: «Я снизу вверх смотрел на немецких крестьян. Немецкий крестьянин такой же самобытный, как и русский. У него есть, чему поучиться».

И тогда же — как косил с крестьянами, будучи в Германии: «У них очень схожие с русскими крестьянами черты. Все люди одинаковы. Ауэрбах, которого я любил, оценивал выше всех эти черты народа».

Бертольд Ауэрбах — немецкий писатель, снискавший широкую популярность в 1840—1850-е годы, прежде всего своими «Деревенскими рассказами». Он вывел читателя из особняка аристократа и мастерской художника на свежий воздух, к крестьянам, о которых писал с живой откровенностью и несколько наивным добродушием. Эффект «Деревенских рассказов» был по-своему сродни эффекту тургеневских «Записок охотника» в русской литературе. Толстой увлеченно читал эти рассказы, как и роман Ауэрбаха «Новая жизнь». О романе и о встрече Толстого с автором — позже. Пока — о другом.

Заглядывая в крестьянские дома, Толстой удивляется, что ни в одном из них нет книжек Ауэрбаха. Между тем именно этот писатель, кажется Толстому, мог бы стать посредником между образованным классом и народом. Он делится своими соображениями с Юлиусом Фрёбелем и его другом Карлом Франтцем, тоже публицистом, ученым и политиком, конечно. С изумлением заносит в дневник их немудреный ответ: «Ауэрбах,— говорит,— жид. — И больше ничего». Через полвека почти, вспоминая давний разговор, Толстой прибавит: «Это юдофобство в революционере так меня оттолкнуло...»

Однако пора покидать Германию, и надолго — пройдет семь месяцев, прежде чем Толстой снова окажется в ее пределах.

«Положение Николеньки ужасно. Страшно умен, ясен. И желание жить. А энергии жизни нет». Лев Николаевич везет больного брата на юг Франции, в Гиер.

Николай Николаевич Толстой умер 20 сентября 1860 года.

«Николенькина смерть — самое сильное впечатление моей жизни». Лев Николаевич пишет в эти дни, что Николенька был для него не только брат, с которым связаны лучшие воспоминания его жизни, но и лучший друг. В нем Толстой, с младенчества оставшийся сиротой, находил те черты, которыми в воображении наделял свою мать (ее он не помнил), — доброту, ум, мягкость, мечтательность, благожелательство. И еще более. Тургенев скажет: «То смирение перед жизнью, которое Лев Толстой развивает теоретически, брат его применил непосредственно к своему существованию».

Смерть брата с неизвестной прежде остротой ставит перед Толстым вопрос, по-иски ответа на который, по существу, перевернут впоследствии всю его жизнь. «Зачем?» В дневнике: «Опять вопрос: «зачем?» Уж недалеко до отправления туда. Куда? Никуда». И через два десятилетия — в «Исповеди»: «Сколько ни говори мне: ты

не можешь понять смысла жизни, не думай, живи,— я не могу делать этого, потому что слишком долго делал это прежде».

В октябрьском дневнике 1860 года: «Гаданье карт, нерешительность, праздность, тоска, мысль о смерти. Надо выйти из этого. Одно средство. Усилие над собой, чтоб работать».

И вскоре: «Лет десять не было у меня такого богатства образов и мыслей, как эти три дня («лет десять» — это до «Детства»); еще не написано ничего, нам известного.— В. П.). Не пишу от изобилия». Но — *пишет*. Пишет повесть, «герой которой должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию».

В эту пору он знакомится с декабристом Сергеем Григорьевичем Волконским, который особенно привлекает его тем, что этот князь, цвет петербургской аристократии, родовитый и придворный, «в Сибири, уже после каторги, когда у жены его было нечто вроде салона, работал с мужиками, и в его комнате валялись всякие принадлежности крестьянской работы». (Посетители Ясной Поляны будут удивляться тому же в кабинете Толстого «под сводами».)

Толстой еще не знает, что замысел потребует (по собственному его позднему объяснению), чтобы он из 1856 года, когда герой получил разрешение вернуться из Сибири, перенесся в 1825-й, к периоду подготовки восстания 14 декабря, затем в молодость героя, «совпавшую с славной для России эпохой 1812 года», наконец, и того далее, ко времени, предшествовавшему Отечественной войне, к событиям 1805 года. Толстой еще не знает, что начинается работа над «Войной и миром».

Но знакомство с С. Г. Волконским — это уже Флоренция. После смерти брата Толстой путешествует по Италии, затем возвращается во Францию и через Париж (продолжая по дороге осматривать школы) отправляется в Лондон, к Герцену.

### ***Вместо паузы. «Рудольфов трапп»***

Связь с «лондонскими пропагандистами», как именовали Герцена и Огарева, считалась в России преступлением, но едва не всякий русский, приезжавший в Лондон, считал своим долгом нанести им визит. Толстой, конечно, не «всякий русский», в числе которых немало попросту любопытствующих. Герцен причисляет себя к «искренним почитателям» толстовского таланта. Толстой с интересом и одобрением читает то, что выходит из-под пера Герцена. Встреча предполагалась еще в прошлое толстовское путешествие по Европе, в 1857 году. Толстой приезжает в Лондон 4 марта 1861-го.

«Живой, отзывчивый, умный, интересный, Герцен сразу заговорил со мной так, как будто мы давно знакомы, и сразу заинтересовал меня своей личностью. Я ни у кого потом не встречал такого редкого соединения глубины и блеска мыслей».

На пятый день после первой встречи Герцен пишет Тургеневу: «Толстой — короткий знакомый». Прибавляет: даже пятилетняя Лиза (дочь Герцена и Огаревой) «его полюбила и называет *Левстой*. Что же больше?»

Толстой чувствует себя у лондонских хозяев свободно (а он застенчив). Разговоры, по его воспоминаниям, «всякие и интересные». Даже то, что Герцен в письмах к Тургеневу, не снижая оценок, замечает, что Толстой «завирается подчас», «говорит чушь», доказывая что-либо, нередко, «как под Севастополем, берет храбростью, натиском», свидетельствует о свободном тоне их разговоров.

Рассказывая о Севастополе, Толстой садится к роялю, аккомпанируя себе, поет сочиненную им во время Крымской войны сатирическую песню о неудачном сражении на Черной речке («Как четвертого числа /Нас нелегкая несла»), запрещенную в России, но очень популярную в армии, и не только в армии. Песню эту впервые напечатал Герцен в своем альманахе «Полярная звезда», считая ее народной, солдатской.

Конечно, Толстой играл и еще что-то. Определенно — «Кавалерийскую рысь», сочиненную знакомым музыкантом, немцем Рудольфом. По свидетельству Т. А. Кузминской (сестры Софьи Андреевны), «он очень любил эту вещь, она действительно имела свойство взвинчивать души, чувства и нервы».



Путешествуя по Европе в 1857 году, Толстой работал над рассказом «Альберт» (в набросках — название: «Поврежденный», «Погибший», «Пропащий»). Рассказ — о гениальном музыканте, «повредившемся» от любви к знатной даме и погибшем, спившемся.

Известен прототип — Георг Кизеветтер, немецкий скрипач, уроженец Ганновера, выброшенный на улицу после десяти лет службы в оркестре Петербургской оперы. Толстой познакомился с Кизеветтером незадолго до первой заграничной поездки в одном из петербургских увеселительных заведений, «танцклассов» (отмечая знакомство, Толстой именует без обиняков — в борделе). Музыканта пускают туда из жалости — поиграть на скрипке. Толстой приглашает скрипача к себе домой: «Он умен, гениален и здрав. Он гениальный юридивый». Через два дня после первой встречи Толстой помечает в дневнике: «История Кизеветтера подмывает меня». В «Альберте» он по-своему передает эту историю. Погибший, поврежденный, пропащий, — но «страшный внутренний огонь» горит в нем: он берет в руки скрипку — и вот он уже «из всех нас лучший и счастливейший». И строка Шиллера, которую он произносит, рассказывая о себе: «Ich auch habe gelebt und genossen» полнится глубоким смыслом.

Но в жизни Толстого был еще один «очень хороший музыкант, мой приятель, немец по музыкальному направлению и происхождению» (так о нем в незаконченном раннем рассказе «Святочная ночь») — тот самый Рудольф, чье имя уже упомянуто выше. Толстой повстречался с ним восемью годами раньше, чем с Кизеветтером, в отличие от которого Рудольф — пианист.

Тип личности и образ жизни роднили Рудольфа с Кизеветтером. Не случайно некоторые современники убеждены: «Рудольф — он же Альберт». Легко доказать, что не «он же», но то, что, работая над «Альбертом», писатель и Рудольфа в памяти держал, не требует доказательств.

Толстой привез Рудольфа в Ясную Поляну, брал у него уроки музыки. Рудольф много пил, кутил, отыскал в Ясной старых дворовых, которые были музыкантами еще у деда Льва Николаевича, играл с ними и пил тоже; пьяненький, уединялся в оранжерее и сочинял свои композиции. Из его сочинений в доме навсегда задержались «Hexengalor» и две «Кавалерийских рыси», одна — та самая, Толстым особенно любимая.

При исполнении «Кавалерийской рыси» в Лондоне выясняется, что и Огарев был знаком с Рудольфом. Более того, музыка побуждает Огарева вспомнить давнюю историю, случившуюся с ним. В «танцклассе», где бывал и играл Рудольф, он полюбил девушку, «падшее создание» и вознамерился было спасти, «вытащить»; но — то ли одумался, то ли не успел, то ли не преуспел. Об этой истории Огарев написал стихотворение «Рудольфов трапп» и посвятил Льву Толстому. (Traub — по-немецки рысь; trappeln — бежать, быстрым коротким шагом.)

Воскрешают эти звуки  
Целый мир передо мной —  
Странной неги, странной муки,  
Шелест счастья, плач разлуки  
И полячки молодой  
Образ светлый и простой...

Ритм стиха передает, очевидно, музыкальный ритм. Финал стихотворения:

Я поехал, сердце ныло,  
Я сжимал ее платок,  
И тоска меня томила,  
И терзал меня упрек.  
Дайте звуков, Христа-ради,  
Дайте прошлые мечты,  
Дайте вспомнить бедной бляди  
Простодушные черты!..

Стихи догоняют Толстого уже на обратном пути: 17 марта он покидает Лондон. 9 апреля, по дороге задержавшись в Брюсселе, он прибывает во Франкфурт-на-Майне.

### 1861. «Я везу с собой»

Из наброска статьи в виде письма неизвестному:

«Я теперь почти кончаю мое путешествие по школам Европы — часть Германии, Франция, Англия, Италия, Бельгия — уже осмотрены мною — и мне страшно дать не только тебе и педагогическому миру — но страшно самому себе дать отчет в том убеждении, к которому я приведен всем виденным... Только мы, русские варвары, не знаем, колеблемся и ищем разрешения вопросов о будущем человека и лучших путях образования, в Европе же эти вопросы решенные... Всё у них предусмотрено, на развитие человеческой природы во все стороны поставлены готовые, неизменные формы. И это совсем не шутка, не парадокс, не ирония, а факт, в котором нельзя не убедиться человеку свободному, с целью поучения наблюдавшему школы одну за другою, как я это делал, хоть бы в одной Германии, хоть бы в одном городе Франкфурте-на-Майне...»

Из Франкфурта он едет в Веймар через Эйзенах. В дневнике: «Ейзенах — дорога — мысли о Боге и бессмертии. Бог восстановлен — надежда в бессмертии». Разрешается сложный душевный кризис, вызванный смертью брата.

Через восемь лет Толстой поедет в Пензенскую губернию посмотреть имение, которое решил купить, и по дороге, ночуя в Арзамасе, переживет то состояние страха и отчаяния, которое уже не сможет забыть, — оно останется в его жизни под именем «арзамасского ужаса»: «Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть».

В таких кризисах являет себя, вызревает то, что обернется позже «переломом», «обращением», как назовут это современники, невозможностью для Толстого жить по-прежнему, поисками учения, которое открывало бы смысл этой земной жизни, прекращающейся и вместе не прекращающейся со смертью.

Веймар — «милейший городок в мире»: «Цивилизации нет никакой, хотя школ пропасть и очень хороших». Понятие «цивилизация» здесь — *толстовское*: «воображаемое знание», предлагающее людям лишнее и уводящее от необходимого, — удобство взамен счастья.

В веймарских школах Толстой беседует с педагогами, эти беседы тревожат его мысль и чувство. Так и записывает в дневнике: «Вечер опять тревога мыслей о воспитании».

Подводит итог каким-то собственным раздумьям, может быть, спорам: «Законы развития ребенка не уловишь... Рисует палки, а ему смутно представляется круг. И приучить к последовательности нельзя тогда, когда все ново».

И следом — необыкновенно примечательное: «Я, кроме “Детства”, еще весь в себе, и потому я так свободно сверху смотрю на них». Размышляя о том, чему и как учить детей, он еще чувствует себя способным смотреть на мир не утратившими первоначальной свежести восприятия глазами Николеньки Иртеньева.

Веймарский учитель Юлиус Штётцер принимает Толстого, который сначала не представился, за своего соотечественника, «потому что он говорил по-немецки так же хорошо, как мы». Незнакомец просит разрешения присутствовать на уроке. Беседа с учителем, он называет важнейшей задачей образования — сделать более свободным течение мысли у детей. Учитель на всю жизнь запоминает употребленное незнакомым гостем слово «flüssig». Между тем понятие «текучести», подвижности и неравномерности происходящих в человеке духовных и душевных процессов, неоднозначности его, способности решительно изменяться в разных условиях внешней и внутренней жизни составляет важную часть раздумий Толстого («Человек текуч»). *Текучесть* обеспечивает свободу личности от постоянно прививаемых обществом и традицией догм, возможность обнаруживать лучшее в себе.

Желая помочь гостю, Штётцер заменяет следовавший по расписанию урок сочинением и задает тему: «Дорогой друг!» Толстой ходит между партами, нетерпеливо берет тетрадь то одного ученика, то другого, читает, что пишут дети. Когда урок подходит к концу, он просит разрешения взять с собой работы учеников. Учитель отвечает, что дети только что купили себе тетради, каждая стоит трид-

цать копеек; Веймар — бедный город, родители будут недовольны, если придется покупать новые. Толстой выходит из класса и вскоре возвращается с большой пачкой писчей бумаги, которую купил в соседней лавке, чтобы дети переписали для него свои сочинения (все девятнадцать листов хранятся в архиве Толстовского музея в Москве).

В отрочестве Юлиусу Штётцеру посчастливилось жить в одном доме с известным Эккерманом, секретарем Гете, записавшим его разговоры. Однажды добрый Эккерман помог юному соседу осуществить его мечту — устроил ему свидание с Гете. Великий старец (Гете было без года восемьдесят) вышел к мальчику в светлом домашнем халате, спросил, как его зовут и что ему нужно, и посоветовал вместо того, чтобы тратить зря время и глазеть на кого-нибудь, поскорее садиться за школьные уроки.

Об этом рассказывает Томас Манн в докладе «Гете и Толстой», прочитанном в 1921 году. Томаса Манна заинтересовало, что в жизнь провинциального учителя, тихую, немудреную и вроде бы обреченную быть именно такой, ворвались встречи с двумя великими людьми, обозначившими «от» и «до» целую эпоху в развитии человечества.

Прибавим: учитель Штётцер родился в 1813 году — год «Битвы народов» под Лейпцигом, после которой Германия была освобождена от господства Наполеона, а умер в 1905-м — русская революция начала свое движение к цели.

14 июля Лев Толстой осматривает дом Гете.

Музея еще нет, в доме живут родственники Гете, простых посетителей туда не пускают. Но Толстой не «простой» посетитель: по приезде он встречается с российским посланником А. Л. фон Мальтицем (его жена — особо помечено в дневнике — тетка Екатерины Федоровны Тютчевой, дочери поэта: тремя годами раньше Толстой, по его признанию, почти готов был «без любви, спокойно жениться на ней»), он представлен герцогу Саксен-Веймарскому Карлу Иоганну (герцог по матери внук российского императора Павла Первого), знакомится с герцогиней (о ней много лет спустя — «дура отпетая») — для него двери в заветный покой открыты.

В дневнике всего два слова: «Дом Гете» (дневник, правда, вообще конспективен). Позже, в старости, вспоминая, ничего не захочет припомнить, разве что несколько раз, не без иронии, забавный эпизод из жизни «веймарского мудреца»: «Наполеон, когда был у него Гете, советовал ему поучиться у Расина. Спросил его, женат ли он. Гете не был обвенчан, жил так со своей возлюбленной и сейчас же женился на ней. «Oh, ein gröber Geist!» — сказал мне проводник в Веймаре».

Толстой сообщает эту историю, подтверждая свою мысль, что верноподданничество приближенных соответствует деспотизму правителей.

Но женился он двумя годами раньше, в 1806-м, правда, после того как наполеоновские войска заняли Веймар. До этого Христиана Вульпиус, дочь низшего дворцового служащего, жила в его доме на ролях «экономки». Для биографов Христиана, с ее приметными формами, черными сияющими глазами и яркими полными губами, олицетворяет «земную любовь» поэта и мудреца.

Толстой, по собственному признанию, прочел все сорок два тома сочинений Гете, некоторые из них неоднократно перечитывал. За немногими исключениями («Герман и Доротея», «Страдания молодого Вертера», отдельные стихотворения) произведения Гете вызывают у него отрицательное отношение. В дневнике 1896 года находим: «Читаю Гете и вижу все вредное влияние этого ничтожного, буржуазно-эгоистического, даровитого человека на то поколение, которое я застал». Тогда же в трактате «Что такое искусство?» Толстой причисляет Гете, «бывшего диктатора философского мышления и эстетических законов», к ложным авторитетам, утверждавшим к тому же силой своего влияния другие ложные авторитеты (среди них — упрямо неприемлемый автором трактата Шекспир). За Гете огорчаться не следует: он

у Толстого в хорошей компании — рядом, через запятую, кроме Шекспира, еще и Данте, и Бетховен, и Рафаэль, и многие иные, от кого, читая, слушая, смотря, Толстой, случалось, приходил в восторг, но кого логика трактата беспощадно отбрасывала в перечень этих самых «ложных репутаций». Речь в трактате о том, что установившийся авторитет имени творца не должен подчинять себе наше отношение к его творениям, наши суждения о нем.

На протяжении жизни Толстой многожды возвращается к чтению «Фауста», отзывы по большей части недоброжелательны, в 1880 годы он окончательно отвергает всемирное творение. И все же. Составляя в 1891 году список произведений, которые в разном возрасте произвели на него наибольшее впечатление, в разделе «от 20 до 35 лет» (то есть как раз период европейских путешествий) среди немногих книг (семь авторов, девять наименований) дважды назовет Гете. Номер первый в списке «Герман и Доротея» — «очень большое» впечатление, следом — «Фауст» и мелкие стихотворения — о них сдержанно: «влияние». Поразмыслив, «Фауста» все-таки вычеркнет. Но сначала — *вписал!*..

Примечательно: Толстой с явным одобрением выхватывает из высказываний Гете все то, что противоречит привычной упорядоченной мудрости веймарского олимпийца. Ему нравится, например, что на сетования иностранного корреспондента, что забыл немецкую грамматику, Гете отвечает, что сам он, напротив, жалеет, что не может ее забыть. В «Гетевском календаре на 1909 год» он особо отметит слова Гете: «Если бы я имел несчастье быть обязанным состоять в оппозиции, я бы лучше стал производить восстание и революцию, чем возиться в мрачном кругу вечно-го порицания существующего».

Настойчиво отрицая Гете, Толстой освобождался от насилия его взглядов и суждений, от того *влияния*, которое признал было, составляя список дорогих книг.

У Романа Роллана в биографии Толстого находим: от гениального творца нельзя требовать беспристрастности; опровергая Шекспира, Толстой утверждает в искусстве собственные идеалы.

Подробность: Гете и Толстой родились в один и тот же день (с разрывом в 79 лет), 28 августа, но каждый по своему *календарю*.

В Веймаре есть еще дом Шиллера, с 1847 года он принадлежит городу. В комнатах все сохраняется в том виде, как было при жизни поэта. О том, что Толстой и этот дом посетил, нигде ни слова. Но нипочем невозможно поверить, чтобы, всякий день проходя мимо, туда не завернул.

«Суха та душа, которая смолоду не любила Шиллера», — это Гете слова, и в чем, в чем, а в этом Толстой с ним, безусловно, согласен. Да только ли в молодости? В 1905 году, в ответ на просьбу немецкой газеты отозваться на столетие со дня смерти Шиллера, он пошлет телеграмму: «Шиллер живет, не умирает». «Разбойники», одна из самых дорогих книг среди прочитанных «от 14 до 20 лет», остается такой до старости: «Разбойники» — «глубоко истинны и верны». Бережно хранит Толстой томик Шиллера 1840 года издания, который побывал с ним в осажденном Севастополе. И что же? Был в Веймаре и к Шиллеру не заглянул?..

Любопытно: в толстовской «модели Гете» прославленная дружба Гете и Шиллера оборачивается противопоставлением. В высказываниях Толстого, письменных и устных, упоминание Гете, по большей части со знаком «минус», тянет следом упоминание Шиллера со знаком «плюс». Однажды формулировка становится предельно резкой: «Шиллера я люблю, это свой человек, а Гете — мертвый немец».

Гете холоден. Шиллер — «настоящий». Гете, когда читаешь его драмы, «видно, как сидел и сочинял». У Шиллера — духовная энергия, нет лишних слов. Гете «занимается эстетической игрой». Шиллер из тех великих писателей, которые пишут кровью сердца.

В 1856 году Толстой пишет: «“Wage nur zu irren und zu träumen!”» Шиллер сказал. Это ужасно верно, что надо ошибаться смело, решительно, с твердостью, только

тогда дойдешь до истины». В строчке Шиллера, в словах, ею рожденных, — семечко, из которого годом позже вырастут строки письма к А. А. Толстой, своего рода пожизненное духовное кредо Толстого: «Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать... и вечно бороться и лишаться...»

Живет в Веймаре некто Густав Келлер, молодой человек — недавно ему исполнился двадцать один год, — круглолицый, румяный, с густой шапкой светлых волос и с круглыми веселыми глазами за маленькими золотыми очечками. Он только что окончил политехнический институт. У своего старого школьного учителя Келлер застаёт странного гостя — русский граф изучает в Европе систему народного образования. Граф сразу производит на юношу сильное впечатление пронизательной неожиданностью суждений, каждое его слово полнится убежденностью. Через несколько минут он предлагает Келлеру ехать с ним в Россию, в деревню — учить крестьянских детей. Наверно, сам себе удивляясь, молодой человек принимает как с неба свалившееся предложение.

И вот вместо чистеньких веймарских мостовых — грязь непролазная, вместо приятных глазу домиков, покрашенных розовым, желтым, зеленым, — черные избы, бедные дворы, непонятные, часто пьяные мужики, рано стареющие бабы. И такой долгий снег... А детишки в школе — чудесные: сообразительны, чутки, добродушны. В них от природы заложено такое чувство правды и красоты, что, распознав его, новый учитель уже не удивляется, когда Лев Николаевич всерьез называет рядом яснополянского мальчика Игната Макарова и великого Гете.

Густав Федорович, как именуют Келлера в России, показывает детям опыты по химии и физике, учит их математике и рисованию. Он старается, чтобы уроки были интересные, придумывает занятные упражнения и задачки. И нраву он доброго, дети его любят. «Он был смиренный, никого не ругал и не бил и рассказывал все нам, как в Ерманнии хорошо, что там лето, а зимы почти нет». — Это Игнат Макаров про него.

Русским языком Густав Келлер за самый короткий срок овладел настолько хорошо, что помогает Льву Николаевичу готовить статьи для педагогического журнала. Пристрастился он и к охоте. Толстой, заядлый охотник, берет его с собой на тягу. Ну, не все сразу, конечно. Поначалу, например, не всегда получалось верхом по окрестному бездорожью. В связи с чем Л. Н. Толстым однажды сочинены стихи (в полном собрании сочинений не напечатаны):

Для Келлера Густава  
Не писано устава,  
Лишь вырыта канава...

Минет год с небольшим, граф женится, молодая жена будет ревновать мужа ко всему, что мешает ему принадлежать только ей. «Он мне гадок со своим народом, — прочитаем в ее дневнике через два месяца после свадьбы. — Я чувствую, что или я... или народ с горячей любовью к нему Л. ...Страшно с ним жить, вдруг народ полюбит опять, а я пропала, потому и меня любит, как любил школу, природу, может быть, литературу свою...» В жизни Толстого пора — счастливая и трудная: «Черты теперешней жизни — полнота, отсутствие мечтаний, надежд, самопознания...» Но «мысль семейная», которую он, с раннего детства круглый сирота, так долго формировал и выласкивал, наполняет и увлекает его. И «литература своя» снова начинает сильно его тревожить. Еще недавно — так ему казалось — уверенно предпочитал ей педагогику, шутливо перефразировал известные строчки: «Мне, как учителю, уж чужды все сочиненья прежних дней». Но, чувствует, *«надо работать»* (подчеркнуто) — это уже про литературу: настает время «Войны и мира». Занятия школой идут на убыль.

А как же наш Келлер? Он затоскует, совсем соберется обратно в Германию (матушка как раз прищёт ему хорошее место)... да и не поедет. Как-то странно, сразу прилепится он душой к этой России. Сорок лет, до самой кончины в 1904 году, Густав Федорович будет преподавать немецкий язык в Тульской классической гимназии, увлекая учеников переводами Гете, Шиллера, Лессинга.

Чем не сюжет для повести?

17 апреля, накануне отъезда из Веймара, Толстой слушает в оперном театре «Волшебную флейту» Моцарта: «Восторг, особенно дуэт». И, беседуя с Танеевым, сорок пять лет спустя: «Прелестная эта опера. Я ее слышал в Веймаре — Лист дирижировал».

Поздние высказывания о музыке особенно дороги. Они принадлежат времени, когда Толстой, движимый идеей, что музыка должна всех людей объединять в общем чувстве, должна быть понятна простому народу, заставляет себя «не принимать» чудесные творения, над которыми проливает слезы, потому что они созданы для «сословия людей с извращенным ложным воспитанием вкусом», к этому сословию он относит и себя.

Он нередко вспоминает высказывание Канта о музыке — «pflichtlöses Genuss». Это выражение переводят по-разному: наслаждение — «чуждое долгу», «необязывающее», может быть, точнее — «свободное от исполнения долга». Толстой записал его после встречи с Бертольдом Ауэрбахом — видимо, впервые услышал от него.

Личное знакомство с любимым писателем происходит в Берлине, куда Толстой, завершая путешествие, приезжает 21 апреля 1861 года.

Он является к Ауэрбаху, с порога представляется: «Я — Евгений Бауман».

В романе Ауэрбаха «Новая жизнь» молодой граф, участник революции 1848 года, приговоренный к смертной казни, добывает паспорт народного учителя Евгения Баумана, поселяется в глухой деревушке и находит счастье, вращаясь в народную жизнь «корнями всего своего бытия».

Видя растерянность хозяина, Толстой прибавляет: «Не по имени, но по характеру». «И тогда я сказал ему, кто я, как сочинения его заставили меня думать и как хорошо они на меня подействовали».

Подробности беседы неизвестны. Но о народной школе они непременно говорят. Позже Толстой станет даже утверждать, будто именно Ауэрбаху обязан тем, что открыл школу для крестьян. Знаем, что школа в Ясной Поляне ко времени их встречи уже действовала, но в преувеличении Толстого обнаруживает себя сила воздействия на него немецкого писателя и разговора с ним.

В черновых рукописях трактата «Что такое искусство?» помечает: «Романы первого разбора: Диккенс, В. Гюго, Ауэрбах».

Читаем в «Новой жизни»: «Ты сам — лучший учитель. Создай сам с помощью детей свою методику, и все пойдет отлично. Всякая абстрактная методика нелепа. Самое лучшее, что может сделать учитель в школе, зависит от него самого, от его собственных возможностей».

С этой мыслью, вполне соответствующей собственным его убеждениям, проверенной его собственной педагогической практикой, осматривал Толстой школы Европы и, осмотрев, еще более утвердился в ней. Он возвращается домой, еще более уверившись в необходимости отказаться от всякого деспотизма в отношениях с детьми, от попыток заменить особенности детского постижения мира нашими взрослыми принципами и способами познания.

К этому пришел и Евгений Бауман: «вместо того чтобы навязывать детскому уму недоступные ему истины», он искал пути, «чтобы дети сами постоянно искали истину и открывали ее».

В размышлениях немецкого писателя Толстой не мог не заметить смолоду значимой для него — как жизненная задача и потребность — идеи постоянного совершенствования человека, позже она станет краеугольным камнем его учения. «Легко сказать — мир должен сделаться лучше. Это верно. Но прежде всего должны все мы сделаться лучше», — в лад с тем, что не устает повторять Толстой, утверждает герой Ауэрбаха.

В дневнике об Ауэрбахе: «Ему 49 лет, он прям, молод, верущ. Не поэт отрицания». Всё необыкновенно дорогие для Толстого черты.

«Ауэрбах!!!!!!!!!!!!!! Прелестнейший человек. Ein licht mir aufgegangen». После имени Ауэрбаха пятнадцать восклицательных знаков.

Встреча с Ауэрбахом дает бодрый, открытый финал всему растянувшемуся на год и девять месяцев заграничному путешествию.

Из письма: «Я здоров и сгораю от нетерпения вернуться в Россию. Но, попав в Европу и не зная, когда снова попаду сюда, ...я всячески стараюсь как можно больше воспользоваться моим путешествием. И, кажется, мне это удалось. Я везу с собой столько впечатлений и столько знаний, что мне придется долго работать, чтобы уместить все это в порядке в голове».

Знания и впечатления, привезенные Толстым из Европы, обнаружим не только в его педагогических сочинениях, не только в «заграничных» страницах «Войны и мира» и «Анны Карениной». Эти знания и впечатления, подчас не выказывая себя явно, вычитываются во многих страницах его художественных произведений и публицистики, угадываются как побудительное начало значимых мыслей и решительных выводов.

12 апреля 1861 года (календарь опять российский) Л. Н. Толстой возвращается в отечество: «Граница. Здоров, весел, впечатление России незаметно».



## Пушкинский роман Льва Толстого

Самый читаемый роман русской классической литературы, «Анна Каренина», написан «благодаря божественному Пушкину», так отозвался об этом сам автор.

Соприкосновение художественных миров Пушкина и Толстого произвело эффект «звездного взрыва», — и это не вследствие «литературного влияния», но в силу генетического родства.

Самый облик героини романа «схвачен живьем» со встреченной Толстым на балу дочери Пушкина Марии Александровны Гартунг. Толстой сразу заметил у нее «арабские\* завитки на затылке» и придал эту черту внешности Анне Карениной.

Льва Николаевича представили Марии Александровне — он не был знаком с ней, хотя они доводились друг другу родней. Толстой был четвероюродным племянником Александра Сергеевича, но никогда и нигде не обмолвился об этом. Случайная встреча в Туле, где служил муж Марии Александровны генерал-майор Леонид Николаевич Гартунг, свидетельствовала о том, что к тому времени, к 60-м годам, семьи Пушкиных и Толстых были отдалены друг от друга, отношения родства между ними не поддерживались. Не то было при жизни Пушкина: мальчиком он учился танцам вместе со своей кузиной (четвероюродной сестрой) княжной Марией Николаевной Волконской в московском доме князей Трубецких, их общих родственников\*\*. После окончания лицея Пушкин сошелся в Петербурге с Федором Ивановичем Толстым-Американцем, сначала врагом, потом другом и сватом. Федор Иванович — двоюродный брат Николая Ильича, отца писателя; как самого близкого и почитаемого родственника его встречали в Ясной Поляне.

Наверняка встречался с Пушкиным-лицеистом и дядюшка Льва Николаевича Владимир Иванович Юшков, муж тетки Пелагеи Ильиничны: после возвращения из заграничного похода в 1814 г. Лейб-гвардии гусарский полк, в котором служил Владимир Иванович Юшков, стоял в Царском Селе, и лицеисты подружились с гусарами. В шуточном лейбском стихотворении Пушкина «Нозель на Лейб-гусарский полк» наряду с другими гусарами упомянут брат Владимира Ивановича Осип (Иосиф) Иванович Юшков.

По традиции, старинные дворянские родовые связи хранились и поддерживались в Москве. Пушкин в последние годы жизни оставался с семьей в Петербурге. Толстые в то время жили в Ясной Поляне, а после смерти Николая Ильича — в Казани. Жизненные пути молодого поколения Пушкиных и Толстых далеко разошлись.

В Казани среди светских знакомых молодых графов Толстых оказался какой-то родственник князя Михаила Семеновича Воронцова. По воспоминаниям Льва Николаевича, этот воронцовский родственник рассказывал им о Пушкине как о человеке неприятном, даже жалком, который якобы заискивал перед «светом» и участвовал в кутежах молодежи, будучи уже женатым\*\*\*.

Под влиянием подобных рассказов у Льва и его братьев сложилось снисходительно-пренебрежительное отношение к Пушкину и его поэзии. Поколением 50-х годов, к которому принадлежал молодой Толстой, сочинения Пушкина воспринимали

---

\* Вероятно, Л. Н. сказал «арапские». — Н. А.

\*\* Иван Дмитриевич Трубецкой, дядя М. Н. Волконской, приходился троюродным братом Сергею Львовичу Пушкину, отцу поэта, и родным братом Екатерине Дмитриевне Трубецкой (в замужестве Волконской), бабушке Л. Н. Толстого.

\*\*\* Д. П. Маковицкий. У Толстого. Яснополянские записки. См. в: «Литературное наследство», т. 90, кн. II, сс. 594, 597.



лись как литература вчерашнего дня. Это отношение отразилось, как в фокусе, в отзыве Толстого по прочтении им пушкинского «Каменного гостя» в 1856 г.: «Правда и сила, мною никогда не предвиденная в Пушкине». С блестящим успехом дебютировавший автор «Детства, отрочества, юности», «Севастопольских рассказов» не мог тогда и представить, какую роль предназначено сыграть Пушкину в его творческой судьбе.

К началу 70-х годов Толстой закончил писание и печатание «Войны и мира». В разноголосом хоре критических отзывов о новом сочинении хула, язвительные замечания смешивались с выражением восторга и высокой оценки. Очевидно было одно: в мнении читающей публики Толстой состоялся как выдающийся исторический романист.

В ту пору Толстой находился в полном расцвете физических и духовных сил. Ему непривычно было чувство свободы от напряженного писательского труда. С иронией пишет он о себе брату Сергею (14 января 1870 г.): «Я ничего не пишу, а все катаюсь на коньках».

Толстой подыскивал сюжеты для нового исторического романа. В его Записной книжке появились самые невероятные темы: взятие Корсуни князем Владимиром Святославичем, крестителем Руси; женитьба юного Петра II на дочери князя Меньшикова; история поручика Мировича, пытавшегося освободить из Шлиссельбургской крепости царевича Иоанна Антоновича...

В конце концов личность Петра I оттеснила другие исторические фигуры, и Толстой погрузился в изучение материалов петровской эпохи. Но так случилось, что от романских замыслов писателя отвлекла насущная потребность дня — необходимость создания «Азбуки» для обучения детей, главным образом крестьянских. Два года — 1871-й и 1872-й — Толстой посвятил составлению и изданию «Азбуки» и «Арифметики». Только в октябре 1872 г. Толстой смог вернуться к своему замыслу романа о Петре I. 28 октября 1872 г. Софья Андреевна сообщила сестре Т. А. Кузминской: «Левочка уже начал новый роман и очень весел и радуется будущему своему труду».

Но как Толстой ни «прилаживался» (слово из его письма Фету) писать, новое сочинение не двигалось с места.

С глубоким огорчением признается Лев Николаевич в письме к своему другу Александре Андреевне Толстой: «Работа моя идет дурно. Жизнь так хороша, легка и коротка, а изображение ее всегда выходит так уродливо, тяжело и длинно». Поистине надо быть Львом Толстым, чтобы найти такую антитезу жизни и ее изображению посредством слова!

Толстой обессилел, пытаясь осуществить свой исторический замысел, жаловался Фету, что сил у него становится все меньше и меньше.

И вдруг все переменялось.

Случай перевернул все в творческой судьбе писателя. Софья Андреевна оставила уникальное свидетельство, как великое прорастает из быта: «19 марта. Вчера вечером Л. мне вдруг говорит: «А я написал полтора листочка, и, кажется, хорошо». Думая, что это новая попытка писать из времен Петра Великого, я не обратила большого внимания. Но потом я узнала, что начал он писать роман из жизни частной и современной эпохи. И странно он на это напал. Сережа все приставал ко мне дать ему почитать старой тете вслух. Я ему дала «Повести Белкина» Пушкина. Но оказалось, что тетя заснула, и я, поленившись идти вниз, отнеси книгу в библиотеку, положила ее на окно в гостиной. На другое утро, во время кофе, Л. взял эту книгу и стал перечитывать и восхищаться»\*.

Томик Пушкина, забытый на подоконнике, оказался магическим предметом. Стоило только Толстому взять его в руки и погрузиться в чтение, как он оказался во власти пушкинской гармонии. Он перечитывал Пушкина, как припоминал, в седьмой раз. Но только в этот раз совершенство пушкинской прозы ему открылось; в ней не было той мучительной антитезы: жизнь хороша, легка, коротка — изображение ее уродливо, тяжело и длинно. У Пушкина все было коротко, легко, прекрасно, как сама жизнь. Поэтому Толстой и назвал Пушкина божественным. В письме к П. Д. Голохвастову (7 апреля 1873 г.) Толстой дал подробное объяснение этому явлению: «Область поэзии бесконечна, как жизнь; но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии, и смешение низших с высшими, или принятие низшего за высший, есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пуш-

\* С. А. Толстая. Дневник. В 2-х тт. М., 1978, т. 1, с. 500.

Сережа — старший сын Л. Н. и С. А. Толстых. Тетя — Татьяна Александровна Ергольская.

кина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства. Я знаю, что анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается. Чтение даровитых, но негармонических писателей (то же музыка, живопись) раздражает и как будто поощряет к работе и расширяет область; но это ошибочно; а чтение Гомера, Пушкина сжимает область и если возбуждает к работе, то безошибочно».

Чтение Пушкина дало Толстому ощущение свободы, помогло обрести истинное своё. Попытки писания исторического романа оказались в дисгармонии с исключительным даром писателя передавать поэзию живой жизни — вспомним, что ею одушевлены страницы «Войны и мира». Неудача с романом из петровской эпохи коренится не в том, что Толстого разочаровала личность Петра и петровские реформы, как объясняют это толстоведы, но в том, что в этой теме не было простора для лирической стихии, необходимой Толстому-художнику для полноты творчества.

Из всех произведений Толстого «Анна Каренина» — самое лирическое. Это дало повод исследователям сравнивать «Анну Каренину» с «Евгением Онегиным»\*.

Сравнение, безусловно, верно для окончательного текста романа, но далеко не сразу сочинение появилось во всей полноте и композиционной законченности, оно как бы разрасталось из ядра, обретая особую архитектуру, которой сам ее создатель гордился\*\*.

К первоначальному замыслу романа относится эпизод, упомянутый Софьей Андреевной как бы мимоходом, но в нем-то и заключалось ядро, из которого разрастался роман. За три года перед тем, как Толстой взял в руки томик Пушкина, она записала в Дневнике (24 февраля 1870 г.): «Вчера вечером он мне сказал, что ему представился тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины»\*\*\*.

Незнакомка явилась художнику — и надолго исчезла. Она возникла вновь в его воображении, когда после «Повестей Белкина» он прочел отрывок «Гости съезжались на дачу»: давнее, задуманное им, встретилось вдруг с незавершенным пушкинским.

Тип женщины из высшего света, потерявшей себя, но не виноватой, привлек внимание обоих художников; примечательно, что портреты героини у Пушкина и у Толстого наделены несхожими характерными чертами.

Зинаида Вольская из отрывка «Гости съезжались на дачу» — одна из первых красавиц Петербурга, порывистая и ребячливая («годы шли, а в душе Зинаиды все еще было четырнадцать лет»). Ее детская непосредственность и непостоянство отражаются в ее лице, «изменчивом, как облако». Автор к ней снисходителен, свет судит о ней беспощадно: «Страсти! какое громкое слово!.. Просто она дурно воспитана». Минский, поклонник и наперсник Зинаиды, замечает о ней: «Она уморительно смешна...»

О героине Толстого, какой она предстает и в первоначальной, и в окончательной редакциях, подобная шутовская реплика была бы неуместна. Кто посмел бы сказать об Анне Карениной: «Она просто дурно воспитана» или «уморительно смешна»?

Толстой поначалу придает своей героине резкие, непривлекательные черты. Татьяна Ставрович — такое имя дано ей в первом варианте романа, написанном 18 марта сразу «красиво и круто»\*\*\*\*, как считал сам автор, — вульгарна, откровенно эгоистична, появляется в обществе «в желтом с черными кружевами платье, в венке и обнаженная больше всех». Писатель этим замечанием не ограничивается, добавляет к портрету героини существенную черту: «Было вместе что-то вызывающее, дерзкое в ее походке и что-то простое и смиренное в ее красивом румянном лице». Муж Татьяны Михаил Михайлович Ставрович (Каренин в окончательном варианте) представлен как человек кроткий, добрый, вызывающий в свете насмешки своим смиренным видом и поведением. Любовник, Иван Балашов, — «невысокий, коренастый, тем не менее привлекающий всеобщее внимание». Балашов участвует в скачках, и сцена скачек сохраняется в окончательной редакции романа почти без изменений,

\* См.: Э. Г. Бабаев. Роман и время. Тула, 1975; его же: Комментарии к «Анне Карениной» в кн.: Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в 22-х тт. Т. 9. М., 1982.

\*\* См. письмо Л. Н. Толстого С. А. Рачинскому 27 января 1878 г. в: Полное («Юбилейное») собрание сочинений в 90 тт. М., 1928—1958. Т. 62, с. 377.

\*\*\* С. А. Толстая. Дневник. Т. 1, с. 497.

\*\*\*\* Письмо Л. Н. Толстого Н. Н. Страхову 25 марта 1873 г. ПСС, т. 62, с. 16.

хотя изменяются имена и характеры героев. Описывая сцену бурных объяснений между мужем и женой, Толстой внезапно находит символическое словосочетание: «дьявольский блеск» в глазах героини. Это отражение вспышки зла в глубинах души останется неизменной приметой образа женщины, потерявшей себя и не виноватой; «бесовское» проглянет в прекрасном лице Анны Карениной...

Краткий роман о Татьяне Ставрович заканчивался тем, что она осознала себя виновницей несчастий двух людей. В тексте раскрывается столкновение в ее душе добра и зла при объяснении ее с мужем: «Враждебное блеснуло в ее взгляде, в ней, в доброй, ни одной искры жалости к этим двум прекрасным (она знала это) и несчастным от нее двум людям».

Татьяна принимает роковое решение — пишет мужу записку и исчезает из дома. «Через день нашли под рельсами (зачеркнуто: «в Неве») ее тело».

Как видим, сюжетная схема романа в основном сохранилась, но в окончательном тексте, обогащенная новыми сюжетными линиями и множеством житейских подробностей, утратила нарочитую прямолинейность.

В процессе работы над романом Толстой не только изменил имена героев, расширил круг действующих лиц. Он из непривлекательной Татьяны творил Анну — и создал один из лучших женских образов в мировой литературе. Для создания превосходного, полного поэтической прелести портрета героини ему припомнились и пригодились и «арапские» завитки дочери Пушкина, и ее обаяние и грация.

Анну Каренину обычно сопоставляют с Татьяной Лариной.

Поэт Евгений Винокуров в «Заметках о Пушкине» высказывался вполне категорично: «Лев Толстой в «Анне Карениной» продолжил историю Лариной, проследил другой вариант этой коллизии: а что было бы, если бы она поступила по-другому»\*.

Для параллели Татьяна Ларина — Анна Каренина можно найти любопытные сведения в черновых вариантах романа.

В окончательном тексте Анна является на страницах романа дамой высшего петербургского общества. Но прежде чем достичь такого положения в свете, Анна Облонская была московской барышней подобно Татьяне Лариной. В одном из черновиков обронена фраза о ее девических воспоминаниях: «...когда я девушкой жила в Москве...» 17-ти лет Анна ездила с теткой, у которой воспитывалась, к Троице (в Троице-Сергиеву лавру): «На лошадях еще, — вспоминала Анна. — Неужели это была я с красными руками? Как многое из того, что тогда мне казалось так прекрасно и недоступно, стало ничтожно, а то, что было тогда, теперь навеки недоступно».

Тетка устроила брак Анны с Карениным, жених был старше невесты на двадцать лет. По-видимому, для сироты-воспитанницы, как и «для бедной Тани», «все были жребии равны» — Анна пошла под венец.

За годы замужества Анна из простенькой девушки «с красными руками» превратилась в очаровательную женщину; изменился не только ее внешний облик — пробудились дремавшие силы ее души; волнение этих стихийных сил перевернет ее спокойную, внешне благополучную жизнь.

В окончательном тексте Анна появляется только в XVII главе на Николаевском вокзале железной дороги в Москве. Первое появление героини в обстановке железной дороги символично: в этом слышится, как голос рока, предсказание ее судьбы.

Анна Каренина описана такой, какой видит ее впервые встретившийся с ней Вронский: «Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц серые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенесли на проходящую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшей ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке...»

Одно брошенное художником вскользь наблюдение о переполняющем Анну «избытке чего-то» раскрывает диалектику души героини, предопределяет ее трагедию. Случайный толчок нарушает равновесие этой души, и в ней начнется мятеж стихийных сил; утихомирят мятеж только смерть.

Возможна ли подобная коллизия для Татьяны Лариной?

Вспомним главное, что сказал Пушкин о своей появившейся на великосветском балу героине: «...все тихо, просто было в ней». Душевный строй Татьяны определя-

\* «Вопросы литературы», 1974, № 1, с. 231.

ли тишина, гармоническая уравновешенность, в ней нет «избытка чего-то». При сходстве девической судьбы и общественного положения Татьяны Лариной и Анны Карениной у них глубоко различен, если так можно выразиться, «состав души».

Историческое значение романа зависит от способности его создателя угадать и поместить в центре произведения такой характер, в котором, по словам Пушкина, «отразился век».

Толстой угадал характер Анны как символ своего времени.

Однако писатель не только стремился запечатлеть в романе верно найденные им характеры, ему необходимо было окружить их атмосферой повседневности, создать неотразимое впечатление того, что они двигаются, действуют в нескончаемом потоке жизни. Так из первоначального сжатого, схематичного текста возник роман «широкий, свободный», как позднее определил его сам автор\*. Случайно или не случайно Толстой употребил применительно к «Анне Карениной» пушкинское слово.

Свободный роман — «Евгений Онегин» — создал Пушкин, не преминув заметить при этом: «Роман в стихах — дьявольская разница!» В стихах свободно, естественно вступал в повествование голос автора, образуя этот лирический поток, который создает единство, целостность, ощущение живой жизни в пушкинском романе.

В прозе такой художественный прием, наверное, тоже был бы возможен. Но Толстой предпочел поступить по-другому: он персонифицировал авторский голос, введя в круг действующих лиц героя — alter ego автора. Впервые этот герой появляется в четвертом варианте начала романа, имя его Константин Нерадов, он помещик, приехавший в Москву из деревни, чтобы показать на сельскохозяйственной выставке своих телят. Портрет Нерадова выдает его близкое родство с автором: «...стройный, широкий атлет с лохматой русой головой и редкой черноватой бородой и блестящими голубыми глазами, смотрящими из широкого толстоного лица». В окончательной редакции Нерадов стал Левиным. Там, где Левин, в романе наперекор трагедийному пафосу торжествует поэзия живой жизни.

Через восприятие Левина Толстой выражает свое отношение к капиталистической урбанизации, начавшейся в России, особенно в Москве, к началу 70-х годов.

В тексте «Анны Карениной» есть одно слово, которым Толстой определил происходящее. Это слово-символ: Вавилон.

Оно как бы затерялось в тексте среди подробностей быта, промелькнуло вдруг в сцене светского разговора в салоне Щербацких, когда графиня Нордстон обратилась к Левину с язвительной репликой: «—А! Константин Дмитриевич! Опять приехали в наш развратный Вавилон,— сказала она, подавая ему крохотную желтую руку и вспоминая его слова, сказанные как-то в начале зимы, что Москва есть Вавилон.— Что, Вавилон исправился или вы испортились?»

Вавилон — синоним огромного международного торжища, где смешались языки, обычаи, нравы и где царят золото и порок.

И все же Москва еще хранила свои особенные, дорогие писателю черты; московский старинный быт был по-прежнему для него привлекателен. В первых же вариантах романа появляется представитель этой старой доброй Москвы — Степан Аркадьевич, поначалу фамилия его Алабин, потом Облонский. Это герой с типичным московским характером, открытым, общительным. Автор замечает о нем: «За то-то и любили все Степана Аркадьевича, что он с людьми думал только о том, как бы быть им приятным».

Степан Аркадьевич — Стива — приятель Константина Левина. (Невольно вспоминается: «Онегин, добрый мой приятель...») Стива как никто другой из действующих лиц помогает автору продвигать действие романа; без Стивы невозможны были бы неожиданные встречи героев, их оживленные диалоги. Кроме того, у Стивы есть свояченица Кити, в которую влюблен Левин. Поэтому по приезде из деревни в Москву Левин тотчас же разыскивает Степана Аркадьевича. Стива заказывает для них обед в гостинице «Англия». Описание этого обеда занимает в романе две главы (X и XI) окончательного текста. Во время обеда между приятелями завязывается откровенный разговор о таинстве брака, о супружеской верности, о любви. Содержание дружеской беседы Толстой считал подлинной основой романа, той доминантой, которая определяет смысл изображаемого. Недаром Левин припоминает в разговоре со Стивой о «Пире» Платона — философском сочинении о двух родах любви.

Примечательно, что в диалоге каждый из собеседников произносит пушкинскую стихотворную строку, и у каждого выбор стиха соответствует его характеру:

\* См. письмо Л. Н. Толстого Г. А. Русанову 12 марта 1889 г. ПСС, т. 64, с. 235.

у Стивы звучит игривое «Узнают коней ретивых...», у Левина — меланхолическое «...и с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь...».

Звучание поэтических строк в потоке дружеской беседы придает ей особую задушевность и в то же время оттеняет разность характеров и жизненных позиций героев. Толстой заканчивает сцену обеда глубоким и резким психологическим штрихом: «И вдруг они оба почувствовали, что хотя они и друзья, хотя они обедали вместе и пили вино, которое должно было бы еще более сблизить их, но что каждый думает только о своем и одному до другого нет дела. Облонский уже не раз испытывал это случавшееся после обеда крайне раздвоенное вместо сближения и знал, что надо делать в этих случаях.

— Счет! — крикнул он...»

В отличие от Левина, про которого говорится, что он «дик», то есть неподатлив на внешние воздействия, Стива, что называется, «добрый малый», он открыт влиянию не только добра, но и зла. Наступающий Вавилон прельщает его своими соблазнами. На первых же страницах романа описана сцена пробуждения Стивы, когда он вспоминает о сне, полном фантастических удовольствий: будто он на роскошном обеде в Дармштадте, и не в Германии, а что-то американское, и там стеклянные поющие столы и графинчики — они же женщины...

Ловкий помощник автора, Стива за обедом в гостинице «Англия» раскрывает будто невзначай важную сюжетную интригу: он предупреждает Левина, приехавшего делать предложение Кити, что у него грозный соперник — граф Вронский.

Отобедав вечером с Левиным, Стива утром случайно встречается с Вронским на вокзале Петербургской железной дороги, куда он отправился, чтобы встретить свою сестру Анну Аркадьевну, которая выехала из Петербурга в Москву с намерением во что бы то ни стало примирить брата с его женой Долли.

В сценах на вокзале необычайно осязательно передано ощущение надвигающегося на город зла: Москва — Вавилон, вокзал — врата Вавилона.

В черновых вариантах вокзал был описан пространно, со всеми техническими подробностями железнодорожного сооружения. В окончательном тексте Толстой опускает некоторые специальные детали, усиливая образность описания; и привлекает внимание читателя к изображению приближающегося поезда: «...вдали уже свистел паровоз. Через несколько минут платформа задрожала, и, пыхтя сбиваемым книзу от мороза паром, прокатился паровоз с медленно и мерно насупливающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса и с кланяющимся, обвязанным, заиндевелым машинистом...»

Этот зорко примеченный Толстым «насупливающийся рычаг» словно заранее угрожает бедой.

Морозная мгла, окутавшая привокзальные пути, придает происходящему фантастический зловещий колорит. Сквозь морозный пар через рельсы загибающихся путей движутся фигуры рабочих в полушубках, в мягких валенках... И в этот момент поездом задавило человека: «Сторож, был ли он пьян или слишком закутан от сильного мороза, не слышал отодвигаемого задом поезда, и его раздавили». В собравшейся на платформе толпе слышались голоса: «Говорят, на два куска...»

Анна Аркадьевна в этот момент находилась в вагоне поезда, ожидая брата. От Стивы она узнала подробности несчастного случая. Потрясенная судьбой раздавленного человека, Анна увидела в его гибели дурное предзнаменование.

Анна приехала в Москву с самыми добрыми намерениями — и оказалась в пагубной для нее атмосфере зла. Анна — родная сестра Стивы, и ей, как и ему, невозможно устоять перед соблазном. Но если Стива легко несет бремя своих грехов и не теряет присущих ему жизнерадостности и душевного равновесия, то для Анны соблазн греха означает душевную катастрофу. «Избыток чего-то» вздымается в ее душе неукротимым вихрем, и нет уже ничего, что может ее удовлетворить и успокоить.

Толстой глубоко проник в трагедию женской души. Он недаром в XI главе ставил Левина цитировать изречение Платона о любви.

«И те, что понимают только неплатоническую любовь, напрасно говорят о драме, — волнуясь, произносит Левин. — «Покорно вас благодарю за удовольствие, мое почтение», вот и вся драма. А для платонической любви не может быть драмы, потому что в такой любви все ясно и чисто, потому что...» — от волнения Левин не в силах закончить свою мысль.

То, что произошло с Анной, не укладывается в заданную схему. Измена мужу с любовником как проявление неплатонической любви, по мысли Толстого, «не составляет драму», а платонической любви к Вронскому в душе Анны нет и тени. То, чему она поддалась, оказалось дьявольским соблазном власти. Анна появляется на

балу московского генерал-губернатора с неукротимым желанием испытать на Вронском власть своей красоты. Это ей удается, и влюбленная в графа Кити с отчаянием видит в лице Вронского «поразившее ее выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата». Анна, как азартный игрок, хладнокровно и равнодушно разбивает счастье своей молоденькой соперницы. В этот миг глазам Кити открывается «что-то бесовское» в красоте Карениной.

Все дальнейшее в отношениях между Анной и Вронским — расплата за ее опьяняющее торжество на бале. За власть над этим непривыкшим подчиняться человеком Анна заплатит мужем, сыном, отторжением от привычного светского круга и, пожертвовав всем, убедится, что власть ее красоты не может быть бесконечной. Она испытывает состояние проигравшегося игрока.

Не случайно Толстой вводит в повествование второстепенного героя, положение которого сходно с положением Анны. Это полковник Яшвин, отчаянный игрок. Он появляется на страницах романа при посещении Левиным «Храма праздности». В самом деле, какой же Вавилон без «Храма праздности»? В Москве, на Тверской, в бывшем дворце Разумовских разместился Английский клуб — его и называет Стива «Храмом праздности» и, как завсегдатай, сопровождает туда Левина, который давно там не бывал. Храм внушал входящим «впечатление отдыха, довольства и приличия». Но среди чинных покоев с солидными гостями, в глубине анфилады находилась *инфернальная* (курсив Л. Толстого.— Н. А.) комната; там играли азартно на крупные ставки, как «у славного Чекалинского» в «Пиковой даме». Яшвин, приезжая в клуб, спешил в «инфернальную», выигрывал и проигрывал и желал в жизни, кажется, одного — чтобы ему везло в карты.

Накануне того дня, когда Анна, измученная ссорами с Вронским, внезапно решает уехать из дома, к ним приходит Яшвин, сорвавший большой выигрыш. На расспросы Анны, не жалко ли ему проигравшего, игрок отвечает: «Никогда не спрашивал себя, Анна Аркадьевна, жалко или не жалко. Все равно как на войне не спрашиваешь, жалко или не жалко... Ведь кто со мной сидится — тоже хочет оставить меня без рубашки, а я его».

Анне, доведенной отношениями с Вронским до отчаяния, кажется, что в словах Яшвина заключается смысл жизни. «Вот это правда», — думает она.

Душевное состояние Анны в ее последние дни усугубляется обстановкой, в которой она вынуждена находиться. В ожидании развода от Каренина Анна и Вронский остаются на лето в городе, где снимают квартиру в модном, только что отстроенном «доходном доме» на Ильинке. По понятиям того светского круга, к которому принадлежала Анна, в *chambres garnies* (меблированных комнатах) было нечто удивительное. Жизнь в «доходном доме» напоминала ей о двусмысленности ее положения, и ей сделались ненавистны давящие стены ее новомодного жилища. Анна говорит Вронскому: «Ничего нет ужаснее этих *chambres garnies*. Нет выражения лица в них, нет души. Эти часы, гардины, главное — обои — кошмар...» И далее следуют предвещающие ее судьбу слова: «Ей поскорее хотелось уйти от тех чувств, которые она испытывала в этом ужасном доме. Прислуга, стены, вещи в этом доме — все вызвало в ней отвращение и злобу и давило ее какой-то тяжестью».

Анна покидает этот дом, чтобы в него уже не вернуться. Она едет в карете на Нижегородскую станцию железной дороги, откуда поезд идет до станции Обираловка, поблизости от которой расположено имение матери Вронского; граф туда уехал, и Анна не могла дожидаться его возвращения. По дороге к Рогожской заставе, где в то время находилась Нижегородская станция, Анна испытывает чувство вражды и отвращения ко всему, что видит вокруг: «Все гадко. Звонят к вечерне, и купец этот так аккуратно крестится — точно боится выронить что-то... Зачем эти церкви, этот звон и эта ложь? Только для того, чтобы скрыть, что мы все ненавидим друг друга, как эти извозчики, которые так злобно бранятся...»

Но вот карета подъезжает к низкому строению Нижегородской станции, Анна оставляет карету и рассеянно рассматривает объявления, расклеенные на видном месте. Объявления приглашают на Волгу... И вдруг среди мучительной путаницы ее мыслей возникает неожиданный новый мотив — мотив бегства: «Она смутно решила себе в числе тех планов, которые приходили ей в голову, и то, что после того, что произойдет там на станции или в именье графини, она поедет по Нижегородской дороге до первого города и останется там...»

Анна первой «замыслила побег», ее поманила бескрайняя даль, куда она отправится одинокой странницей... Уж не пророчество ли это о судьбе ее создателя, которому суждены последние дни на железной дороге и вечное успокоение на маленькой станции среди донских полей?

Каренина явилась впервые в романе на вокзале. И снова вокзал, Анна уезжает.

Она не приняла еще рокового решения. Но предвестие беды уже чувствуется в описании отходящего поезда: «...прозвенел третий звонок, раздался свисток, визг паровика, рванулась цепь... Размеренно вздрагивая на стычках рельсов, вагон, в котором сидела Анна, прокатился мимо платформы, каменной стены, диска, мимо других вагонов; колеса плавнее и маслянее, с легким звоном звучали по рельсам, окно засветилось ярким вечерним солнцем...»

Вавилон остался позади в зареве заката. Судьба по железным рельсам неумолимо влекла Анну к гибели.

«Герои романа не ведают, что творят», — заметил Э. Г. Бабаев в монографии об «Анне Карениной».

Мысли о смерти возникали в мятущемся сознании Анны, но никакого задуманного плана самоубийства у нее не было. Отчаянный порыв овладел ею внезапно: «И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день ее первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать. Быстрым, легким шагом спустившись по ступенькам, которые шли от водоканчки к рельсам, она остановилась подле вплоть мимо ее проходящего поезда...

«Господи, прости мне все!» — были ее последние слова».

Когда вышла в свет седьмая часть «Анны Карениной» с описанием смерти Анны, некоторые критики, обсуждая роман, уверяли, что это автор толкнул героиню под колеса поезда в наказание за нарушение ею таинства брака. При этом ссылались на эпиграф романа: «Мне отмщение, и Аз воздам» — библейское изречение с тайным смыслом.

Иные указывали на то, что Толстой как моралист рассказал историю Анны Карениной, чтобы убедить читателей в неотвратимости воздаяния за грехи.

Действительно, в отличие от Пушкина Толстой полагал моральное воздействие важной составляющей искусства, особенно тогда, когда «нетвердость общественных правил»\* становится опасной болезнью времени. Однако прав Э. Г. Бабаев, утверждавший в ответ на критику: «Толстой не хотел быть ни адвокатом, ни прокурором Анны Карениной. Он был ее летописцем, не пропустившим ничего из великой трагедии ее жизни».

В «Анне Карениной» предмет художественного изображения не интрига плотской любви — в этом нет драмы, утверждал Толстой, — но история души человеческой, подавляемой в игре страстей в атмосфере зла, утратившей равновесие, изверившейся и не нашедшей опоры в жизни. Толстой относился сочувственно к этой страдающей душе, он угадывал во внутреннем мире Анны родственные черты, сближавшие ее с Левиным, alter ego автора. И Левин и Анна не приемлют лжи, фальши, лицемерия, которые возведены в степень закона для светского общества, за что свет жестоко мстит им, отторгая как непокорных, играющих не по правилам.

Но не толпе судить Анну с ее чистой, возвышенной душой: «“Мне отмщение, и Аз воздам”». Наказывает только Бог, и то только через самого человека» — так спустя много лет после создания «Анны Карениной» Толстой пояснил смысл эпиграфа романа\*\*.

Главная героиня погибла, но роман не окончен. Творя по законам «свободного романа», автор завершает повествование не точкой, а многоточием.

Великое творение Толстого звучит подобно многоголосому хору: один голос — голос Анны, самый красивый, сильный, скорбный — оборвался и замолк, другие голоса звучат, перекликаясь, прославляя радость жизни.

Носительницей светлого, примиряющего начала представлена в романе Кити. Ее первое появление в романе, в сцене катания на коньках в московском Зоологическом саду, описано через восприятие влюбленного в нее Левина: «Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг». Тем не менее Кити, как и Левину, предстоит испытать крушение надежд, преодолеть жестокие удары судьбы: Кити отказывает Левину, Вронский забывает Кити ради Анны.

Заболевшую нервным расстройством Кити родители увозят на лечение за границу. Левин уезжает в деревню, уходит с головой в хозяйственные дела и даже подумывает жениться на крестьянке...

Но все перевернулось в судьбе Левина по воле случая. В развязке этого сюжетного узла наиболее отчетливо проявилось пушкинское начало в «Анне Карениной».

Для творчества Пушкина является знаковым глубокое понимание роли случая в судьбе человека; случайные коллизии, неожиданные ситуации — характерные черты пушкинской поэтики\*\*\*.

\* Слова из письма Л. Н. Толстого А. А. Толстой.

\*\* ППС, т. 44, с. 95.

\*\*\* См. об этом подробнее в статье Т. Т. Наполовой «Пушкинские традиции в романе Л. Толстого «Анна Каренина». В кн.: Некоторые вопросы русской и зарубежной литературы. Саратов, 1969, сс. 109—132.

В XII главе третьей части «Анны Карениной» по-пушкински разыгрывается случайная встреча Левина и Кити. Время встречи — лето, июль, и герой Толстого, конечно же, на сенокосе, косит с мужиками и остается на ночлег в поле. Но всю ночь Левин не спал и не мог дать себе ясного отчета о своих размышлениях. Одно показалось ему верным — то, что мысли его о семейной жизни — вздор. Автор следит за взглядом Левина, невольно обращенным к небу: «Как красиво! — подумал он, глядя на странную, точно перламутровую раковину из белых барашков-облачков, остановившуюся над самой головой его на середине неба. — Как все прелестно в эту прелестную ночь! И когда успела образоваться эта раковина? Недавно я смотрел на небо, и на нем ничего не было — только две белые полосы. Да, вот так-то незаметно изменились и мои взгляды на жизнь!» Так размышляя, Левин пошел в предрассветных сумерках по дороге к деревне. И вдруг послышался звон бубенцов. «Это что? Кто-то едет...» А это судьбоносный случай. Левин оказывается на дороге как раз тогда, когда по ней проезжает карета; у окна кареты Левин замечает лицо девушки в белом чепчике и узнает Кити: «В то самое мгновение, как видение это уже исчезало, правдивые глаза взглянули на него. Она узнала его, и удивленная радость осветила ее лицо. Он не мог ошибиться. Только одни на свете были эти глаза. Только одно было на свете существо, способное сосредоточить для него весь свет и смысл жизни...» И далее следует монолог Левина, в котором выражена характерная для поэтики Толстого соотношенность человека с небом, космическая природа человеческой души: «Он взглянул на небо, надеясь найти там ту раковину, которою он любовался и которая олицетворяла для него весь ход мыслей и чувств нынешней ночи. На небе не было более ничего похожего на раковину. Там, в недостижимой высоте, совершилась уже таинственная перемена. Не было и следа раковины, и был ровный, расставившийся по целой половине неба ковер все умельчающихся и умельчающихся барашков. Небо поглубело и просияло и с тою же нежностью, но и с тою же недостижимостью отвечало на его вопрошающий взгляд. “Нет,— сказал он себе,— как ни хороша эта жизнь, простая и трудовая, я не мог вернуться к ней. Я люблю ее”» (курсив Л. Толстого. — **Н. А.**).

На этих страницах происходит лирическая кульминация романа. Лиризм «Анны Карениной» достигает здесь наивысшего напряжения.

Итак, в небе совершилась перемена в судьбе героя. Как же суждено совершить эту перемену в сутолоке земных будней?

Чтобы соединить Левина и Кити и повести их к венцу, потребовался неизменный помощник автора Стива. Это Стива устроил в своем доме на Знаменке званый обед, на котором Левин и Кити встретились и между ними произошло объяснение в гостиную у карточного стола; на зеленом сукне стола они писали мелкими начальными буквами, угадывая слова. В ответ на признание Левина, что он никогда не переставал любить ее и просит стать его женой, Кити ответила: «Да».

С глубоким чувством и поэтическим одушевлением Толстой изобразил сцены сватовства и свадьбы, в которых, как известно, много автобиографического. Свадьбе — важному событию для «мысли семейной», которую Толстой называл своей любимой мыслью в «Анне Карениной», отведено в композиции романа центральное место — окончание четвертой и начало пятой части (в романе восемь частей). Архитектурный замысел автора таков, что вершина романа обозначена главой с описанием венчания в церкви. Впечатление высоты усилено тем, что обряд совершается в церкви с высоким куполом\*.

«Толпа народа, в особенности женщины, окружила освещенную для свадьбы церковь, — повествуется в III главе пятой части. — В самой церкви уже были зажжены обе люстры и все свечи у местных образов. Золотое сияние на красном фоне иконостаса, и золотая резьба икон, и серебро паникадил и подсвечников, и плиты пола, и коврики, и хоругви сверху у клиросов, и ступеньки амвона, и старые почерневшие книги, и подряски, и стихари — все было залито светом... На правой стороне теплой церкви, в толпе фраков и белых галстуков, мундиров и штофов, бархата, атласа, волос, цветов, обнаженных плеч и рук и высоких перчаток, шел сдержанный и оживленный говор, странно отдававшийся в высоком куполе...»

Словесная живопись, которой пользуется Толстой, разворачивая перед читателем картину происходящего в церкви, выполнена в соответствии с архитектурным

\*Вероятно, Толстой описал известную всей Москве церковь Бориса и Глеба на Поварской с ее мощным куполом, увенчанным «главкой». Здесь часто венчались известные дворянские семьи. В этой церкви 30 апреля 1830 г. на венчании Сергея Дмитриевича Киселева и Елизаветы Николаевны Ушаковой присутствовал Пушкин.

В настоящее время церковь не сохранилась.



замыслом: все торжественно, красочно и в то же время точно до мельчайших деталей. Автор не забывает упомянуть о том, что в церкви «собралась вся Москва». Зачем собрались здесь все эти люди, богатые и небогатые, знатные и незнатные? Они пришли, чтобы на миг приобщиться к высокой, чистой радости. «Искра радости, зажегшаяся в Кити, казалась, сообщилась всем, бывшим в церкви», — и всем хотелось улыбаться: и Левину, и священнику, и дьякону...

Здесь, под высоким церковным куполом, заявляет о себе соборность, стремление людей к единению. Идея единения людей ради добра была и оставалась до конца главной в духовном мире Толстого.

«Мысль семейная» перетекает в «Анне Карениной» в мысль об исторической преемственности, о семье как представительнице рода. Родство, род для Толстого столь же значимы, как и для Пушкина.

Соединение Левина и Кити, по мысли Толстого, — звено в цепи, скрепляющей важное родовое начало: «Дома Левиных и Щербацких были старые московские дворянские дома и *всегда* (курсив Л. Толстого. — **Н. А.**) были между собою в близких и дружеских отношениях». Под понятием «дом» подразумевается особая человеческая общность, это не только узы кровного родства, но преемственность духовная, историческая связь поколений.

Роман «Анна Каренина» уникален по насыщенности подробностями общественного и частного быта отраженного в нем времени — 70-х годов прошлого века; по традиции, его принято называть «энциклопедией русской жизни» подобно пушкинскому «Евгению Онегину».

Наиболее полным выражением мятущегося времени стал сам Лев Толстой. Об этом хорошо сказано в монографии Э. Г. Бабаева: «...в «Анне Карениной» личность автора является воплощением современной темы не в меньшей степени, чем все исторические факты — реалии, рассеянные по страницам романа, вместе взятые».

Глубокий лиризм «Анны Карениной» и пронизывающая все повествование тема духовных исканий предвещали появление «Исповеди».

В период работы над романом Толстой не вел дневника — дневником была «Анна Каренина». Однажды весной он всю ночь до рассвета смотрел на звезды — образом звездного неба Толстой завершил свой роман.



## О бедной «Nomenklatur'e» замолвите слово...

Между литературными журналами давно утихла полемика. Общим местом стало утверждение, что сегодня нет в литературе кричащих идейных противоречий. Однако у журналов были и есть свои авторы, свое авторское лицо, свой круг поэтов, прозаиков, публицистов. Но вот возникла в одном журнале некая особенная «Nomenklatura» и именем определенного круга избранных начали распределяться во всей литературе места, как в старой крыловской басне. Процесс распределения настолько увлек, что эти особо увлеченные как-то позабыли, насколько мало общего «литература» имеет с «номенклатурой». Для примера, и «природа» — это ведь не зоопарк. По законам «Moscow Zoo», конечно, вольно жить тем, кому этого хочется. Вот собрались в клетках волки, зайцы, тигры, проголосовали, кому какой рацион полагается, какая цена за входной билет, и почили в царственном сне. Но не чудно ли, когда люди, провозгласившие себя творческой элитой, просыпаются и начинают ревновать до озлобления к тем, кто остался на свободе, то есть на природе? Оказалось, что я породил к себе подобное отношение — и по разделу «Nomenklatura» в журнале «Знамя» был опубликован обо мне некий род исследования. Автор его заявляет, что готов рассмотреть «любой рассказ Павлова», однако принял все же за самый ранний. Расчлняя этот рассказ чуть ли не по слогам, ретивый исследователь изо всех сил пытается доказать, как это ничтожно, низводя его автора до такого уровня, когда даже разложение трупное одноединственного рассказа — большая для меня честь: *«Как "творец" Павлов на место в знаменской "Nomenklatur'e" никак не тянул...»* Ну вот тебе, бабушка, и он, родимый Юрьев день!

Для наглядности штатному критику следовало взять хотя б другой рассказ. А то ведь изничтожено оказалось то, что вносили на руках как раз под сень «Знамени», когда автор был малоизвестен и ничего из себя не представлял, чтоб удостаиваться таких, как нынешний, доносов да погромов: весь мой ранний цикл «Караульных элегий», куда входил и этот рассказ, был отобран для публикации в книжной серии «Библиотека журнала "Знамя"» из моря публикаций в тогдашней периодике (сборник «Крещение» вышел в свет, правда, давненько, в 1991 году, а «Библиотека журнала "Знамя"» прекратила свое существование). Но, нахраписто исчисляя все редакции, в которых был опубликован этот рассказ, исследователь отчего-то не упоминает именно эту: «Знамя», 1991 год. Наглядным становится иное: автором «Октября» оказался писатель, который в журналах литературного истеблишмента прекратил публиковаться с 1996 года, но до того времени был автором этих журналов (в «Знамени» — с критикой; в «Новом мире» — с прозой). Выбор в пользу «Октября» когда-то совершил я сознательно, потому что этот журнал давал мне наконец-то всю возможную творческую свободу. Но вот сотрудник одного журнала позволяет себе судить как художника автора другого литературного журнала только на том основании, что тот не потянул бы «на место в знаменской "Nomenklatur'e"». Притом и о духе сотрудничества этого автора с журналом «Октябрь» судит также недвусмысленно, не иначе как желая внушить литературной общественности, что некий «еще привечающий его журнал» дал поразгуляться сомнительному, почти неприличному субъекту. Но в разоблачительно-пафосных ссылаках на мои публикации в «Октябре» именно знаменский критиқ до неприличия грешит против истины, так что впору или открывать счет намеренной, осознанной лжи, или отправлять малосведущего зоила повышать квалификацию, чтоб тянул-таки на место литературного критика.

Вот одно уверенное заявление: *«В прошлом году Олег Павлов постиг свое истинное значение в истории русской литературы, ужаснулся мерзости запустения, в ней царящей, и смело вступил на тропу войны с оной мерзостью, начав цикл статей под многообещающим названием "Метафизика русской*

прозы" ...» Но подобный «цикл статей» не был начат. В 1998 году в январском номере журнала «Октябрь» была опубликована отдельная литературно-критическая работа под названием «Метафизика русской прозы». В конце того же года журнал «Октябрь» анонсировал авторскую рубрику под таким названием. О ее содержании яснее ясного сообщалось: «Олег Павлов представит опыт художественного исследования неизвестного в судьбах и творчестве тех писателей, чьи произведения, главные в их жизни, не всегда оказывались понятными и даже прочитанными в своем времени...» Однако в силу различных обстоятельств, не зависящих от журнала «Октябрь», анонсированное эссе о «Дневниках» Михаила Пришвина было опубликовано в сокращении на страницах «Московских новостей», эссе об «Одном дне Ивана Денисовича» Солженицына — в журнале «Дружба народов» («Русский человек в XX веке», 1998, № 12). Когда же дотошный критик обнаружил в «Октябре» даже не начатый цикл статей под многообещающим названием? Кроме того (это доказывает и текст анонса «Октября», и осуществленные публикации), замышлял я писать о любимых произведениях любимых писателей, а не «о мерзостях». Итак, в одном небольшом предложении дважды искажены простейшие факты. А следом уже заявляется: «*Что же касается путавшейся под ногами критики, то с ней наш гигант разделался довольно быстро — в статьях "Антикритика", "Газетный хам" и "Тотальная критика" ...*» Список неполон: забыта статья о качестве газетных литобзрений («Милый лжец» — «Октябрь», 1998, № 12). Здесь начинается наконец-то разговор о моих реальных полемических выступлениях, где обсуждалась современная литературная критика, но как старательно приписывается к ним реплика о ректоре Литературного института Сергее Есине «Газетный хам!» Эта реплика, как и другие, включая и статью в «Литературной газете» («Литинститут и его ректор»), — сугубо о Литературном институте и о том, что происходило в его стенах: кощунственное отношение к памяти Платонова, жившего, на свою беду, во флигельке, что отошел со временем Литературному институту, а при ректоре Есине комната, где умирал Андрей Платонов, была отдана под пункт обмена валюты; гонения на неугодных ректору преподавателей; вопиющие случаи избиения студентов в общежитии литинститутской охраной. Реплика «Газетный хам» («Октябрь», 1997, № 9) была ответом на публикацию Сергея Есина в «Независимой газете»: в ней ректор Литинститута заявлял о якобы имеющемся у него письме студентов, где те жаловались, что на Ярославском совещании молодых писателей страдали от засилия «евреев». Публикацию эту назвал я в реплике «грязной антисемитской сплетней». В «Знамени» намеренно вырванная цитата из «Газетного хама» подается так, чтоб сложилось впечатление, что я со страниц «Октября» ни с того ни с сего покрикиваю эдаким фюрером. Стало быть, полное содержание реплики все же было критику известно, и он сознательно умалчивает о ее сути, представляя материал в дальнейшем чуть ли не фашистской «расправой с писателем Сергеем Есиным».

Так как в финале «масштабного исследования» моего литературного и даже долитературного прошлого критик с пафосом отправил меня «поучиться морали» в газету «Завтра», умолчать о всем вышесказанном ему просто душевно необходимо, иначе ведь рухнет концепция. Борьба за моральную чистоплотность в литературе для сотрудника «Знамени» оказывается эдаким фокусом в виде манипуляций с цитатами. Что ж, для номенклатуры это прием не новый.

Олег ПАВЛОВ



Павел БАСИНСКИЙ

## Победители и побежденные

**В** Доме журналиста вручают Пушкинскую премию (от немецкого фонда Альфреда Тёпфера) Владимиру Маканину. На сцене — поздравляющий Андрей Битов, первый лауреат этой премии. Он говорит:

— Володя, мы — победили! Мы — победили! Самое важное, что мы победили!

По телевизору показывают любопытный сюжет. Сергей Никитич Хрущев, сын Никиты Сергеевича Хрущева, приносит присягу на американской конституции, в этот самый момент становясь полноправным гражданином США. Затем — выдержки из интервью с Сергеем Никитичем. «Я счастлив, — говорит он. — Это как вторая молодость. Стать гражданином такой страны — такая честь». «А вы, э-э, не смущаетесь немного? — лукаво спрашивает корреспондент. — Как бы на все это посмотрел, например, ваш папа?» Он — не смущается. «Папа бы меня одобрил, — лукаво отвечает сын. — Он же всегда мечтал, чтобы наши люди жили в процветающей стране. А сегодня процветающее государство — это США».

Сергей Никитич, разумеется, шутит. Мерзковато, конечно, но шутит. Потому что он понимает, что гражданство ему дарят не за высочайшие профессиональные заслуги (которых я, впрочем, не исключаю), а за то, что он сын своего папы. Того самого папы, который однажды сказал президенту: ваши дети будут жить в социалистической Америке. А тот ему ответил: нет, это ваши дети будут жить в капиталистической России. Оба, кстати, спор проиграли.

Сынок Никиты Сергеевича Хрущева живет не в капиталистической России, а в социалистической Америке. В которой социализма гораздо больше, чем в капиталистической России, где похерили всякое понятие об общности и государственной ответственности, причем похерили люди из поколения и умственного лагеря Сергея Никитича. Так что наш сынок надул обоих папаш — и папу Карло, и Барабаса.

Но зато он *победитель*. Любимец и баловень двух систем. Покуда они воевали друг с другом, посылали не таких удачливых сыновей погибать во Вьетнам и Афганистан, оправдывали перед матерями их гибели словами «Freedom is not free» («Свобода не дается даром») и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», такие вот любимцы искали третий путь, где все будет хорошо. Для них... Для баловней.

Когда я впервые побывал на Западе, вспоминает Сергей Никитич, то сказал папе: «Они не будут с нами воевать!» Хорошо, что Сергей Никитич — не сын Иосифа Броз Тито. А то ведь как ошибся бы! Папа Сергея Никитича между тем слушать-то сына слушал и в цирк гулять водил, но наглый американский самолет на всякий случай приказал сбить. И водородную бомбу — на всякий случай — создавать. Папа Сергея Никитича был хотя и самодур, а все ж не лишенный чувства государственной ответственности.

Сам-то папа Сергея Никитича по жизни своей проиграл. Ибо нельзя считать победой унижение, которое его вынудили испытать люди, буквально вчера еще раболепно на него смотревшие, дружно одобрявшие его малоросские штучки и дрючки.

Семейная хроника. Наш век. Дети проигравшихся в пух политиков оказываются победителями. Зато деспоты-властители оставляют после себя больных и несчастных детей. Василия Сталина по забывчивости чуть было не сгноили в тюрьме. Выпустили помирать от алкоголизма. Сергей Никитич сияет глянцем головы. Площадь глянца настолько велика, что на нем легко отражаются звезды всех американских штатов. На дочь Брежнева, перед смертью выступавшую по телевизору с

рассказом о том, как папа не хотел выдать ее замуж за Кио, было невозможно смотреть без слез и зубной боли. А ведь сам-то Брежнев доправил спокойно. Зато дети Ельцина, которого, уж наверное, не отпустят просто домой на покаяние, выкрутятся и будут жить хорошо — почему-то есть такое странное предчувствие. «Что случилось с человеком из-за дочек!» («Король Лир» в переводе Пастернака). Семейная хроника... XX век...

Кто ее напишет? Уж навряд ли Шаров или Лариса Васильева. Здесь требуются перья Шекспира и Голсуорси. Но меня гораздо больше заботит другое. Кто напишет *подлинную* семейную хронику XX века? Неужели мы так и останемся с Кочетовым и Анатолием Ивановым как с единственными хроникерами? И неужели «Журбины» и бесконечно исчезающие в полдень «Тени» и есть наши народные хроники? Да еще и приправим это «Московской сагой» Аксенова, написанной, по некоторым непроверенным слухам, для американского TV, но все же благосклонно подаренной России... с любовью?

А вот еще бесчисленные мемуары и мемуары. Мемуары победителей. Как я мучился с КГБ, не дал себя одолеть, и даже получил Госпремию, и даже свой театр имел, и вот теперь живу в Германии. Как меня выгонял из СП и правил Семичастный — аж до Коктебеля, аж до Вашингтона, где я ныне и живу.

Мой двоюродный дядя Витя, деревенский житель, первую контузию получил в восемнадцать лет и несколько дней пролежал засыпанный землей, пока его чудом не обнаружили и не откопали. Дошел до Праги, то есть за границей все-таки побывал. Потом пил горькую, потом бросил пить. Потом скончался от рака прямой кишки. Перед этим месяц не ходил в туалет, но крепился, молчал, потому что стеснялся сказать. Такая вот деревенская этика: в пьяном виде гонялся за женой и детьми с топором, а потом стыдился собственного запора. Так и помер, забытый... до предела. Не-красивая смерть... Почему-то считается, что деревенские жители помирают красиво, на утренней заре, под крик петухов и запахи сирени, выстругав себе заблаговременно гроб, напутствовав домашних и осенив себя широким крестом. А они помирают всё от рака, да от сердечных болезней, да от бесчисленных абортотворцев (женщины), то есть того, что как бы положено городским...

Где эти хроники? В какой серии «Мой XX век» их искать? Кто-то их пишет?

Зачем победителю мемуары? Победитель должен жадно жить и действовать, наслаждаясь плодами своей победы. Мемуары — удел побежденных. Это им стоит осмысливать свое поражение, примиряться с его горечью, выливая ее на бумагу, льстить себе мыслью, что собственный отрицательный опыт полезен потомкам.

Победителям — зачем?

Затем — подозреваю, — что никакие они не победители. Победитель — дядя Витя. В прямом смысле слова: он выиграл войну. А какой победитель Битов? Аксенов? Евтушенко? И тот же С. Н. Хрущев? Что от их побед досталось другим? О да — проза, стихи. Которые, простите за жестокость, чахнут и помирают прежде своих авторов. На которых уже и поклонники их смотрят как на отработанный пар. Которые давно выступают от своего имени, потому что имя уже не способно выступать само за себя. Которые...

Это — вовсе грустно.

Когда умер дядя Витя, все вдруг вспомнили, что он герой. Что — победитель.



**В. В. РОЗАНОВ. САХАРНА. М., «Республика», 1998. Тир. 5000 экз.**

Неспроста Василий Васильевич Розанов собирал коллекцию монет, часами рассматривал их, переворачивал осторожно. Видно, и сам был двойственный: орел — одно, решка — другое. И двойственность эта уживалась в нем так же, как в монете уживаются две стороны с разными изображениями, но объединенные чем-то общим. Вот и в очередном нумерованном томе розановского собрания сочинений соединены работы разного Розанова: книга, давшая тому название, и склоняемое на все лады, но вряд ли читанное «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови». Вроде бы вовсе не схожи темы, но и то, и другое — Розанов, один материал, в котором отпечаталось столь несхожее — розановская душа.

**ЗАВЕТНЫЕ ЧАСТУШКИ ИЗ СОБРАНИЯ А. Д. ВОЛКОВА. Тт. 1 и 2. М., «Ладомир», 1999. Тир. 5000 экз.**

Специалисты обладают особым апломбом, слова их отмечены крайним высокомерием. В предисловии к первому тому сказано, что подобное собрание частушек никогда не выходило, печатались небольшие сборники, поначалу за рубежом. Причина, почему эротические и политические частушки долго у нас не издавались, а когда начали появляться, то в редуцированном виде, не уточняется. Между тем мелочи не просто дополняют картину, часто они особенно показательны. Небезынтересно, как А. Д. Волков составлял свою обширную коллекцию. Он не только умудрялся записывать частушки там, куда его заносила судьба, — на фронте, в лагере, в больницах, он их еще и покупал. Торгуя на рынках собственноручно смастеренными поделками, почти всю выручку тратил тут же на приобретение частушек. Расширял он коллекцию и за счет обмена. Любопытна характеристика одного из его деловых партнеров, «который был активным строителем советской власти в Московской обл. Он был секретарем молодежной комячейки, затем активным членом Компартии и буквально с первых дней революции и гражданской войны записывал политические и антисоветские частушки, будучи глубоко верующим человеком». Парадоксально и типично для России. Типична и судьба этой коллекции. После смерти собирателя родные, заглянув в его бумаги, испугались и выбросили их на помойку. Типичен и состав публикуемых томов: первый, потолще, — частушки эротические, второй, потоньше, — частушки на политические темы. Две составные части русской культуры за любой отчетный исторический период. И странная инертность сознания, запечатленная в обоих томах: привычная похабщина, смешанная с привычным недовольством жизнью, и полная неподвижность.

**НИЧЕГО СМЕШНОГО. Юмор, сатира, пародия, афоризм. М., «Новое литературное обозрение», 1999. Тираж не указан.**

Не похожи страны, где говорят на английском языке. Та же Канада отличается от Англии, как Америка отличается от них обеих. А все-таки англоязычный юмор схож, и шутки безымянных юмористов журнала «Панч» чем-то похожи на шутки Вуди Аллена, Макса Бирбома или Сэмюэля Беккета. Ирландец Джеймс Джойс, когда начинает шутить, делает это весело и чуть-чуть безумно, чем — только этим — напоминает англичанина Гилберта Кийта Честертона. В англоязычном юморе веселое здравомыслие сочетается со здоровым безумием, откуда бы родом ни был юморист. Выдвинутое предположение подтверждает, например, любая фраза из «Джазового вебстера» Генри Льюиса Менкена, хотя бы определение, данное им психотерапии: «Наука, в соответствии с которой пациент вероятнее всего выздоровеет, но навсегда останется круглым идиотом».

**Александр МИТТА. КИНО МЕЖДУ АДОМ И РАЕМ. Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... М., «Подкова», 1999. Тир. 3000 экз.**

В книге, созданной на материале читанных за границей лекций, известный режиссер досконально разбирает, как делается кино. Он знает все возможные кинематографические законы и закономерности до мелочей, но — в отличие от тех же Эй-

женштейна или Хичкока — почему-то не существует кино «по Митте». Разве что есть два фильма: «Звонят, откройте дверь» и отчасти «Гори, гори, моя звезда». Может, так случилось потому, что он снимал фильмы, а не делал кино, выполнял поставленную перед самим собой задачу, не заглядывая далеко, не испытывая больших провалов, но и не возвышаясь над собой. Фильм «Звонят, откройте дверь» заканчивается таким эпизодом: на школьный сбор, посвященный первым пионерам, приходит человек, который никогда и пионером-то не был, трубач из скромного оркестра (одна из лучших ролей Р. Быкова). Ребята смеются над рассказом этого человека, над его странным, нелепым поведением, и тогда он берет трубу и начинает играть, как играл когда-то трубач пионерского отряда, мальчик, навсегда ему запомнившийся. И уже никто не смеется. Внутреннее сопротивление аудитории побеждено. Зал замер. Звучит труба. Если бы режиссер понял, что о чем-то похожем написано в старой книге — так же звучала труба, когда рухнули стены Иерихона, — тогда было бы кино не только «по Куросаве» или «по Феллини», но и кино «по Митте».

**Лев ОЗЕРОВ. ПОРТРЕТЫ БЕЗ РАМ. М., «ACADEMIA», 1999. Тир. 1000 экз.**

Лев Адольфович Озеров писал, может быть, не слишком хорошие стихи, неплохие, но чересчур затянутые мемуары, однако он был настоящим литератором — качество ныне редкое, почти исчезнувшее. Он не ленился сочинять стихотворные экспромты, рисовал, был начитан и образован. Такие люди, независимо от величины таланта, принадлежат к особой породе. И другие, порою великие, отмечают это, дарят своим общением. А собеседник внимателен и наблюдателен. Потому своеобразные воспоминания, собранные в книге и проиллюстрированные рисунками автора, достойны интереса.

**В. П. МИХАЙЛОВ. РАССКАЗЫ О КИНЕМАТОГРАФЕ СТАРОЙ МОСКВЫ. М., «Материк», 1998. Тир. 1000 экз.**

Популярные издания тоже полезны. Тем, кому не по силам научные трактаты, они такие трактаты заменяют. Тому, кто знаком с материалом по разным источникам, иногда популярная книга поможет взглянуть на известное чуть иначе, сменить угол зрения. И вдруг разглядеть нечто пропущенное. Приятно и то, что популярные книги порой пишут не бойкие популяризаторы, а знающие, умные люди, владеющие пером, самый слог которых приятен.

**Редьярд КИПЛИНГ. МОХНАТЫЙ ШМЕЛЬ. М., «ЭКСМО-Пресс», 1999. Тир. 7000 экз.**

Вряд ли стоило бы говорить о сборнике, где собраны давно известные стихи, часто в плохих переводах, но оформлен он превосходно, такие фотографии и рисунки не найдешь в других изданиях. И чудесна незаконченная автобиография Р. Киплинга «Кое-что о себе самом», кажется, переведенная на русский язык впервые.

**Леонид ЗОРИН. ЗЕЛЕННЫЕ ТЕТРАДИ. М., «Новое литературное обозрение», 1999. Тираж не указан.**

Аннотация утверждает: читателя привлекут «блестящий интеллект, острота и независимость суждений, эрудиция» автора. Утверждение сомнительное хотя бы потому, что книга, обладающая такими достоинствами, не может быть скучной, а «Зеленые тетради» скучны. Да и с эрудицией у автора перебор. Например, знаменитого синолога отца Иакинфа, он же Никита Яковлевич Бичурин, автор величает Акимом Бачуриным. Хорошо, что не приписывает ему песню «Дерева вы мои, деревья», ведь приписал же балет В. Оранского «Футболисты» Д. Шостаковичу.

**Радий ПОГОДИН. Я ДОГОНЮ ВАС НА НЕБЕСАХ. СПб., «КЭМ», 1998. Тир. 4000 экз.**

Строки, которыми начинается погодинский роман, с каждым годом звучат все трагичнее: «Я не боюсь смерти. Не боюсь позора. Не боюсь казаться смешным. Я боюсь дня. Боюсь города, где я нищий. Я боюсь нищеты. Город мой неопрятен». Наверное, хорошо, что Радий Погодин не дожил до нынешних дней — как бы он терзался и негодовал. Но как же грустно, что его больше нет.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

# ГАЗЕТА ТРУД

**Ежедневный выпуск «Труда»** (включая «Труд-7») — это объективная и самая свежая информация из первых рук, комментарии известных политиков и экономистов, острые дискуссии, расследования, все самое интересное в мире науки, искусства, спорта.

**«Труд»** остается верен своей репутации газеты, отстаивающей права и свободы человека.

**«Труд-7»** — еженедельная семейная газета на 24 страницах. Доверительный собеседник, который предлагает сенсационные новости, рассказывает о нашумевших скандалах, потчует свежими анекдотами, посвящает в тайны интимной жизни, дарит телепрограмму, посвящает в гороскоп, для досуга — кроссворд, тесты, шахматные задачи, а о моде — прямо из Парижа.

*Что выписать...*

## **УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!**

**Индексы для подписчиков Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей:**

**32428** — ежедневный «Труд»  
(включая выпуск «Труд-7»)

**34265** — только пятничный  
выпуск «Труд-7»

**Для остальных регионов:**

**50130** — ежедневный «Труд»  
(включая «Труд-7»)

**32068** — только пятничный  
выпуск «Труд-7».

*Разве это  
ТРУДНЫЙ  
вопрос?*



## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца года и в 2000 году  
«Октябрь» предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Новый роман.**

Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года. Книга третья.

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Владимир КАЧАН. **Цветной блюз.** Повесть.

Анатолий КИМ. **Близнец.** Роман.

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Последняя газета.** Роман.

Павел КРУСАНОВ. **Укус ангела.** Роман.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

### Стихи.

Юрий ОЛЕША. **Письма к жене.**

Владислав ОТРОШЕНКО. **Повесть.**

Олег ПАВЛОВ. **Новый роман.**

### Школьники. Повесть.

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Михаил РОЩИН. **Повесть. Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Лариса СЫСОЕВА. **Берлинские эпохалки.** Предисловие Евгения Попова.

Борис ХАЗАНОВ. **Понедельник роз.**

Олег ЮРЬЕВ. **Полуостров Жидятин.** Роман.

А также **новые произведения** Петра АЛЕШКОВСКОГО, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Владимира КАНТОРА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Генриха САПГИРА, Леонида ФИЛАТОВА, Асара ЭППЕЛЯ и др.

Подписка принимается во всех отделениях связи по каталогу «Роспечати». Индекс подписки для Российской Федерации: на полугодие — 73293, на год — 72375; для стран СНГ — 79209.

В розницу журнал можно приобрести в следующих магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6;

Литературный клуб «Графоман» — ул. Бахрушина, 28;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — ул. Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — ул. 2-я Тверская-Ямская, 54;

«Эйдос» — Чистый пер., 6.